

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ

И МАТЕРИАЛЫ

8

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ

Межвузовский научный сборник

В Ы П У С К 8

Под редакцией профессора Е. И. Покусаева

449 Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Межвузовский научный сборник. Вып. 8. Изд-во Саратов. ун-та, 1978, 280 с.

Восьмой выпуск межвузовского сборника посвящен 150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского, «великого русского ученого и критика» (К. Маркс).

В сборнике исследуются историко-литературные позиции Чернышевского, его художественное творчество, анализируется методологическое богатство суждений, важных для проблем современной теории критики. Новые публикации и материалы сообщают ценные биографические подробности о Чернышевском в различные периоды его жизни и творчества.

Сборник рассчитан на специалистов, преподавателей и студентов университетов и пединститутов.

ИССЛЕДОВАНИЯ
И СТАТЬИ

«ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ УЧЕНЫЙ И КРИТИК»*(К. Маркс и Ф. Энгельс о Н. Г. Чернышевском)*

Вынесенные в заголовок слова о Чернышевском принадлежат Марксу: написаны в январе 1873 г. и вошли в «Послесловие ко 2-му немецкому изданию первого тома «Капитала»¹. Конечно, не из простого участия к трагически сложившейся судьбе опального писателя возникла эта многократно впоследствии цитируемая характеристика, редкая у Маркса по отношению к какому-либо деятелю. Она явилась результатом глубокого изучения произведений Чернышевского, которые пришлось читать по-русски, так как переводов их на европейские языки еще не было.

Впервые о Чернышевском Маркс узнал, по всей вероятности, от С. Боркгейма, немецкого публициста². Тот в 1867 г. в Женеве приобрел только что вышедшую брошюру русского революционера-эмигранта А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела. Ответ г. Герцену на статью «Порядок торжествует!». Брошюра была направлена против издателя «Колокола». Противопоставляя Чернышевского Герцену, автор упрекал второго за либеральные надежды на царское правительство и неверие в революционные способы борьбы, за пропаганду особой, русской разновидности социализма, отличного от «чисто западного социализма» Чернышевского³, за пись-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 18. Высказывания основоположников научного социализма о Чернышевском рассмотрены в работах: Котов В. Н. К. Маркс и Ф. Энгельс о России и русском народе. М., 1953; Жигулев А. М. Классики марксизма-ленинизма о Н. Г. Чернышевском. — «Октябрь», 1953, № 7, с. 146—158; Янсюкевич А. А. Маркс, Энгельс, Ленин о Чернышевском. — В кн.: Н. Г. Чернышевский, Саратов, 1939, с. 5—18; Серебряков М. В. Классики марксизма-ленинизма о Н. Г. Чернышевском. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Л., 1941, с. 48—67.

² См.: Дювель В. Чернышевский в немецкой рабочей печати (1868—1889). — В кн.: «Лит. наследство», т. 67. М., 1959, с. 164—165.

³ См. об этом в третьей части статьи Герцена «Порядок торжествует!» — «Колокол», л. 233—234, 1 февраля 1867, с. 1903; Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти тт., т. XIV. М., 1960, с. 193—194.

ма к Александру II, которые позже В. И. Лениным названы «слащавыми»⁴. С. Боркгейм, ведущий против герценовского «Колокола» кампанию в немецкой рабочей прессе, особенно возражая идеям объединения славянских племен в одно государство, взялся за перевод брошюры А. А. Серно-Соловьевича на немецкий язык (опубликован в 1871 г.⁵) и выступил в 1868—1870 гг. с рядом статей, знакомивших европейскую публику с именем Чернышевского. Некоторые из этих упоминаний 1870 г., как полагают исследователи, имеют ближайшее отношение к суждениям Маркса о Чернышевском⁶.

Работа А. А. Серно-Соловьевича была известна и Марксу, и он, вероятно, воспользовался ею для освещения полемики Герцена с Чернышевским⁷.

Однако Маркс заинтересовался Чернышевским не только как полемистом Герцена, сочувствие которого панславистским выступлениям, порою появлявшимся на страницах «Колокола», основатель Первого Интернационала осуждал всегда⁸. В 1869 г. в Женеве вышел из печати третий том предпринятого русским политическим изгнанником М. Элпидиным «Сочинений Н. Г. Чернышевского» — объемистая книга под названием «Дополнения и примечания на первую книгу политической экономии Джона Стюарта Милля». Это была часть работы Чернышевского, печатавшейся в качестве приложения к «Современнику» в 1860 г. (Милль Д. С. «Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии. Перевод Н. Чернышевского, дополненный замечаниями переводчика»). Английский экономист Милль занимал довольно видное место среди буржуазных ученых, и автор «Капитала», тщательно следивший за научными новинками, не мог не обратить внимания на русский критический источник⁹. В том же 1869 г. в Петербурге появилась книга В. В. Берви (Н. Флеровского) «Положение рабочего класса в России. Наблюдения и исследования», и вскоре она была прислана Марксу его петербургским корреспон-

⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 259.

⁵ См.: Козьмин Б. П. Александр Серно-Соловьевич. Материалы для биографии. — «Лит. наследство», т. 67, с. 703.

⁶ См.: Дювель В. Чернышевский в немецкой рабочей печати, с. 169.

⁷ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 430—431, 434; Козьмин Б. П. А. А. Серно-Соловьевич в I Интернационале и в женевском рабочем движении. — В кн.: Исторический сборник Института истории АН СССР. Вып. V. М.—Л., 1936; Корочкин В. М. Русские корреспонденты Карла Маркса (А. А. Серно-Соловьевич и Н. И. Утин). М., 1965; Волк С. С. Карл Маркс и русские общественные деятели. Л., 1969; Карл Маркс. Биография. Изд. 2-е. М., 1973, с. 520.

⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 448.

⁹ О внимании Маркса к русскому идейному движению еще в 1840-е гг. см. в кн.: Рязанов Д. Карл Маркс и русские люди сороковых годов. Пг., 1918.

дентом Н. Ф. Даниельсоном. В начале 1870 г. Маркс вплотную занялся изучением русского языка¹⁰. Сочинение Чернышевского привело его в восторг, и он не скупился на похвалы. Насколько широко распространились первые марковские отзывы, можно судить по женевскому письму членов Комитета Русской секции Интернационала к Марксу от 12 марта 1870 г. Авторы письма (его подписали Н. Утин, В. Нетов и А. Трусов) прямо указывали на свою идейную близость к Чернышевскому («воспитанные в духе идей нашего учителя Чернышевского», — писали они здесь¹¹), ссылаясь на критику Милля как на хорошо известное Марксу имя. «Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, — писал Маркс в ответном послании 24 марта, — делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века»¹². Чернышевский специально упомянут Марксом в связи с другими явлениями русской идейной жизни, указывающими, что «глубоко в низах идет брожение. Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа»¹³.

Узнав о выходе из печати четвертого тома «Сочинений Н. Г. Чернышевского» — «Очерки из политической экономии (по Миллю)», Женева, 1870 — Маркс просит немедленно выслать книгу¹⁴. До января 1871 г. прочитана и она, и в письме к З. Мейеру в Нью-Йорк от 21 января он сообщает о «превосходных экономических работах Чернышевского», которые вполне компенсировали труд, затраченный на овладение столь сильно отличающимся от европейских наречий русским языком, «результат стоит усилий»¹⁵.

Обращение к русскому первоисточнику убедило Маркса в значительности Чернышевского как ученого. «Общее движение века» — это стремление к критическому пересмотру знаний о природе и обществе, настойчивое желание исследовать устоявшиеся положения-догмы, движение к научному социализму¹⁶. «Великий ученый и критик» — высшая аттестация в устах основоположника научного социализма.

Читая Чернышевского, Маркс отмечает важное достоинство

¹⁰ Составление Марксом записей по русской грамматике относится к ноябрю 1869 г. — См.: **Конюшая Р. П.** Карл Маркс и революционная Россия. М., 1975, с. 165.

¹¹ К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967, с. 169.

¹² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 428.

¹³ Там же, т. 33, с. 147.

¹⁴ Там же, с. 117.

¹⁵ Там же, с. 147.

¹⁶ В России появилось, — писал современник Маркса Э. Бернштейн, — «новое направление, наиболее выдающимся представителем которого был Чернышевский и которое соединяло политический пыл с серьезной критической научностью» (Бернштейн Эд. Карл Маркс и русские революционеры. — «Минувшие годы», 1908, № 10, с. 2).

во автора: глубину и оригинальность мышления, четкость и содержательность аналитической позиции. Русский ученый «мастерски показал» «банкротство буржуазной политической экономики»¹⁷.

Не все в аргументации удовлетворяло внимательного и строгого ценителя. Сущность капиталистического способа производства осталась непонятой Чернышевским, многие проблемы капитала и труда рассмотрены традиционно, утопически. «Беллетристическими», ненаучными называет Маркс рассуждения о товариществах трудящихся, утверждающих новый вид собственности и распределения¹⁸. Возможно, слово «беллетрист», которым сопровождено соответствующее место в книге Чернышевского¹⁹, указывало также на роман «Что делать?», содержащий подробные описания одной из разновидностей товарищества — мастерских Веры Павловны. В таком случае перед нами косвенное подтверждение знакомства Маркса с романом Чернышевского, и именно с русским текстом (Женева, 1867), так как первый перевод романа на Западе осуществлен в 1875 г.

В январе 1871 г. Маркс читает в оригинале другие экономические работы Чернышевского, связанные с исследованиями русской общины²⁰. В мае того же года Н. Даниельсон присылает еще статью из «Современника» — «О поземельной собственности» (1857, № 9 и 11)²¹. Маркс отвечает: «Мне доставят большую радость и остальные экономические сочинения этого автора»²². А спустя год — новая петербургская посылка-сюрприз: неизданная статья Чернышевского «Письма без адреса», перечеркнутая цензурой в 1862 г. Н. Даниельсону удалось снять копию с рукописи, и теперь Маркс стал обладателем материала, вызывавшего особый интерес зарубежных издателей Чернышевского.

Маркс тщательно изучил «Письма без адреса», составил подробный конспект всей работы, особо отчеркнул места, свидетельствующие о глубоком понимании автором сущности объявленной императором крестьянской реформы от 19 февраля 1861 г. Освобождение крепостных проведено неудовлетворительно, потому что с самого начала власть ориентирова-

¹⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 17—18.

¹⁸ Подробнее об оценке Марксом экономических трудов Чернышевского см. в работах: Басист С. В. Примечания в кн.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. IX, М., 1949; Замятин В. Н. Экономические взгляды Чернышевского. М., 1951; Топилин П. К. Н. Г. Чернышевский — вершина экономической мысли домарковского периода. — «Труды Саратов. эконом. ин-та», т. 3. Саратов, с. 79—118; Итенберг Б. С. Маркс за изучением социально-экономической истории пореформенной России. М., 1968.

¹⁹ Чернышевский Н. Г. Избр. соч. в 5-ти тт., т. 2. М.—Л., 1937, с. LIV.

²⁰ К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия, с. 187.

²¹ Там же, с. 196—197.

²² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 192.

лась на сохранение выгод одних только помещиков. Изменениям подверглась лишь форма отношений между землевладельцами и крестьянами, существо прежних крепостнических отношений оставлено без перемен. В крепостническо-бюрократическом государстве иначе быть не могло: пытаются «заштотать» старое платье, тогда как «всему обществу надо одеться с ног до головы в новое». «На штотках не выедешь», — подчеркивает Маркс мысль Чернышевского²³. Обращено внимание на произведенные в статье подсчеты: «По новым Положениям освобождаемые крестьяне должны платить помещику 1 руб. 10 коп. вместо каждого рубля, который платили ему при крепостном праве». Отмечены приведенные в рукописи факты брожения умов, подвергших «критике существующий порядок вообще»²⁴.

Маркс считал обязательным опубликование не потерявшего злободневности разбора царского манифеста, и он в том же 1872 г. передает «Письма без адреса» Н. Утину, члену Русской секции Первого Интернационала. Н. Утин был в те годы видным русским эмигрантом. Один из организаторов студенческого движения 1861 г., член первой «Земли и Воли», заочно приговоренный правительством к смертной казни, он по праву называл себя учеником Чернышевского. Сблизившись с Марксом, он немало помог ему в борьбе с бакунистами²⁵. Не случайно именно ему была доверена судьба рукописи «Писем без адреса». Однако Утин не смог выполнить поручения, и в 1874 г. труд Чернышевского напечатан в Цюрихе в издательстве П. Л. Лаврова «Вперед!». Таким образом, только при прямом содействии Маркса «Письма без адреса» увидели свет.

Получив печатный экземпляр «Писем без адреса», Маркс прочитывает весь текст заново, как бы проверяя прежнее впечатление²⁶. В этом убеждает сравнение подчеркнутых в брошюре фраз с конспектом 1872 г. И наконец еще раз Маркс обратился к этому сочинению в 1881 году. Для него «Письма без адреса» представляли ценность не только как произведение заинтересовавшего его автора. Работа Чернышевского явилась важным источником в изучении русского освободительного движения²⁷.

²³ Архив Маркса и Энгельса, т. IX. М., 1948, с. 7.

²⁴ Там же, с. 9, 17.

²⁵ Подробности в работах: Козьмин Б. П. Русская секция Первого Интернационала. М., 1957; Логачев Г. В. Отношение К. Маркса и Ф. Энгельса к ученикам Чернышевского. — «Учен. зап. Елецкого пед. ин-та», вып. 4, Липецк, 1959; Первый Интернационал. М., 1965; Соловьева К. В. К. Маркс и Русская секция I Интернационала. — «Вопросы истории», 1968, № 4, с. 62—64, 70—73.

²⁶ Архив Маркса и Энгельса, т. XI, с. 171—199.

²⁷ Там же, с. 18—20; Фридендер Г. М. К. Маркс и Ф. Энгельс о России (по новым материалам). — «Вопросы литературы», 1958, № 5, с. 28—39.

Есть основание говорить также о знакомстве Маркса с романом Чернышевского «Что делать?». Среди многочисленных его высказываний о писателе встречается указание и на это произведение — в письме к З. Шотту от 15 июля 1878 г. Сообщая о запрете прусским канцлером въезда социалистов в Германию, Маркс прибавляет: «Что делать? (que faire?) — как говорят русские»²⁸. При этом слова «Что делать?» написаны по-русски, а в скобках дается не немецкое (хотя все письмо на немецком), а французское их написание: первый перевод романа в Западной Европе осуществлен на французском языке в 1875 г.²⁹ Подтверждение факта бытования романа Чернышевского в семье Маркса содержит статья Жени Маркс, опубликованная в 1877 г.³⁰

В январе 1873 г. Маркс написал Н. Даниельсону в Петербург о Чернышевском: «Значительная часть его сочинений мне известна»³¹. Суммируя все относящееся к этому сообщению (с учетом изданий после 1873 г.), получаем следующий перечень³²:

1. «Сочинения Н. Г. Чернышевского. Т. III. Дополнения и примечания на первую книгу политической экономии Джона Стюарта Милля». Женева, 1869.
2. «Сочинения Н. Г. Чернышевского. Т. IV. Очерки из политической экономии (по Миллю)». Женева, 1870.
3. «О поземельной собственности» («Современник», 1857, № 9, 11).
4. «Труден ли выкуп земли?» («Современник», 1859, № 1).
5. «Материалы для решения крестьянского вопроса» («Современник», 1859, № 10).
6. «Чичерин как публицист» («Современник», 1859, № 4).
7. «Капитал и труд» («Современник», 1860, № 1).
8. «Что делать?». Роман Н. Г. Чернышевского. Веве, 1867.
9. «Сочинения Н. Г. Чернышевского. Т. V. Статьи об общем владении землею». Женева, 1872³³.

²⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 34, с. 258. См. также: Фридендер Г. М. К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы. М., 1968, с. 556.

²⁹ См.: Кандель Б. Л. Библиография переводов романа «Что делать?» на языки народов СССР и на иностранные языки. — В кн.: Чернышевский Н. Г. «Что делать?». Л., 1975, с. 867.

³⁰ См.: Воробьева А. К. К. Маркс и Ф. Энгельс о революционном движении и революционерах в России. — «Вопросы истории», 1968, № 4, с. 50.

³¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 469.

³² См. также: Николаевский Б. Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса. — Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. 4. М.—Л., 1929, с. 385; Ипполитов Я. К работе К. Маркса над произведениями Н. Г. Чернышевского. — «Смена», 1948; № 18, с. 10; Кочеткова М. Русские книги в библиотеке Карла Маркса. — «Коммунист», 1968, № 6, с. 124.

³³ Прислана Марку Н. Утиным в 1872 г. — См.: Колющая Р. П. Маркс и революционная Россия. М., 1975, с. 173.

10. «Письма без адреса». Неизданная статья Н. Г. Чернышевского. Цюрих. Издание журнала «Вперед!», 1874.

11. «Что делать?». Роман Н. Г. Чернышевского. Лоди, 1875, (на французском языке).

12. «Н. Г. Чернышевский. Борьба партий во Франции при Людовике XVII и Карле X». Женева, 1875.

13. «Н. Г. Чернышевский. Кавеньяк». Женева, 1874.

14. «Пролог». Лондон, 1877.

Разумеется, этот список неполон. Он составлен из названий, прямо или косвенно подтвержденных источниками. Но и такой перечень свидетельствует, что Маркс был в достаточной мере осведомленным читателем Чернышевского.

По мере чтения статей и книг русского мыслителя нарастал интерес к его личности, его биографии. Первые сведения о сибирском заточении Чернышевского пришли от С. Боркгейма, информированного А. А. Серно-Соловьевичем. Следующим, более компетентным источником стал Герман Александрович Лопатин.

Лопатин прибыл в лондонскую квартиру Маркса 2 июля 1870 г. с рекомендательным письмом от Поля Лафарга, общавшего, что это первый русский, который собирается перевести «Капитал» на свой родной язык³⁴. Владеющий немецким, французским и английским языками, широко образованный, преследуемый русским правительством, эмигрант сразу же вызвал симпатию у Маркса. Разговор у них, сколько можно судить по источникам, сразу же зашел о Чернышевском. Уже 5 июля Маркс сообщал Энгельсу в Манчестер некоторые подробности процесса Чернышевского³⁵. Лопатин, по-видимому, был знаком с первой публикацией приговора в герценовском «Колоколе»³⁶, может быть, даже располагал этим экземпляром газеты. Маркс почти цитирует из печатного текста, когда пишет Энгельсу, что власти выслали в Сибирь «этого хитрого человека», который «так ловок», как значится в приговоре, что «сохраняет в своих сочинениях неуязвимую с точки зрения закона форму и вместе с тем открыто изливает в них яд»³⁷. «Вот оно, русское правосудие!» — гневно заключает Маркс сообщение о Чернышевском.

³⁴ См. в работах: Рапопорт Ю. М. Из истории связей русских революционеров с основоположниками научного социализма (К. Маркс и Г. Лопатин). Изд. ВПШ и АОН при ЦК КПСС. М., 1960; Антонов В. Русский друг К. Маркса Г. Лопатин. М., 1962.

³⁵ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 431—432.

³⁶ «Колокол», л. 193, 1 января 1865, с. 1581—1586.

³⁷ В следственном деле фигурировало анонимное письмо, полученное III отделением и содержащее просьбу спасти Россию «от Чернышевского, этого коновода юношей, хитрого социалиста», который, по словам-де самого Чернышевского, «настолько умен, что его никогда не уличат». (Дело Чернышевского. Сб. документов. Саратов, 1968, с. 420).

В беседах с Марксом Лопатину как бы заново открылось значение Чернышевского в науке. Маркс «не раз говорил мне, — писал Лопатин в 1873 г., — что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем как остальные суть только простые компиляторы, что его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли и что они представляют единственные из современных произведений по этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения; что русские должны стыдиться того, что ни один из них не позаботился до сих пор познакомить Европу с таким замечательным мыслителем; что политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы...»³⁸. Факт знаменательный: именно через Маркса шел процесс более глубокого уяснения деятельности Чернышевского последователями и учениками революционного демократа.

Пребывание Лопатина в Лондоне в начале семидесятых годов совпало с ожесточенной полемикой Маркса и Энгельса с идеологами анархизма Бакуниным и его сторонниками. В августе 1873 г. вышла в свет брошюра руководителей I Интернационала «Альянс и Международное Товарищество Рабочих». Раскольнической деятельности бакунистов, стремившихся внести разлад в международное рабочее движение и подчинить его своему влиянию, противопоставлено проникнутое социалистическими идеями русское движение шестидесятых годов, идейным руководителем которого был Чернышевский. Бакунин и его единомышленники «обрушиваются на Чернышевского, человека, который больше всего сделал в России для вовлечения в социалистическое движение той учащейся молодежи, за представителей которой они себя выдают». В упреках, адресованных бакунистами Чернышевскому, теоретику, препятствующему, по их словам, осуществлению «всеразрушительной революции» и оставившему «себе и подобным теплое местечко под покровом науки», Маркс и Энгельс видят не только непонимание роли Чернышевского в развитии социалистических идей в России, но и клевету, кощунство по отношению к сосланному в Сибирь писателю. «Теплое местечко, которое готовил себе Чернышевский, — писали вожди Интернационала, — было предоставлено ему русским правительством в сибирской тюрьме, тогда как Бакунин, избавленный в качестве работника европейской революции от такой опасности, ограничивался своими проявлениями *из-за рубежа*. И как раз в тот момент, когда правительство строго запрещало даже упоминать имя Чернышевского в печати, гг. Бакунин и Нечаев напали на него»³⁹.

³⁸ Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М., 1969, с. 46—47.

³⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 395, 396—397.

Маркс и Энгельс верили в идейную стойкость русских революционеров, учеников Чернышевского, в их способность преодолеть бакунистские извращения. «...Русское движение, — писал Энгельс в статье «Эмигрантская литература», — может перенести спокойно подобного рода разоблачения. Страна, выдвинувшая двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов, не погибнет из-за того, что однажды породила шарлатана вроде Бакунина и нескольких незрелых студентиков, которые, произнося громкие фразы, пыжятся, как лягушки, и, в конце концов, пожирают друг друга»⁴⁰. Сравнением с Лессингом и прибавлением слова «социалистический» к имени великого немецкого писателя и просветителя, произведшего невиданный дотоле демократический переворот в немецкой литературе XVIII века, Энгельс емко и выразительно обозначил основную черту, определявшую существо деятельности Чернышевского и Добролюбова как великих представителей русской социалистической мысли.

Разговоры Маркса с Лопатиным приобретали силу нравственного воздействия. «У меня, — свидетельствовал Лопатин, — явилось жгучее желание попытаться возратить миру этого великого публициста и гражданина, которым, по словам того же Маркса, должна была бы гордиться Россия»⁴¹. И он отправляется в опаснейшее путешествие в запретную для него Россию, в Сибирь, чтобы вывезти оттуда Чернышевского, как незадолго до этого он помог бежать за границу осужденному и сосланному П. Л. Лаврову⁴². «Вы, я уверен, нашли бы мои доводы достаточно основательными»⁴³, — писал Лопатин Марксу, ничего не знавшему об истинных намерениях внезапно уехавшего русского друга⁴⁴. Со времени отъезда Лопатина (декабрь 1870) до его возвращения (август 1873) Маркс внимательно следил за всеми перипетиями «вояжа», оказавшегося, по позднему признанию героя событий, «романтическим бредом». «Государственный преступник» был надежно упрятан в Вилуйске — в такой местности и при таких условиях, которые, говорилось в официальных бумагах, «устраняли всякое опасение насчет его побега» и делали «невозможными новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению»⁴⁵.

⁴⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 522.

⁴¹ Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе, с. 46; Попов И. И. Г. А. Лопатин. М., 1926, с. 23.

⁴² См в кн.: Г. А. Лопатин. 1845—1918. Пг., 1922, с. 161—164.

⁴³ К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия, с. 184—185.

⁴⁴ Встречающееся в литературе утверждение, будто попытка Лопатина была заранее продуманной и санкционированной Марксом акцией I Интернационала (см.: Шульгин В. Н. Очерки жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. М., 1956, с. 176), источниками не подтверждается.

⁴⁵ «Былое», 1924, № 25, с. 41.

В декабре 1872 г. Маркс сообщает Н. Даниельсону о желании «напечатать что-нибудь о жизни, личности и т. д. Чернышевского, чтобы вызвать к нему симпатию на Западе», и просит подобрать биографические данные⁴⁶. Такие сведения вскоре набрались, но Маркс оставляет замысел. Широко распространено предположение, что главной причиной, затормозившей работу, была неполнота полученных материалов. Вряд ли это так. Большая часть научного и литературного наследия Чернышевского известна Марксу по первоисточникам, и в своих суждениях здесь он ни от кого не зависел. Об участии Чернышевского в важнейших революционных событиях шестидесятых годов он также был хорошо осведомлен, располагая авторитетными свидетельствами Н. Утина, А. Серно-Соловьевича, П. Лаврова. Основные материалы следственного дела могли быть почерпнуты из «Колокола» — доступный для Маркса источник. Там же напечатана, по характеристике Н. Даниельсона, «вполне достоверная биография Чернышевского»⁴⁷. Условия ссылки обрисованы побывавшим в Сибири Лопатиным. Вместе с данными, присланными Н. Даниельсоном, все это составляло довольно солидную биографическую базу. Причина, по которой Маркс не выполнил первоначального намерения, заключалась, возможно, в опасении своей публикацией отягчить положение ссыльного. Нормы западных отношений, даже в случае политических репрессий, не приложимы к русским самодержавным условиям, и Маркс, видимо, это учитывал. Аналогичная ситуация возникла в пору беспокойства за судьбу Лопатина, когда Маркс, узнав о его аресте в Иркутске, намеревался было хлопотать через дипломатические каналы. «Мне кажется, однако, — резонно заметил Н. Даниельсон, — что всякое ходатайство, исходящее не от родных, — и тем более от иностранцев, — в состоянии ему только повредить, так как оно может придать данной личности особую важность в глазах правительства. Но это зависит от средств, какие Вы хотите применить для этого». В случае с Чернышевским, прибавлял петербургский корреспондент Маркса, «приходится принимать те же соображения», и хотя автор письма пришел к мысли, будто «положение Чернышевского не может быть ухудшено», все же опасения были высказаны⁴⁸, и Маркс не мог пройти мимо них. Из его ответов видно, что он некоторое время продолжает ждать ссылки нужных материалов, но вот письмо Н. Даниельсона от 10/22 августа 1873 г.: «Хотя я сам считаю теперь полезным

⁴⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 458.

⁴⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс и революционная Россия, с. 287. О помещенных в «Колоколе» материалах о Чернышевском см.: Порох И. В. Герцен о процессе Чернышевского. — В кн.: Проблемы изучения Герцена. М., 1963.

⁴⁸ К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия, с. 279—280.

опубликование возможно более полной биографии, но те, которые обладают необходимыми сведениями, придерживаются другого взгляда. Они совершенно убеждены, что такая публикация только повредит Чернышевскому»⁴⁹. Очевидно, речь здесь шла о А. Н. Пыпине, двоюродном брате Чернышевского, и Маркс, возможно, посчитался с доводами родственников. Это лишь предположение, более полными и точными данными мы не располагаем, однако есть основание думать, что не было другой веской причины, которая заставила бы Маркса отложить биографическую работу о Чернышевском.

После смерти Маркса Энгельс не раз напоминал современникам о Чернышевском. В одном из писем 1884 г. он энергично возразил своей русской корреспондентке Е. Э. Паприц (Линевой), сетовавшей на отсутствие в прошлом и настоящем России сильных мыслителей. Имя Чернышевского послужило для Энгельса убедительным примером того очевидного факта, что в России «была и критическая мысль и самоотверженные искания в области чистой теории». «Я говорю, — пояснял Энгельс свою мысль, — не только о революционных социалистах, но также об исторической и критической школе в русской литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в этом отношении в Германии и Франции официальной исторической наукой»⁵⁰.

Как и Маркс, Энгельс не мог не видеть некоторых слабых сторон воззрений Чернышевского, верившего в крестьянскую общину как единственный социалистический элемент будущего общественного переустройства в деревне. Одной из причин подобной слабости он называет интеллектуальный барьер, который отделял Россию от Западной Европы. «То, чего не пропускала русская цензура, почти или даже совсем не существовало для России. Поэтому, если в отдельных случаях мы и находим у него слабые места, ограниченность кругозора, то приходится только удивляться, что подобных случаев не было гораздо больше»⁵¹.

Смерть Чернышевского воспринята Энгельсом как огромная утрата для России. Первым извещениям, пришедшим из России, Энгельс не поверил, «принимая во внимание лживость русского правительства и легенды о русских революционерах»⁵². Однако печальные вести получили многочисленные подтверждения. «Мы здесь слышали о смерти Н. Г. Ч., — писал Энгельс 10 июня 1890 г. Н. Даниельсону в Петербург, — и восприняли это с чувством глубокой скорби и сострадания. Но, может быть, это и к лучшему»⁵³. Последняя фраза сви-

⁴⁹ К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия, с. 311.

⁵⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 147.

⁵¹ Там же, т. 22, с. 441—442.

⁵² Там же, т. 37, с. 258.

⁵³ Там же, с. 354.

детельствует, что Энгельс был осведомлен о всех подробностях тяжелых условий последних лет жизни Чернышевского в Астрахани и Саратове⁵⁴.

Значительны слова о Чернышевском, сказанные Энгельсом в 1894 г. Символом величия и одновременно показательным примером жертвы царского произвола в бесправной стране был для него «Николай Чернышевский, этот великий мыслитель, которому Россия обязана бесконечно многим и чье медленное убийство долголетней ссылкой среди сибирских якутов навеки останется позорным пятном на памяти Александра II «Освободителя»»⁵⁵.

В работах Маркса и Энгельса даны емкие, точные определения исторического места Чернышевского в русском освободительном движении, и, впоследствии учтенные и развитые В. И. Лениным, они служат надежным методологическим материалом в изучении жизни и творчества писателя-революционера.

⁵⁴ См.: Травушкин Н. С. Написал ли Чернышевский статью о «Капитале» Маркса? — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 7, изд-во Саратов. ун-та, 1975, с. 182—184.

⁵⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 441.

ПЕСНЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В автобиографии, которую Чернышевский назвал отчетом о впечатлениях, оставленных в нем «гражданственной и всякою тому подобною стороною... обстановки»¹, он не без юмора сравнивает свою семью с государством. «В нашем государстве, имевшем... пять человек полноправных граждан... были следующие сословия: 1) помещики — сословие, соответствующее потомственному дворянству русского законодательства, — мой дядюшка и по нем моя тетушка; 2) духовенство — моя бабушка и мой батюшка и матушка». И дальше он добавляет: «сословие, не имеющее никакой движимой собственности, кроме платья, — мой батюшка и дядюшка»².

Действительно, семья Чернышевских не только по имущественному, но и по правовому состоянию не различалась с разночинной интеллигенцией. Притом в большей мере, чем семья Пыпиных («дядюшка и тетушка»). Разночинный характер семьи Чернышевских сказывался и во взаимоотношениях с окружающими, особенно с местным дворянством, и в собственном бытовом укладе жизни. Материальное существование было для семьи полно забот и деятельности. Родные, — говорит Чернышевский, — «были люди обыденной жизни, настолько придирчивой к ним самыми непышными требованиями, что они никак не могли... отбиться от нее»³. «А были они все пятеро люди честные... И, вырастая среди них, я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих соответственно с действительной жизнью. Такой продолжительный, непрерывный, близкий пример в такое время, как детство... не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне

¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. I. М., 1939, с. 665.

² Там же, с. 669.

³ Там же, с. 680.

пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло»⁴. «Простой человеческий взгляд на каждый отдельный факт жизни господствовал в этой семье. Мои старшие были люди в здравом уме»⁵. Чернышевский постоянно указывает, что старшие в семье всегда были в работе. Мать и тетка много шили. Отец же много времени проводил в кабинете, выполняя обязанности по консистории. Здоровая трудовая обстановка окружала и воспитывала будущего великого революционного деятеля. Но, пожалуй, главной воздействующей на его формирование силой, взрастившей его с самого детства, были книги. «Я сделался библиофагом, пожирателем книг, очень рано», — говорит он⁶.

А. П. Скафтымов так характеризует русскую разночинную среду 30—40-х гг.: «Мировоззрение Чернышевского формировалось в такую пору, когда образованные разночинцы становились уже большой силой, сознательно противопоставляющей себя чуждым нравам и вкусам дворянской интеллигенции... Вся атмосфера быта разночинцев проникалась трезвым чувством действительности и практической целесообразности»⁷. Следует добавить, что различие между разночинной и дворянской интеллигенцией обнаруживалось и в том, что первая слагалась на почве типично городской культуры и не была связана с деревней. Для второй деревенская среда была привычной, знакомой и родной.

Нас специально интересует та сторона общественно-бытовой обстановки, какая должна была и могла оказать влияние на сложение эстетических вкусов и взглядов крупнейшего основоположника революционно-демократической теории искусства. Точнее говоря, нам важно уяснить, какие впечатления мог вынести Чернышевский в детские и юношеские годы от песенного искусства, так привлекающего обычно человека в молодости, и, в частности, какие впечатления и эмоции могла вызвать в нем народная песня, составившая впоследствии, как известно, особую проблему в его эстетической теории.

* * *

В семье Чернышевских, их родственников и знакомых были известны главным образом романсы литературного происхождения, широко бытовавшие с конца XVIII века в городской среде, но начинавшие проникать и в деревню: «Стонет сизый голубочек» И. Дмитриева, «Среди долины ровныя»

⁴ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 16-ти тт., т. I, М., 1939, с. 680—681.

⁵ Там же, с. 684.

⁶ Там же, с. 632.

⁷ Скафтымов А. П. Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1947, с. 6.

А. Мерзлякова⁸, а также чувствительные песенки мало известных и забытых поэтов: «Ты душа ль моя, красна девица», «Черный цвет», «Взвейся выше, понесися, сизокрылый голубок»⁹ и другие. К последней, принадлежащей неизвестному поэту конца XVIII века, давалось в песеннике примечание: «По приятности своего голоса во всеобщем употреблении». Об этих песенках Чернышевский говорит, что им выпало «счастье незаслуженное». «Скажите, например, за что все чувствительные сердца в старинные годы выбирали для аккомпанимента своих вздохов непременно или:

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь...

или:

Взвейся выше, понесися,
Сизокрылый голубок...

между тем, как... были сотни других песенок... гораздо лучше написанных?»¹⁰ В романе «Что делать?» исполнение сентиментального романса «Стонет сизый голубочек» вызвало общий смех. Чернышевский упоминает и другие литературные романсы: «Сладко пел душа соловушка». Он говорит о том, что девушки поют «Черную шаль» Пушкина¹¹. В романе «Что делать?» цитирует песни и романсы Кольцова, Лермонтова, Некрасова.

Чернышевский любил петь. Судя по дневниковым записям, он нередко пел в одиночестве. Иногда при этом приходил в такое волнение, что начинал плакать. Чаще всего он напевал песенки Маргариты из «Фауста» Гете и его же «Mailed» («Майская песня»)¹². По-видимому, он знал только поэтический текст, но не воспроизводил известную мелодию, а импровизировал напев по-своему. Иногда так он и говорит, что пел не песни, а стихи. Интересна подробная запись о том, как он ехал в Петербург и вспоминал своих знакомых (Клиентовских), одна из которых писала стихи. «Всю дорогу я читал и напевал стихи Ант. Григорьевны, лучше — «Там, где вишня моя» и т. д., которые, мне кажется, в самом деле замечательны, и я плакал каждый раз, как читал их. В самом деле, страшное дело для живого существа, желающего жизни и любви, чувствовать, что умираешь, присужденная к смерти, не испытавши ни жизни, ни любви, — и эту песню все напевал я про себя, когда мы подъезжали к Петербургу»¹³.

⁸ Пыпина Е. Н. Беседы о прошлом. — В кн.: Чернышевский в воспоминаниях современников, т. I. Саратов, 1958, с. 89.

⁹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 16-ти тт., т. I, с. 389.

¹⁰ Гусев В. Е. Песни и романсы русских поэтов. М.—Л., 1965, с. 991. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 16-ти тт., т. III, с. 661.

¹¹ Там же, т. II, с. 325; т. VII, с. 433.

¹² Там же, т. I, с. 103, 389, 442, 546 и 90, 187, 465.

¹³ Там же, т. I, с. 389. Запись 1850 г.

Стихи в сознании Чернышевского звучали как песни. Но о мелодии он никогда не упоминает, — он пел, по-видимому, так, как вздумается. Он считал, что стихи и читать надо нараспев. В ссылке на прогулке он пел греческие гекзаметры¹⁴. В дневниковой записи конца августа 1848 г. он перечисляет, что пел в одиночестве для себя, а, может быть, и про себя: «лег на диван и стал петь сначала: «Ай, вдоль по улице, молодчик идет», сколько знаю «Ах, как пошел наш молодец», хотел «Сени», после, когда кончу, но запелось уже по-немецки *Wie herrlich leuchtet*, после песни Маргариты, при которых я постоянно думал о В. П. и Над. Ег. — ее положение довольно трудно, как и Маргариты: наружного сходства никакого, внутреннее я нахожу, их я перемешивал, все думал о ней; Шиллеровской Теклы *Der Eichwald brauset...* Когда пел эти песни, постепенно расчувствовался так, что стали катиться слезы. Так провел я с полчаса или более, лежал на диване, раскинувшись на спине и поя, слезы понемногу катились из глаз»¹⁵. Как видно, молодому Чернышевскому вспоминался такой текст из наиболее знакомых, какой своим содержанием отвечал настроению данной минуты. Начал веселые, браваурные песни, не допел и стал петь песенки Маргариты, так как вспомнил женщину, судьба которой его глубоко трогала. Свое отношение к ней он характеризует также текстом из «Фауста», — восторженными словами Валентина о Маргарите¹⁶. Словом, стихи у него становились песнями (он и в теоретической статье 1854 г. сближает эти жанры. «А стихи, которых невозможно пропеть, едва ли заслуживают имени стихов») ¹⁷. И стихи и песни одинаково передавали душевные переживания, вызванные обстоятельствами. Но и собственные эмоциональные состояния как бы искали и находили соответствующие стихи и песни. Песня в его исполнении играла, как видно, служебную роль. Ее самостоятельное эстетическое значение отступало и терялось. Да и не песня была ему нужна, а пение, отвечающее определенным мыслям и настроениям. Такому характеру пения он дает позже теоретическое истолкование в эстетическом трактате¹⁸. Такое «прикладное», если можно так сказать, употребление пения обычно для многих. Для Чернышевского же оно характерно в высшей степени. Разумеется, ему нравились песни и пение также и другого характера, когда произведения воспринимались в их собственной эстетической сущности. Он любил стихи и песенки де-

¹⁴ См.: Николаев П. Ф. Личные воспоминания. М., 1906, с. 18—19.

¹⁵ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 16-ти тт., т. I, с. 103. См. также примечание № 41 и 42, с. 795.

¹⁶ См. там же, т. I, с. 138.

¹⁷ Там же, т. II, с. 554—555.

¹⁸ См. там же, т. II, с. 61—62.

мократических поэтов¹⁹, он плакал, слушая оперу «Вильгельм Телль»²⁰, он вспоминает пение Марио как пример высокого искусства²¹. В романе «Что делать?» поет дама в трауре и различает шутивное пение и серьезное с особым значением, исполняемое с чувством.

В домашнем же, бытовом применении песни и пение у Чернышевского перемежались с декламацией стихов. Так, обращаясь мысленно к невесте с пожеланием ей счастья, он записывает в дневнике «*Sie ewig glücklich*» — последний стих из «*Mailied*» Гете. Чаще же всего в записях о ней он говорит словами любимых поэтов — Лермонтова и Кольцова. «Мне пришло в память: «У Черного моря чинара стоит молодая, так роскошна ты, моя чинара»²². Он дарит ей сборник стихотворений Кольцова с надписью: «Как весна хороша ты, невеста моя». Произведения Кольцова, судя по дневнику Чернышевского, постоянно цитируются среди молодежи в доме Васильевых. Но он говорит каждый раз не о песнях и романсах Кольцова, а о чтении стихов. Вполне вероятно, что мелодическое их исполнение еще не получило известности. Произведения Кольцова, как и Лермонтова, в песенный репертуар вошли позже. Они начинают появляться в песенниках только со второй половины 50-х гг.²³

О своей любви к литературной лирике Чернышевский говорит неоднократно. «Я знал чуть не все лирические пьесы Лермонтова», — вспоминает он. Известно, как он восхищался лирикой Некрасова, и не стихотворениями «с тенденцией», а глубоко субъективной интимной лирикой. Сводку обширной исследовательской литературы по этому вопросу дала в обстоятельной статье Б. И. Лазерсон²⁴. Самое большое впечатление из поэтического творчества Кольцова на него производили стихотворения о личных переживаниях поэта, отличающиеся «энергией лиризма»²⁵.

* * *

Какое же место занимала народная песня в поэтическом мире Чернышевского?

¹⁹ Чернышевский в воспоминаниях современников, т. I. Саратов, 1958, с. 320.

²⁰ См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 16-ти тт., т. I, с. 409, 548.

²¹ Там же, т. I, с. 671.

²² Там же, т. I, с. 456; 561.

²³ См.: Гусев В. Е. Песни и романсы русских поэтов, с. 1018—1020, 1023—1025 («Библиотека поэта»).

²⁴ См.: Лазерсон Б. И. Чернышевский о любовной лирике Некрасова. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 7. Изд-во Сарат. ун-та, 1975, с. 95—108.

²⁵ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 16-ти тт., т. III, с. 515.

Вряд ли ему удавалось слышать проникновенное пение хороших народных певцов. Во всяком случае он нигде об этом не говорит. Если же посмотреть, какие вещи из народного репертуара он пел сам, то это оказывается далеко не лучшие и к тому же исключительно плясовые песни, одинаково известные, начиная с конца XVIII века, как в деревне, так и в городе. В дневнике он называет «Ай, вдоль по улице молодчик идет», «Ах, как пошел наш молодец», «Сени». И знал он их не полностью²⁶. В романе «Пролог» Волгин напевает «Как у наших у ворот стоял девок хоровод»²⁷. Встречается у него упоминание веселой же песни «Во саду ли, в огороде». Высоко оценить эти вещи он явно не мог. В романе «Что делать?», когда во время катанья на снях молодежь запела «Сени», дано замечание: «Нечего сказать, отыскивали песню».

«Мы не думаем ставить, как это делают многие, цыганского хора выше оперы или концерта. «Ай, вдоль по улице молодчик идет» выше моцартовской или россиниевской арии, не считаем «Древних русских стихотворений» Кирши Данилова выше стихотворений Пушкина»²⁸. В этих словах Чернышевский повторяет мысль Белинского, но вкладывает в них новый смысл, формулируя важнейшее положение своей эстетической концепции о непрерывно прогрессирующем развитии искусства, где народная поэзия занимает первоначальную ступень. Упомянув «многих», кто ценит цыганский хор выше оперы или концерта, он имел в виду славянофилов, а также русское барство, увлекавшееся старинной крестьянской песней в цыганском исполнении, начиная с XVIII века²⁹.

Чернышевский знал народную песню главным образом по книжным источникам. Их тексты попадались в прочитанных или рецензируемых им художественных произведениях и критических статьях: (о сб. Терещенко «Быт русского народа», о «Бедности не порок» Островского)³⁰. В четвертой статье об аненковском издании Пушкина названа широко известная рекрутская песня «Не белы снежки». В рецензии на статью А. С. Зеленого приводится известная семейная песня о жалобах молодой женщины на побои мужа³¹.

²⁶ См. там же, т. I, с. 103. Народные варианты см.: Соболевский А. И. Великоорусские народные песни, тт. I—VII. СПб, 1895—1902; т. VII, № 84, т. II, №№ 72—79.

²⁷ См. там же, т. XIII, с. 6—7; т. II, № 510—515.

²⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 294.

²⁹ См. собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач. М., 1955, с. 40; Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1965, с. 300.

³⁰ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 232—241 (Дневник 1848 г., 24—25 декабря).

³¹ См. там же, т. II, с. 507; т. IV, с. 839; см. также: Соболевский А. И. Великоорусские народные песни, т. VI, № 9—15; т. II, № 436—437, 526—538.

Больше всего народных песен печаталось в дешевых изданиях песенников, где они помещались рядом с низкопробными литературными текстами. В рецензии на песенник 1855 г. Чернышевский возмущается крайним убожеством этого издания и обращается с призывом выпустить хороший сборник лучших произведений русской поэзии, указывая на большую в этом потребность современного читателя³². Можно предположить, что Чернышевский знал материалы, собираемые в его бытность в Саратове А. Н. Пасхаловой и Н. И. Костомаровым. Об их записях народных песен он был хорошо осведомлен.

Он, несомненно, высоко ценил национально-самобытную народную песню и считал чрезвычайно нужным делом записывание текстов. «Мы не можем не сочувствовать ей всегда, не заслушиваться часто до увлечения прекрасных свежих, энергических мотивов ее»³³. Возможно, что в памяти Чернышевского было свежо описание того громадного впечатления от исполнения народной песни, какое дал Тургенев в рассказе «Певцы». Этот рассказ был напечатан в «Современнике» в 1850 году.

* * *

Но Чернышевский судил о народной поэзии с позиций общеэстетических и справедливо считал ее искусством прошлого. Ее расцвет он относил примерно к XVII веку: «лет около ста или полутора ста назад (а может быть и более) она была... свежа и цветуща у великороссов»³⁴. Он указывает, что с течением времени народная песня изменяется. «Стихосложение нашей народной поэзии само покидает свои прежние правила, учится новым, принятым нашею литературою со времен Ломоносова, и тем само изобличает свою слабость сравнительно с новою версификациею»³⁵. И эти наблюдения также верны. Мало того, не только в стихосложении, но и в содержании и методе лирического выражения народная песня уже с конца XVIII века стала заметно сближаться с литературной поэзией, тяготея к открытому психологизму. Нередко песенная продукция такого рода была очень невысокого качества, что вызывало тревогу исследователей и любителей пения, усматривавших в этом процессе умирание или «падение» народного творчества. Старинная традиционная песня в лучших образцах сохранялась в репертуаре подобных любителей, в концертном исполнении, у цыган и в тех слоях на-

³² См. там же, т. II, с. 713—714.

³³ Там же, т. II, с. 308.

³⁴ Там же, т. II, с. 309.

³⁵ Там же, т. II, с. 473.

селения, где особенно придерживались старины. Главным же образом в деревне.

Теоретические суждения Чернышевского о народной песне изучены детально. Отметим только некоторые основные положения. Народная песня отжила свой век и не может отвечать задачам нового времени, — говорит он в рецензии на сборник А. Берга «Песни разных народов» 1854 г. Добролюбов в 1858 г. высказал примерно ту же мысль, указав, что великорусские песни не выражают критического отношения к современной действительности³⁶. В самом деле, русские народные песни, направленные против крепостного гнета, мало известны. Особой популярностью пользовались только женские семейные песни, в которых звучали жалобы невестки на полное бесправие и тяжелое положение в семье мужа. Иногда такая жалоба перерастала в возмущение и протест. Главная же масса произведений народной лирики была обращена своим содержанием к положительным идеалам. Стихийные выступления крестьян — побег от помещиков и уход в разбойничьи шайки — получили отражение в удачных песнях, в которых изображались не ужасы крепостного состояния народа, но звучала жажда свободы и требование признания человеческого достоинства. Так художнически осознал эту лирику Пушкин, а за ним истолковал Белинский. Чернышевский же, включив отрывок популярной удалой песни в роман «Пролог», придал ей революционное звучание, что не соответствовало народным вариантам, но выражало желание автора видеть подобные настроения в массах предреформенного времени³⁷.

В подлинно народных песнях вождь революционной демократии не видел того общественно-преобразующего, «практического» значения, какого он требовал от всякого поэтического искусства. Он говорил, что и художественная форма народной песни не может удовлетворить цивилизованного человека, что она дошла до его времени в искаженном виде. Но это утверждение верно только частично, если иметь в виду некоторые жанры. Народная лирика сохранялась дольше и лучше, чем песенный эпос. Да она и сложилась-то значительно позже. Главный недостаток традиционной песни он видит в том, что в ней отражено сознание патриархального общества, сознание всего народа, а не отдельного человека: «в ней мало индивидуальных особенностей, которых мы более всего ищем»³⁸. Чернышевский прав, если его мысль принять в самом общем плане, применительно к фольклору вообще. В народной же лирике, особенно в песнях необрядовых, субъективно-

³⁶ См.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х тт., т. I. М., 1950, с. 592.

³⁷ См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. XIII, с. 196.

³⁸ Там же, т. II, с. 306.

личностное всегда присутствует, хотя и далеко не в той мере, как в лирике литературной, да и характер этого субъективного психологизма совсем иной. Все же необрядовая народная песня значительно отличается от более традиционно устойчивой и архаической обрядовой.

Среди собирателей и любителей песенного фольклора уже с начала XIX века стали раздаваться голоса в защиту старой традиционной песни, противопоставление ее мещанскому романсу, завоевывавшему все большее место в репертуарах не только средних слоев и низов города, но и деревни. Чернышевский понял необратимость совершающегося процесса, хотя и выступил слишком прямолинейно, заявляя, что народная песня устарела и не может удовлетворить современного слушателя.

* * *

Чернышевский был очень последователен в применении принципов выработанной им материалистической эстетики. Это обнаруживается не только в теоретических исследованиях, но и в критических статьях о творчестве писателей. Существует мнение, что он отнесся положительно к народности творчества Пушкина³⁹. Действительно, он говорит, что поэт «уже в детстве был окружен элементом народности», что, «проникнувшись любовью к народности, он сам входил в простонародные кружки, подслушивая там язык и песни»⁴⁰. Сравнивая поэму «Руслан и Людмила» с драмой «Русалка», произведения, созданные на фольклорной основе, он отдает предпочтение последней за реализм: «Многие ее сцены превосходно изображают старинную нашу жизнь в ее истинном виде»⁴¹. Однако эти утверждения еще не содержат подлинной оценки. Отношение к народности пушкинского творчества не вызывало его безусловного одобрения. «Обыкновенно до сих пор продолжают по смутным воспоминаниям о мнениях «Телеграфа» и «Телескопа» толковать, что заслуга Пушкина преимущественно состоит в народном элементе, который ввел он в нашу литературу... По-видимому, теперь давно пора бы забыть о столь важных и удивительных открытиях», — замечает он не без иронии⁴². Если «Жениха» он считает «прекрасным созданием из народной жизни», то здесь же говорит, что «многие из простонародных сказок очень слабы»⁴³.

³⁹ См.: Землянова Л. М. Проблема народности литературы и народного творчества в эстетической концепции Н. Г. Чернышевского. — В кн.: Русский фольклор, VII. М.—Л., 1962, с. 175—176 и 185.

⁴⁰ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 431.

⁴¹ Там же, т. III, с. 335.

⁴² Там же, т. II, с. 506.

⁴³ Там же, т. II, с. 504.

Как видно, наличие «народного элемента», с точки зрения Чернышевского, еще не составляет достоинства литературного произведения. Это и понятно. Он требовал верного изображения самой жизни народа в ее положительных и отрицательных сторонах, но не верил в возможность дать верное изображение современной деревни путем переложения старинных сказок и песен. Кроме того, Чернышевский считал, что талант Пушкина в 30-е гг. стал гаснуть. «Пушкин в последние годы менее дорожит своим поэтическим талантом — это видим из его писем, в которых он, например, считает важным делом только историю Пугачевского бунта, а «Капитанскую дочку» — ничтожною безделкою, написанною для развлечения, для отдыха»⁴⁴. В этих словах критика передана ошибочно понятая мысль пушкинского письма, что объясняется до некоторой степени неосведомленностью. Ему не был известен подлинный текст письма. Он познакомился с ним по книге П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина», обстоятельный разбор которой Чернышевский напечатал в «Современнике» в 1855 г. Но у Анненкова письмо Пушкина передано неточно.

Поэт, обращаясь к управляющему третьим Отделением А. Н. Мордвинову, просит предоставить ему отпуск, «дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу ...которая доставит мне деньги, в коих имею нужду». «Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать?» Речь идет о самом народном по проблематике и материалу романе «Капитанская дочка». Эту свою литературную работу Пушкин противопоставляет той, которая выполнялась «благодаря государя». Он подчеркивает, что в Петербурге его труды, «благодаря государя, имеют цель более важную и полезную»⁴⁵. П. В. Анненков, цитируя это письмо, заменил слово «государя» нейтральным словом «начальство», отчего нарочитое противопоставление официального историографического труда собственному литературному творчеству утратилось. Осталась только якобы сниженная оценка самим поэтом работы над «Капитанской дочкой»⁴⁶. Невольная ошибка Чернышевского совпала с собственным его мнением о творчестве Пушкина 30-х гг. Он называет и его простонародные сказки «прелестными игрушками, которым сам (поэт. — Т. А.)

⁴⁴ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 504.

⁴⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. X. М.—Л., 1949, с. 435.

⁴⁶ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. — Сочинения А. С. Пушкина, т. I. СПб, 1855, с. 362. В комментариях ко второму тому сочинений Чернышевского (с. 861—862) недоразумение с письмом Пушкина не только не разъясняется, но запутывается еще больше. Конец опущен совсем, и слова «благодаря государя» отсутствуют. Осталось только выражение о «суетных занятиях», относящихся к «Капитанской дочке». Спутана и дата письма: вместо 1833 г. поставлен 1832 г.

не придает цены»⁴⁷. Примечательно, что в детской книге о Пушкине Чернышевский назвал «Капитанскую дочку» вместе с «Дубровским» «лучшими из прозаических повестей» писателя⁴⁸.

Недооценка Чернышевским народности многих созданий Пушкина не может все же объясняться только неосведомленностью. Революционно-демократическая критика резко расходилась со многими писателями по очень острому в предреформенные годы вопросу о народности художественной литературы. Чернышевский считал, что народная поэзия допустима только в реалистической литературе и если она подчинена значительному замыслу автора. К тому же она получает смысл в переработанном виде. Сам он в своей беллетристике и критических статьях изменял даже пословицы, стремясь придать большую политическую остроту их смыслу. Он свободно обращался с поэтической структурой пословиц, с их языком, исключал архаизмы, деметафоризировал стиль, не смущаясь тем, что художественная форма при этом разрушалась. Так охарактеризована его работа с пословицами в монографическом исследовании А. Ф. Ефремова о языке Чернышевского⁴⁹.

Совершенно не употребляет Чернышевский и обобщенных выражений из песенных текстов в качестве пословиц, что так характерно для многих писателей. Немало песенных цитат пословичного типа в письмах Пушкина и в его художественных произведениях. Немало в комедиях А. Н. Островского, в речах близких к народу персонажей, а также у Н. А. Некрасова и других⁵⁰. В такой функции отрывки из песен были употребительны в бытовом обиходе народа. Поэтическая структура таких песенных фразеологизмов отличалась традиционным отшлифованным постоянством.

Еще писатели-романтики в понимание народности литературы включали наличие в ней фольклорных элементов, хотя интересовались преимущественно национальным колоритом и экзотикой. Но и те художники-реалисты, кому был известен в деталях быт народа и населения близкого культурного слоя, изображая их жизнь, не могли обойтись без фольклора, без сцен с обрядами, песнями, без пословиц и поговорок в речах действующих лиц — словом, без того, что составляло духовный быт народа, что характеризовало общественные, семейные и личные его устремления.

⁴⁷ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 504.

⁴⁸ Там же, т. III, с. 335.

⁴⁹ См.: Ефремов А. Ф. Язык Н. Г. Чернышевского. — Учен. зап. Саратов. ин-та, Изд-во Саратов. ун-та, 1951, с. 185—193.

⁵⁰ См.: Акимова Т. М. Пушкин о народных лирических песнях. — «Учен. зап. Саратов. ун-та», т. XXIII, Изд-во Саратов. ун-та, 1958, с. 21—78; Ее же. Уроки Чернышевского. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 7. 1975, с. 49—63.

Чернышевский считал, что народнопоэтические произведения должны входить в художественную литературу с тем, чтобы представлять искусство прошлого и служить передовой идее. С этих позиций он подошел к комедии Островского «Бедность не порок» в своей знаменитой рецензии 1854 года. Сцены пьесы, полные старинных обрядов и песен, подчинены, говорит Чернышевский, фальшивой идее — реакционной идеализации старины. Осуждая содержание пьесы, он признал ненужными и все народные сцены. Пять лет спустя Добролюбов отвел обвинение Островского в староверстве и тем самым раскрыл истинный смысл обличительного пафоса выступления Чернышевского. Его критика была направлена не столько против драматурга, сколько против «защитников» и лжетолкователей его творчества, пытавшихся признать его своим единоверцем. Все же критика Чернышевского, как и Добролюбова, оказала неоценимую помощь не только молодому Островскому, но и последующей литературе.

В творчестве передовых художников фольклор обычно органически вплетался в художественную ткань, составляя непремennую часть авторского замысла и идейного смысла произведения. Он не был только принадлежностью быта, но помогал всесторонне осветить социальный и моральный облик героев, их общественно-историческое сознание. Фольклор, современный изображаемой эпохе, отражал идеалы народа, его стремления, он раскрывал непреходящие эстетические ценности народного искусства, богатство народного языка и творческие способности народа. В таком качестве он был вопиющим противоречием закабаленному положению крестьянских масс. И все же эти разнообразные функции народной поэзии в творчестве писателей, начиная с Пушкина, позже Тургенева, Островского, не могли удовлетворить Чернышевского, поскольку они не обнаруживали протестующих настроений народа, его боевых революционных способностей.

Сам Чернышевский в своих романах приводит немало песенных и стихотворных цитат, органически сочетая их с идейным смыслом произведений, образами действующих лиц. Но он совсем не пользуется фольклорными текстами в положительном их значении. Песенный репертуар его героев — это стихи и романсы писателей — Кольцова, Лермонтова и особенно Некрасова. Отрывки из их лирических стихотворений он умеет прочно вмонтировать в содержание романа. В собственном творчестве он реализует одно из существенных положений о том, что народная песня не может удовлетворить цивилизованного человека. «Моим потребностям соответствуют только песни отдельных поэтов, выражающих не чувство вообще, а именно такое чувство, каким проникнут именно я и которое остается чуждо в этом особенном развитии для многих других людей... Не говоря уже о том, что цивилизация

развивает в нас множество чувств и, особенно, понятий, о которых вовсе не знает патриархальный человек»⁵¹.

В третьем разделе первой главы романа «Что делать?» Верочка по распоряжению матери поет для офицера «Тройку» Некрасова, будто бы отвечая на его приглашение поехать покататься. Мария Алексеевна была очень довольна выбором романса: «Эта песня очень хороша: девушка засмотрелась на офицера». Так понимала она смысл произведения и решила, что дочь действует очень умно. Но Верочкин выбор объяснялся совершенно другой причиной. Ей был близок порыв героини вырваться из духоты и гнета окружающей действительности. Автору важно было показать, как различно понимание одного и того же произведения тремя разными персонажами, и тем самым обнажить внутренний облик каждого из них.

Изображая новых людей, он показал также и их песенную культуру, которая решительно отличается от традиционной фольклорной. Народная плясовая песня «Сени» («Выходила молода за новые ворота») вызывает у них взрыв смеха. Также осмеивают они и городской сентиментальный романс «Стонет сизый голубочек». Они поют революционные песни: популярную песенку французской революции «Са ига», песни Беранже, арии из зарубежных опер, из русских же — современные песни Кольцова, Лермонтова и Некрасова. И вся эта поэзия полна одушевленности, готовности к борьбе, веры в победу⁵².

Очень интересно представил Чернышевский будущее народной песни в четвертом сне Веры Павловны. Песня сопровождает работу людей, помогает радостному коллективному труду, облегченному применением машин. «И все песни, все песни, — незнакомые, новые; а вот припомнили и нашу; знаю ее:

Будем жить с тобой по-пански;
Это люди нам друзья,—
Что душе твоей угодно,
Все добуду с ними я...⁵³

Во время пира песню сочиняет поэт, вдохновенный избранник: «Ему говорит свои тайны природа, ему раскрывает свой смысл история, и жизнь тысячелетий пронесется в его песне рядом картин»⁵⁴. Будущее рисуется в романе светлым и радостным, полным музыки и пения.

Тексты литературных песен и романсов Чернышевский не считал возможным переделывать. Они отвечали своей проблематикой настроениям героев, и, главное, звали вперед.

⁵¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 306.

⁵² Чернышевский Н. Г. «Что делать?». Глава пятая, разделы XXII и XXIII.

⁵³ Кольцов А. В. «Бегство». — Кольцов А. В. Полн. собр. стихотворений. Л., 1958, с. 153.

⁵⁴ Чернышевский Н. Г. «Что делать?», гл. 4. XVI.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О СКАЗКЕ*(К изучению в советской фольклористике)*

Высказывания Чернышевского о сказке в «Повести в повести» хорошо известны и не раз использовались советскими фольклористами.

Впервые они были введены в научный оборот М. К. Азадовским в связи с изучением мастерства современных ему сказителей. Наблюдения над бытованием сказки в Сибири позволили исследователю сделать вывод о «взрослой» ориентации большинства сюжетов, на что обращал внимание и Чернышевский. Азадовский подчеркивает преимущественный интерес Чернышевского к эстетической стороне сказки в противовес сугубо этнографическому ее изучению, а также использованию ее в качестве социологических материалов, к чему призывал Добролюбов в известной рецензии на сборник Афанасьева. В этом смысле, развивая мысли Чернышевского, Азадовский предлагает анализировать личность каждого талантливого сказителя и его творчество как вклад в общую художественную культуру народа.

Уже в этих первых высказываниях содержалась и не до конца проясненная позиция Чернышевского на сказки и проявилось, потом многократно повторенное в других работах, стремление механически перенести высказывания Чернышевского о сказках «Тысяча одной ночи» на русскую народную сказку. М. К. Азадовский пишет: «...художественный метод и сущность сказок всегда одни и те же, будь то сказки арабские, монгольские или русские»¹.

Нет акцента на различие восточных и европейских сказок и в статье Г. Виноградова «Этнография в кругу научных ин-

¹ Азадовский М. К. Русские сказочники. — В кн.: Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. М.—Л., 1960, с. 15. Впервые опубликовано в кн.: Азадовский М. К. Русская сказка. Избранные мастера. 1932.

тересов Н. Г. Чернышевского»², в которой суммируются взгляды Чернышевского, представленные как народознание, народоведение на этнографию, фольклор, социологию. Анализируя высказывания Чернышевского о сказке, Г. Виноградов обобщил круг тех вопросов, которые поднимает критик:

- 1) Чернышевский дает свое понимание³ природы сказки;
- 2) проводит различие между «книжной литературой» и устной;
- 3) определяет природу действующих лиц в сказке;
- 4) дает психологию восприятия сказки.

На некоторую парадоксальность высказываний Чернышевского о сказке обратил внимание В. Е. Гусев, анализируя заявление Чернышевского об активной роли воображения слушателя в создании сказки, в домысливании ее. По Чернышевскому, сказка «наполовину или более чем наполовину создается вами самими...»⁴. Гусев полагает, что за этими словами не скрывается мысль о возможности вложить в сказку любое содержание. Воображение слушателя не может быть беспредельным, и своеобразным ограничителем его является объективное содержание, заключенное в фольклорном образе. «Более того, — размышляет Гусев, — часто именно некоторая неопределенность объективного содержания ограничивает возможность объективного образа»⁵.

Гусевым впервые было повернуто в фольклористическое русло исследование Чернышевским такой категории, как трагическое. В противовес своей материалистической формуле «трагическое есть ужасное в жизни человека» и характерному для материализма отрицанию фатума, рока, Чернышевский оставляет возможность подобных трактовок судьбы для определенной ступени исторического развития, и, подчеркивает Чернышевский, для определенного народа и жанра (греческая мифология, арабская сказка). Неточно цитирует В. Е. Гусев Чернышевского, когда пишет, что будто бы Чернышевский «ссылается на связь трагического с идеей судьбы и в ряде других народных сказок».

Напротив, говоря о европейцах, Чернышевский замечает, что понятие судьбы «очень искажается в европейских книгах, которые переделывают все по своему разумению» (II, 175), то есть, вероятно, восприятие жизни европейца отличается от

² Виноградов Г. Этнография в кругу научных интересов Н. Г. Чернышевского. — «Советская этнография», 1940, № 3.

³ В отличие от многих исследователей, которые давали только восторженные оценки всем высказываниям Чернышевского, Виноградов стремится к объективному осмыслению положений критика.

⁴ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. XII. М., 1949—1954, с. 132. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с обозначением римской цифрой тома, арабской — страницы.

⁵ Гусев В. Е. Проблема фольклора в истории эстетики. М.—Л., 1963, с. 164.

восприятия ее азиатом. В числе тех народов, у которых живет «живое и неподдельное понятие о судьбе», отмечены греки, арабы, персы, турки.

На примере анализа сказки о Календере из «1001 ночи» Чернышевский показывает, что представляет собой такое понимание судьбы: это воплощение в жизнь предсказания, прорицания, гадания, вопреки желанию избавиться от его осуществления. Несчастье, гибель, трагедия происходят от желания их избежать. «Вот что называется судьбою. Это какая-то непобедимая сила, которая хочет губить людей, но, чтобы резче выказать их бессилие перед собою, она нарочно предостерегает их; предуведомленный о грозящем ему ударе, человек старается избежать удара; но именно этого-то и хочет судьба; на самой безопаснейшей дороге она и настигает бегущего. Она не просто губит человека — она хочет посмеяться над его умом, над его предосторожностями, она непременно губит его тем самым, чем он думает спастись» (II, 177).

В русской сказке почти нет такого рокового сцепления событий. Герой всегда целеустремлен, в действии или готовности делать, он не ищет «безопаснейшего» пути, напротив, всегда рискует, нередко жизнью, никогда не думая обставлять свой путь предосторожностями. Русская сказка почти не знает гаданий, предсказаний судьбы (исключение — сюжеты типа «Чудесная курица»). Чернышевский подчеркивает несообразность арабских сказок для современного европейца, для которого они могут иметь интерес разве что фантастического, так как не имеют ничего общего «с нашим образом мыслей» (II, 177).

Но все же сила случая — важнейший двигатель сюжета и в русской сказке: случайная встреча нужных героев в нужном месте в нужное время, наличие единственно нужных помощников. Но это не рок гибели, а рок удачи. Противоречивость фольклорной эстетики отражает противоречивость мировоззрения народа. «С одной стороны, героические фабулы, жизнелюбивые и отважные герои, способные на самые трудные испытания, ощущение бессмертия народа, мотивы социальной борьбы, с другой — власть случайных сил, рока, судьбы, мечты о небесном рае, наивные надежды на обетованные земли»⁶.

Это первая, оптимистическая, активно жизненная струя свойственна в первую очередь сказке и бытине, фольклорным жанрам, которым присуще в разной мере «воспарение над действительностью». Рок не тяготеет, не висит над сказочными героями наподобие «дамоклова меча», судьба героя всегда счастлива, какие бы случайности (впрочем морально мотивированные) не задерживали это будущее (скажем, зависть бра-

⁶ Базанов В. Г. Русские революционные демократы и народознание, Л., 1974, с. 18.

тьев, упрямство и непослушание, неосторожность героя и т. п.)

В работе В. Г. Базанова «Русские революционные демократы и народознание» вопрос о сказочной фантастике и о содержательной ее наполненности — выражение идеалов народа — предлагается трактовать шире и глубже. В. Базанов полагает, что если не ограничиваться только прямой цитатой Чернышевского, связь и ценностное понимание самой сущности сказочной фантастики обнаружит и роман «Что делать?». Идеалы красоты человеческой жизни и самого человека, трудовые идеалы, идеалы всеобщего материального благополучия и счастья (в сказке личного благополучия и личного счастья) обнаруживаются как в сказке, так и в утопической картине будущего в романе. «Общее между социалистическими утопиями в романе «Что делать?» и волшеббно-героническими сказками состоит в понимании проблемы труда и распределения материальных ценностей в обществе»⁷. В то же время Базанов подчеркивает для Чернышевского как бы первичность социалистического учения и теории, которая может быть подкреплена и потому жизненно оправдана идеалами самого народа, воплощенными в сказочной фантастике. Это лишний раз свидетельствует не просто о мужицком демократизме Чернышевского, но о знании им народных запросов, которое проявилось уже в его ранней работе «Эстетические отношения искусства к действительности» и которое вполне могло быть почерпнуто из многих других, помимо народной сказки, источников.

В. Базанов выявляет отличие утопической теории будущего у Чернышевского от сказочного утопизма, который пронизан царистскими иллюзиями и патриархальными представлениями о подвиге в одиночку, о помощи волшебных предметов герою, о счастливом стечении обстоятельств. В сказке фантастической нет «отрицания той действительности, которую покидал герой»⁸, хотя справедливости ради стоит заметить, что элементы критического отношения к действительности, сатирического изображения своих главных врагов сказка знает в другой своей жанровой разновидности. Так что то, что «крестьянскому путешествию в будущее не хватало отрицания той действительности, которую покидал герой»⁹, возможно и не может служить упреком для волшебной сказки, смысл которой не в отрицании, но в приобретении. Другое дело, и в этом В. Базанов безусловно прав, что схема, в которую оформляется счастливое завершение приключений сказочного героя, укладывается в представления только о царской или купеческой жизни.

⁷ Базанов В. Г. Русские революционные демократы и народознание, Л., 1974, с. 26.

⁸ Там же, с. 31.

⁹ Там же.

Но вряд ли в этом проявляются только царистские иллюзии и только чисто практические материальные запросы народа.

В свое время Гегель тонко подчеркнул иные представления, которые реализуются в таком итоге. «Как идеальное состояние мира соответствует преимущественно определенным эпохам, так и искусство избирает для образов, выступающих в этом состоянии мира, преимущественно определенное сословие — царей. И оно поступает так не из аристократизма и предпочтения знатных лиц, а в поисках полной свободы в желаниях и действиях, реализующейся в представлении о царственности»¹⁰.

Наряду с желанием богатства, желание «полной свободы» (а это соотносится с материальным достатком) проникает и в народную сказку. При достижении этого идеала сказка завершается. Обобщенность этого идеала подчеркивается отсутствием конкретного быта обстановки царской. Представление о ней создается самыми общими и всегда постоянными реалиями, условно-вещными символами: трон, корона, царство, дворец, хрустальный мост, золото, серебро, окружение героя: мамки-няньки, генералы и т. п. Иных форм приобретения свободы и богатства народ не мог вымыслить.

В. Базанов, показывая отличие мужицкого идеала от идеала революционных просветителей, отмечает в последнем «единство трудовой и умственной жизни». Конечно, мужик естественно был далек от умственной деятельности, чтобы сделать ее идеалом. Но жизнь сердца, чувства и чистота нравственных оценок безусловно свойственна народу и сказкам, и их фантастике.

В этом смысле В. Г. Базанов, думается, не фиксирует внимание на противоречиях в некоторых высказываниях Чернышевского о фантазии, фантастике. Анализируя высказывание Чернышевского — «когда у человека сердце пусто, он может давать волю своему соображению, но как скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная действительность, крылья фантазии связаны» — Базанов подчеркивает демократизм Чернышевского, попытки материалистически объяснить фантастику народную, и это, безусловно, так. Но Чернышевский лишает народные фантазии внутреннего духовного содержания — фантазии возникают, когда «у человека сердце пусто». Но разве человек, живущий богатой жизнью сердца, обязательно должен быть лишен фантазии, умения и желания фантазировать! Опыт истории человеческого общества свидетельствует о том, что мечтают не только самые бедные, что мечтают и фантазируют и люди горячего сердца. В. И. Ленина называли гениальным фантастом. Фантазии самого Черны-

¹⁰ Гегель Г. В. Ф. Эстетика, т. I. М., 1968, с. 200—201.

шевского в снах Веры Павловны были не только порождением холодного трезвого ума, но и пылкого чувства.

Чернышевский несколько метафизически оценивает человека, игнорируя всю сложность и противоречивость его взаимодействий с миром, пытаясь все свести к строго регламентированному порядку, почти закономерности, без всяких исключений — чем беднее жизнь, тем богаче фантазия («бедность действительной жизни — источник жизни и фантазии») (II, 36) и богатство фантазии — свидетельство бедности чувств.

Также метафизически оценивает Чернышевский, обращает внимание Базанов, и потребности человека, которые «не могут быть раз навсегда лимитированы»¹¹. Следует добавить, что потребности свойственны не только человеку, живущему в скудной действительности, просто — в зависимости от того, как, в каких условиях живет человек, меняются его потребности. Они безотносительно от своего конкретного содержания — свойство человеческой природы в любом историческом диапазоне (дикарь и цивилизованный человек, барин и мужик и т. п.).

Но одно здесь обязательно — потребности человека или мечты его возвращаются в круг тех предметов и явлений, о которых человек имеет хотя бы приблизительные представления. Мы видели: представления о царской жизни, выраженные в народной сказке, весьма общи и неконкретны. Народ привлекает не вещный мир, а богатство и свобода, которых всего больше у царя. Народные идеалы счастья и богатства в сказке в какой-то мере утилитарны, но в пределах возможных народных представлений. И в этом смысле известное высказывание Чернышевского: «Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханного драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с брабантскими кружевами, о пологе из какой-то невообразимой лионской материи...» (II, 36) — тоже нуждается в коррективах. Конечно, высказывание Чернышевского следует понимать в самом общем смысле, это утверждение одной мысли — скудность, нищета жизни — главенствующее условие рождения фантазий. Но мечты все же, думается, не могут носить (если в них есть полет) столь конкретно-утилитарного характера. Если же мечта практична, она вполне укладывается в реальные жизненные потребности, не существует мечты «невообразимой». Человеку, лежащему «на голых досках», вряд ли могут привидеться «пуховики из гагачьего пуха», «брабантские кружева», «лионская материя» и пр. просто по той простой причине, что он никогда этого не видел. Человек не может

¹¹ Базанов В. Г. Русские революционные демократы и народознание, с. 28.

мечтать образами, летающими за пределами жизненного опыта. Вся эта роскошная иностранная тарабарщина русскому человеку чужда и в конкретном своем смысле не может быть применена к русской сказке.

* * *

В фольклористике утвердилось мнение, что в «Повести в повести» Чернышевский дал апофеоз сказке как жанру. Надо подчеркнуть, что Чернышевский прямо говорит как об образце и источнике для подражания о сказках «Тысяча одной ночи»: «Я в молодости очаровывался сказками 1001 ночи... и много раз потом в мои зрелые лета, и каждый раз с новым очарованием, я перечитывал этот дивный сборник. Я знаю произведения поэзии не менее прекрасные, более прекрасного — не знаю» (XII, 130).

Что привлекает Чернышевского в этих сказках? Их «очарование» составляет то, что они образцы «чистой» поэзии, полное отсутствие в них правдоподобия и то, что сказки не преследуют никакой иной цели, кроме развлекательной, и могут вполне служить взрослым чтивом, отдыхом. Чернышевский обращает внимание на героев сказок «Тысяча одной ночи», которые «должны иметь характер эфирности», на особенное, благодаря специфике жанра, соотношение рассказчика и слушателя, когда последний приглашается в соавторы, на отсутствие в сказках «национальных обычаев, мыслей, национальных характеров в действующих лицах» (XII, 129), что создает в целом «белый фон сказки», по которому скользят герои.

Однако «эфирность» героев сказки не есть их бестелесность, подчеркивает Чернышевский, характеризуя одну из героинь, Маджлинет, как женщину цветущую здоровьем и полную телом. Ее «эфирность» в том, что появляется она внезапно в середине повествования и столь же внезапно исчезает, мы не можем проследить за ее судьбой, за ее родственными связями и пр. Слушателю-читателю предоставлено право решать — так ли это.

Далеко не все из этих мыслей Чернышевского, достаточно тонко охарактеризовавшего арабские сказки, приложимы к русской сказке. Русская сказка отличается односюжетностью, интересом к биографии героя, за которым она следит до воцарения и женитьбы. Все остальные персонажи, фантастические и реальные, отчетливо разделены в зависимости от отношения к главному герою на «своих» и «чужих», «добрых» и «злых». Сам герой характеризуется с нравственной стороны и отчетливо оценен, как и другие персонажи. Отчетлив и национальный фон, обычаи, нравы, привычки, как, впрочем, и в арабских сказках он ощутим, хотя значительно меньше.

Исследователи отмечают кружевное «плетение словес» как национальную особенность арабских сказок. «Тысяча и одна ночь» являет собой яркий пример декоративности, присущей всем видам арабо-мусульманского искусства»¹². Для сказителя и для слушателя этих сказок не всегда важен сюжет, важнее его словесное оформление, «в сознании слушателя слово становится делом. Слушатели как бы переносят себя в сказку, сопереживание становится переживанием»¹³. То есть и современные исследователи подчеркивают великую роль воображения, участия слушателя в создании сказки, которое было подмечено Чернышевским.

Надо сказать, что в жанровом отношении «1001 ночь» не была цельна: сюда вошли и фантастические сказки, и притчи, и плутовские новеллы, и литературные сказки. Можно предположить, что Чернышевскому не были известны сказки «1001 ночи» во всем объеме. Первый русский их перевод непосредственно с арабского был осуществлен уже после революции в 1929 г. Чернышевский читал вероятнее всего французские переводы. А в Европе самыми популярными из «Тысяча одной ночи» стали именно фантастические повествования, а не дидактические повести. Так что и суждения критика могут быть отнесены не ко всем материалам, вошедшим в сборник.

Вопрос, почему Чернышевский именно в 50-е, 60-е гг. проявляет настойчивый интерес к арабским сказкам, основательно освещен литературоведами¹⁴. «Повести в повести» написаны в Петропавловской крепости, когда Чернышевскому особенно важно было завуалировать свои «мысли, используя форму «Тысяча одной ночи». Чернышевский в предисловии к своему произведению настойчиво подчеркивает, что он создал «Сказки в сказке», «произведение чистой поэзии, навеянное на современного вам человека дивною поэзией «Тысяча и одной ночи» (XII, 133). Вместе с тем это произведение обнаруживает поиски Чернышевским новых форм для беллетристики, стремление создать роман без авторских субъективных оценок, с широким кругом действующих лиц, совершенно разных, с привлечением читателя в качестве основного героя, собеседника, судьи. Для подобной цели, по мнению Чернышевского, как нельзя более подходящей была форма сказок Ше-

¹² Шиффар Б. Предисловие. — В кн.: Тысяча и одна ночь. М., 1975, с. 9.

¹³ Там же, с. 10.

¹⁴ См.: Скафтымов А. П. Художественные произведения Чернышевского, написанные в Петропавловской крепости. — В кн.: Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972; Вердеревская Н. А. К вопросу использования средств эзопова языка в романе Н. Г. Чернышевского «Повести в повести». — «Учен. зап. Елабужск. пед. ин-та», 1959, т. 5; Тамарченко Г. Е. Чернышевский-романист. Л., 1976.

херезады — сплав разножанровый, рассказ в рассказах. «В творческой биографии Чернышевского-романиста «Повести в повести» — произведение исключительной важности не как достигнутое художественное завоевание, но как дорога художественных исканий. Это были поиски новой структуры романа, которая максимально отвечала бы природе дарования Чернышевского»¹⁵.

Поиски новых романских форм, стремление скрыть свои серьезные размышления о современной жизни внешне легкими образами чистой поэзии, заставить читателя самого фантазировать и воображать — не здесь ли причины того, что сказки «1001 ночи» интересовали Чернышевского во вполне определенном плане. Они были для него своеобразным учебником чистой беллетристики, привлекли умением легко и изящно вести повествование, соединив в целое произведения разноплановые, наконец, особыми взаимоотношениями с читателем, принуждаемым к сотворчеству.

Можно сказать, что Чернышевский в своих практических поисках нащупал возможности, которые открывал сам жанр сказки, войдя отдельными своими приемами в романную структуру.

Сказка народная и литературная, сказка и повесть, сказка и роман — эти проблемы давно уже стали и предметом размышления не только для писателей, но и литературоведов, особенно в связи с проблемами изучения и обнаружения типологических сходжений в исторически разновременных беллетристических формах. Высказывания Чернышевского о сказке, использование им формы «Тысяча одной ночи» создали предпосылки для того, чтобы повернуть проблему «Чернышевский и народная сказка» в новое русло — русло исторической поэтики. Но это потребует более осторожного применения высказываний Чернышевского о сказках «Тысяча одной ночи» к русской сказке, к которой некоторые из мыслей Чернышевского не могут быть без оговорок адресованы.

¹⁵ Тамарченко Г. Е. Чернышевский-романист. Л., 1976, с. 384.

А. Г. ТАТАРИНЦЕВ,
А. П. МЕДВЕДЕВ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

Деятельность Н. Г. Чернышевского в сознании его современников и последующих поколений читателей, в многочисленных работах о нем прочно и вполне естественно связывается в первую очередь с литературно-общественной жизнью его времени, с творчеством выдающихся писателей, испытавших его влияние, так или иначе оцененных им. Достаточно обстоятельно освещается исследователями его отношение к русскому фольклору, к античной и современной ему западноевропейской литературе. Вопрос о значении русской литературы XVIII века в формировании и системе воззрений Чернышевского до сих пор изучен недостаточно.

В середине 50-х гг. Д. К. Мотольская предприняла попытку рассмотреть некоторые материалы, касающиеся литературы «века просвещения», в связи с проблемой формирования историко-литературных взглядов Н. Г. Чернышевского¹, но никакого продолжения эта работа затем не получила. Потому то и в «Семинарии по Чернышевскому»², итожившему сделанное и определявшему перспективы дальнейших исследований (по крайней мере, для студентов педвузов) не содержится рекомендаций по изучению темы «Чернышевский о литературе XVIII века». Более того, она здесь даже не названа. Позже П. Н. Берков в историографическом труде дал характеристику основных работ и высказываний революционера-демократа о писателях XVIII века³, не стремясь при этом ни к полноте учета и систематизации, ни к их проблемному осмыслению.

¹ Мотольская Д. К. Формирования историко-литературных взглядов Н. Г. Чернышевского. — «Учен. зап. ЛГПИ им. Герцена», т. СХХ. 1955, с. 199—230.

² Николаев М. П. Н. Г. Чернышевский. Семинарий. Л., 1959.

³ Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века. Л., 1964, с. 94—101.

Поставив вопрос: «Сказалось ли влияние Чернышевского на изучении литературы XVIII века?», опережающий необходимость предварительного выяснения характера воздействия этой литературы на самого Чернышевского, автор был вынужден тут же признать, что этот материал совершенно неисследован.

Этот существенный пробел в литературе о Чернышевском следует, по-видимому, объяснить не только неизученностью его библиографического и читательского кругозора, отсутствием развернутых оценок, противоречивостью некоторых из них, но и все еще сказывающейся недооценкой литературы XVIII века при рассмотрении различных проблем последующих периодов ее развития. Между тем сам Чернышевский в 1855 г. с предельной ясностью писал: «...Как скоро известное явление становится достойно внимания истории, логическая необходимость требует, чтоб исследованы были все предыдущие степени его развития, от самых первых его зачатков. Сами по себе периоды эти, быть может, и не заслуживали бы особенного внимания, но значительность последующего развития заставляет исследовать его зародыши... История русской оригинальной литературы до Жуковского и Пушкина должна занимать, вместе с характеристикой переводной литературы, чрезвычайно важное место в истории русского просвещения вообще, в истории общественных нравов и понятий. Нельзя отказать многим писателям XVIII века в почетном месте — в общей анекдотической истории русского общества, потому что в числе их были люди очень замечательные по благородству и энергии характера. Память некоторых наших писателей прошлого века всегда будет нам так же священна, как память других деятелей на пользу просвещения и других благ национальной жизни. Во всяком случае, исследования о старых наших писателях не могут не иметь большой важности, хотя бы даже результаты их были вовсе не те выводы, каких надеются достичь многие изыскатели, хотя бы обстоятельное исследование всех этих 9934 сочинений и изданий, означенных в каталоге Смирдина, и привело нас к тем же мыслям, какие возбуждаются чтением «Мелочей» г. М. Дмитриева»⁴. Теоретик «чистого искусства» А. В. Дружинин, как видно, хорошо понимал, какое серьезное «подкрепление» получала революционно-демократическая критика, обращаясь к литературе XVIII века, и потому утверждал прямо противоположное: «...В настоящее время всякий новый труд по этой части («по части» изучения литературы прошлого века. — А. Т. и А. М.) есть труд праздный и бесплодный»⁵.

⁴ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II. М., 1939—1953, с. 611—612. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

⁵ Собрание сочинений А. В. Дружинина, т. VII. СПб., 1865, с. 202—203.

Среди высказываний Чернышевского по одним и тем же вопросам, но относящихся к разным годам его жизни, есть как бы взаимоисключающие или, по меньшей мере, свидетельствующие, что его позиция не оставалась неизменной, что его мысль находилась в поисках более верных определений, оценок. Но принцип рассмотрения явлений в их генезисе, развитии и взаимосвязи, столь четко выраженный в приведенном отрывке из рецензии 1855 г., имел для Чернышевского незыблемое значение. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» он в сущности имел в виду то же самое, говоря: «...Между Ломоносовым и Лермонтовым найдется связь, если мы будем изучать писателей, бывших их посредниками: нет нигде перерыва или пробела, всякий новый шаг вперед основывается на предыдущем...» (III, 248).

Эти суждения имеют, как это подчеркнуто и самим Чернышевским, прямое отношение к литературе XVIII века и, следовательно, к интересующей нас теме. Однако необходимо оговориться. Круг источников, которые могли бы быть привлечены и изучены в связи с ней (не только сочинения Чернышевского и его современников, а и разного типа издания произведений писателей XVIII века, посвященные им исследования, отклики на них и т. п.) настолько широк, что для ее исчерпывающего освещения потребовался бы значительно больший объем, чем это возможно в юбилейном сборнике. Предлагаемая статья в какой-то мере систематизирует соответствующие высказывания Н. Г. Чернышевского, имея целью показать необходимость дальнейшего изучения фактов, важных и в биографическом, и в историко-литературном плане.

Первоначальное знакомство Чернышевского с творчеством некоторых писателей «века Екатерины» произошло, вероятно, в гимназические годы, когда он пользовался библиотекой своего отца, включавшей в себя, по свидетельству А. Н. Пыпина, и «старину восемнадцатого века»⁶. К сожалению, состав этой библиотеки неизвестен (она сгорела в 1866 г.), а Пыпин из русской «старины» назвал лишь «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина.

Н. М. Чернышевская, положившая начало изучению личной библиотеки Н. Г. Чернышевского-«библиофага», пишет: «В детстве он зачитывается русскими и иностранными писателями в библиотеке своего отца... студентом — жадно поглощает капитальные издания университетской и Публичной библиотек, читает журналы и газеты, покупает книги у букинистов... Свое писательское поприще Н. Г. Чернышевский начинает с библиографии, для чего он должен просматривать множество подчас мало интересных для себя изданий; вместе

⁶ Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. I. Саратов, 1958, с. 59.

с тем, предпринимая такие обширные труды, как «Лессинг», «Очерки гоголевского периода» и др., Чернышевский предварительно знакомится с существующей литературой по интересующему его предмету, тщательно просматривает журналы прежних лет и составляет библиографические выписки...»⁷

Создание полного библиографического перечня литературы, прошедшей через руки Н. Г. Чернышевского в течение всей его жизни, позволило бы определеннее установить место литературы XVIII века в круге его чтения в детские и юношеские годы. В период его ученичества и последующей учительской и литературно-критической деятельности из числа тех самых «9934 сочинений», о которых он упомянул в рецензии на книгу М. А. Дмитриева, выходят в свет произведения А. С. Аблесимова, И. Ф. Богдановича, Е. Р. Дашковой, Г. Р. Державина, Екатерины II, А. Д. Кантемира, В. В. Капниста, Я. Б. Княжнина, Е. И. Кострова, М. В. Ломоносова, М. Н. Муравьева, Н. И. Новикова, А. Н. Радищева (лондонское издание «Путешествия...» 1858 г.), В. К. Тредиаковского, Д. И. Фонвизина, И. И. Хемницера. Одновременно публикуются архивные материалы и мемуары XVIII века, появляется множество обобщающих работ по истории русской словесности (В. Аскоченского, А. Галахова, И. Давыдова, Г. Кенига, А. Милюкова, Д. Мордовцева, А. Никитенко, В. Плаксина, С. Соловьева, А. Старчевского), монографии, посвященные творчеству писателей, и бесчисленные статьи, сообщения, заметки в журналах той поры. Не будет преувеличением сказать, что историки и критики литературы в 30—50-х гг. XIX века заново открывали для себя художественное наследие минувшего столетия, так или иначе соотнося его со своим временем. Особую роль в ее критическом осмыслении сыграл В. Г. Белинский, оказавший огромное влияние на формирование литературно-теоретических воззрений Н. Г. Чернышевского.

Будучи захваченным этим всеобщим интересом и в то же время не всегда удовлетворяясь мнениями авторитетов тогдашней науки, Н. Г. Чернышевский уже в 1848 г. критически высказывается о статье А. Галахова «Сочинения Кантемира». На другой год он сближается с И. И. Введенским⁸ — знатоком и исследователем литературы XVIII века, творчества В. К. Тредиаковского — в частности. В 1850 г. Чернышевский пишет свое сочинение о «Бригадире» Д. И. Фонвизина. Темой работы на магистерских экзаменах в 1854 г. он также

⁷ Чернышевская Н. М. Личная библиотека Чернышевского. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1958, с. 412—413.

⁸ См. об этом работу А. П. Медведева «Н. Г. Чернышевский в кружке И. И. Введенского» (Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1958).

избрал творчество драматургов XVIII века — Сумарокова и Княжнина. В 1855 г. появляется его рецензия на книгу М. А. Дмитриева «Мелочи из запаса моей памяти», на другой год он откликается на работу Н. Н. Булича «Сумароков и современная ему критика», отвечает на «глупую статью» того же А. Галахова, выступившего против добролюбовской оценки екатерининского журнала «Собеседник любителей российского слова». Передав Н. А. Добролюбову критический отдел журнала «Современник» и предоставив ему с середины 1858 г. полную самостоятельность как человеку, образ мыслей которого совпадал с его собственным (I, 728; XIV, 550), Чернышевский разделял, конечно, основные положения статьи «Русская сатира в век Екатерины», опубликованной в 1859 году. К следующему году относятся рецензии Чернышевского на «Записки» Державина и «Архив исторических и фактических сведений, относящихся до России» с опубликованной в нем работой о И. В. Лопухине.

Уже этот беглый и далеко не полный перечень отзывов достаточно красноречиво свидетельствует о единстве слова и дела Чернышевского, не ограничивавшегося общетеоретическими соображениями и призывами изучать «предыдущие степени» литературного развития, а практически содействовавшего этому своими выступлениями по конкретным вопросам. И если в его творческом наследии мы не находим работ о литературе XVIII века, какие написаны Белинским и Добролюбовым, то объясняется это, конечно, не недостаточной осведомленностью и компетентностью, а тем, что Чернышевский во многом принимал оценки своего предшественника и солидаризировался со своим соратником, ведущим критический отдел журнала.

Как и Белинский, который связывал возникновение и развитие «новой» литературы с реформами Петра I, с влиянием Запада (ведя ее отсчет то с Ломоносова, то с Кантемира, порицая того и другого и их последователей за подражание), Чернышевский несколько преувеличивал значение западноевропейской литературы в развитии русской «словесности». Он полагал, что литература XVIII века «ни для кого, кроме немногих, не была целью жизни» (II, 610), говоря, что во времена Екатерины II она была «забавой» и не оказывала серьезного воздействия на общество. В 1856 г. он писал: «...Несмотря на примеры, поданные Фонвизиним и Крыловым, в произведениях почти всех остальных тогдашних писателей было очень мало близкого к русскому обществу; потому и литература вообще возбуждала мало сочувствия в обществе, которое не находило в ней почти ничего такого, что живым образом интересовало бы русского человека» (II, 315). На другой год в статье «Шиллер в переводах русских поэтов» последовало уточнение: «...До Пушкина в истории нашей литерату-

ры переводная часть почти одна имеет право считаться истинною питательницею русской мысли» (IV, 505).

Это мнение (само по себе ошибочное и в какой-то мере противоречащее приведенному выше высказыванию о значении русской оригинальной литературы) не означает, что Чернышевский считал подобное положение и соотношение в литературе XVIII века «своего» и «чужого» естественным и необходимым. Значительно позже, в 1886 г. он писал А. Н. Пыпину: «Я смотрю на дело исключительно с точки зрения существующих интересов русского населения тогдашнего государства. Оно было бедно и невежественно. Ему было нужно облегчение лежавших на нем тяжестей. Петр увеличил их. Русским нужно было просвещение. Но было ли нужно принуждать их учиться у западных народов? Я полагаю, нет, потому что они сами имели, я полагаю, влечение к этому... Меры, принимаемые Петром для так называемого «просвещения» народа, имели характер, отталкивающий русских от просвещения, возбуждали ненависть к просвещению» (XV, 613). Хотя Чернышевский в данном случае оперирует понятием «просвещение» для народа, ясно, что оно распространяется им и на литературу, поскольку и в том, и в другом случаях речь идет об одном и том же — об отношении к западной культуре: в первом он признает «переводную часть» литературы «истинною питательницею русской мысли», во втором порицает Петра I за то, что тот принуждал русских «учиться у западных народов», «питать» свою мысль переводными сочинениями. Перед нами — противоречие, которое, может быть, объясняется противоречивым отношением Чернышевского к Петру I, о чем необходимо сказать особо.

В 1848 г. Чернышевский пометил в своем дневнике: «...Деспотизм и тогда, когда он употребляется для бескорыстных, благих видов, как употребляли его Карл Великий и Петр Великий, есть орудие дурное, прививающее зло к добру, которое производит» (I, 91). С этим ранним высказыванием как раз и перекликается мысль из письма 1886 г. о деспотическом принуждении к «добру». Но «промежуточные» суждения Чернышевского о Петре I имеют совсем иной характер. Так, в 1856 г. он акцентирует внимание на другом: «Для нас идеал патриота — Петр Великий: высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю деятельность этого великого человека». Называя преобразования Петра «благодетельными», Чернышевский утверждает, что «русские, благодаря Петру Великому, стали народом образованным» (III, 136, 311, 314). Два года спустя эта оценка повторяется: «Блистательные подвиги времен Петра Великого и колоссальная личность самого Петра покоряют воображение; неоспоримо громадное и существенное величие совершенного им дела» (V, 70). А через десять

лет в «Заметках о Некрасове» Чернышевский словно бы возвращается к своему мнению 1848 г.: «Я имел о деятельности Петра Великого мнение, существенно различное от мнения того круга замечательных людей, в котором сформировался образ мыслей Некрасова (Белинский, Герцен, их друзья)... Имей я хоть маленькое влияние на его образ мыслей, он не мог бы писать о Петре то, что он писал; имей я сколько-нибудь большое влияние, он писал бы о Петре тоном прямо противоположным тому, каким писал» (I, 746—747)⁹.

Н. Г. Чернышевский, разумеется, должен был считаться с мнением Белинского, Герцена, Некрасова, но только этим вряд ли можно объяснить несовпадение оценок. Были бы не убедительны и ссылки на цензурные условия, учитывая которые, Чернышевский мог бы все-таки обойтись без патетики. Противоречивость его суждений имеет под собой объективную основу. Личность и деятельность Петра I получали и в народе двойственную оценку, а о прогрессивном характере его реформ и «варварских» способах борьбы с «варварством» писали, как известно, классики марксизма-ленинизма.

Принцип рассмотрения явлений в их генезисе, становлении, развитии закономерно подводил Чернышевского ко все более глубокому постижению их диалектической сложности и противоречивости. Именно так воспринималась им и литература XVIII века. Заявив в 1857 г., что только ее «переводная часть» имела ценность для русского человека, Чернышевский в своих собственных работах преимущественное внимание уделял все-таки не переводам, а оригинальным произведениям писателей этого столетия, прежде всего сатирическим, в чем нельзя не видеть проявления высочайшего патриотизма, характерного и для Чернышевского. При этом он то отрицает связь содержания этих произведений с реальной русской действительностью, то делает затем прямо противоположный и верный вывод.

Известно, что расцвету демократической сатирической литературы 60-х гг. XIX века предшествовала и ему сопутство-

⁹ Герой поэмы Некрасова «Несчастные» (1856), прототипом которого, по предположению исследователей, был Белинский, «о родине державной... говорить не уставал»:

...То старину припоминал,—
Кто в древни веки ею правил,
Как люди в ней живали встарь,
Как обучил, вознес, прославил
Ее тот мудрый государь,
Кому в царях никто не равен,
Кто до скончанья мира славен
И свят: Великого Петра
Он звал отцом России новой,
Он видел след руки Петровой
В основе каждого добра*.

* Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. II. М., 1948, с. 32—33.

вала острая полемика по вопросам истории и теории сатиры, пробуждавшая живой интерес к обличительной литературе XVIII столетия. М. А. Антонович даже находил «совершенное сходство» сатирических журналов «века Екатерины» с современными¹⁰. То же самое отмечал и Н. А. Добролюбов: «Многие из намеков, обличений и насмешек новиковской сатиры не показались бы бедны и в современной обличительной литературе»¹¹. К концу 50 — началу 60-х гг. взгляды революционеров-демократов и либералов на характер и цель сатиры определились четко и были неоднократно заявлены печатно, причем почти всякий раз это сопровождалось соответствующими экскурсами в область обличительной литературы предшествующего столетия. Так, А. Н. Афанасьев в книге «Сатирические журналы 1769—1774 годов» утверждал, что сатирик не должен быть «тревожно занят интересом своей эпохи и возмущенным ее недостатками», дабы не потерять «хладнокровное беспристрастие»¹². В это же время журнал «Русская беседа» с огорчением констатировал, что «публика русская, обольщенная успехами нового сатирического направления, перестала почти верить в возможность идеала русской жизни, стала с недоверчивостью смотреть на все попытки к его художественному осуществлению»¹³. Автор статьи «О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе» считает повинной в этом «журнальную критику», имея в виду Чернышевского и Добролюбова, и предлагает оценивать сатиру по тому, как она содействует правительственным учреждениям в приготовлении общества исподволь к новым реформам, как «очищает» общественные нравы от «понятий и предрассудков» старого порядка вещей¹⁴. В 1860 г. выступает Д. Мордовцев со статьей «Обличительная литература в первых русских журналах и стеснение гласности», проникнутой духом разыскания в сатире XVIII века «поощрительных параллелей для современных сатириков и полемически направленной против известной статьи Н. А. Добролюбова «Русская сатира в век Екатерины»¹⁵.

Чернышевский, еще в 1848 г. откликнувшийся на статью А. Галахова «Сочинения Кантемира», через два года избрал из трех «комиков», предложенных профессором А. В. Никитенко (Фонвизин, Шаховский, Грибоедов), драматурга XVIII века, и в кандидатском сочинении о «Бригадире» Фонвизина выступил против дифирамбов по поводу «светлой стороны века

¹⁰ Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. I, с. 335.

¹¹ Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. II. М., 1935.

¹² Афанасьев А. Н. Русские сатирические журналы 1769—1774 годов. Изд. 2-е, Казань, 1871, с. 164.

¹³ «Русская беседа», 1859, № 1, с. 4.

¹⁴ Там же, с. 44.

¹⁵ Покусаев Е. И. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратов, 1958, с. 253.

Екатерины», находя в самом стремлении к ним односторонность взгляда. Он и в других своих работах совершенно недвусмысленно выражал неприятие апологетического характера исследований. Так, рецензируя «Историко-статистический очерк народной образованности в России до конца XVIII века» К. И. Арсеньева, который подчеркивал «сильное развитие учебных заведений в царствование императрицы Екатерины II», Чернышевский на основе тех же материалов делал иные выводы: отношение числа учащихся к «общей массе народонаселения» в 1790 г. было «только как 1 : 1573 — пропорция очень незначительная», образованием «женского пола и поселян было почти совершенно пренебрежено: сельские училища устраивались частным образом, но только в немногих местах» (XVI, 15). Словом, замечает он, автор этого труда не смог правильно использовать собранные им факты, видимо, находясь под влиянием легенды о «золотом веке» екатерининского правления.

В 1854 г., ознакомившись со статьей М. Сенюткина «Военные действия донцов против крымского хана Девлет Гирея и самозванца Пугачева», Чернышевский не нашел никаких оснований восхищаться верностью старшин Войска Донского Екатерине II, их «предусмотрительностью и благоразумием», поскольку все предпринятые ими против Пугачева меры «оказались недостаточными» (XVI, 61—62). Открыто сказать в этой рецензии о своей готовности принять участие в подобном «бунте» Чернышевский, конечно, не мог, но мы знаем о его признании Ольге Сократовне: «...Если он будет, я буду непременно участвовать в нем... Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня» (I, 418, 419). Не приходится сомневаться в солидарности Чернышевского с пугачевцами, выступившими против ненавистной им самодержицы. В 1856 г. он называет «выходку» А. Галахова против статьи Н. А. Добролюбова о «Собеседнике любителей российского слова» «глупой» именно потому, что тот «превозносит Екатерину» (XIV, 327). Таким образом, если в отношении Петра I мысль Чернышевского искала объективного объяснения его «варварства», то эта правительница никакой «амнистии» не получила.

Все это объясняет, почему Чернышевский в сочинении о комедии Фонвизина отказывается «распространяться» о том, что в суждениях С. Дудышкина о Екатерине II «справедливо, что односторонне», поясняя, что пьеса интересует его с «чисто литературной стороны». Его оценка этого произведения привлекала внимание исследователей чаще, чем какое-либо другое суждение о литературе XVIII века. Почему — понятно. С именем Фонвизина в представлениях его современников и в нашем сознании связывается высший уровень развития драматургии его времени, вышедшей на путь реалистического изо-

бражения человека и действительности, формировавшей его характер. Чернышевский же словно бы задался целью опровергнуть общее мнение, ниспровергнуть «кумира». Правда, «Бригадир» — действительно слабая комедия, но ведь в центре внимания Чернышевского — образ бригадирши, по праву считающийся самым удачным, полнокровным, жизненно правдивым!

Отрицая оригинальность комедии в целом, считая ее подражанием Мольеру, Чернышевский решительно осуждает Фонвизина за «утрировку» образов бригадира и, в особенности, бригадирши, с пафосом вступает за нее с некоей общечеловеческой точки зрения: «Нет, господин «великий» писатель, вы же «умный» человек, не следует вам смотреть на этих людей с гениально-возвышенной точки остроумия, на которую вы пытаетесь взгромоздиться, не следует считать их за паяцов, которые созданы на свет для потехи умных людей, то есть нас с вами: и они люди, как мы с вами, и они живут, радуются и скорбят, как мы с вами, и у них есть ум и душа, как у нас с вами, и много, много, может быть больше, нежели в нас с вами, есть в них такого, что заслуживает уважения и полного сочувствия» (II, 800). Чернышевский пишет о слабости сатиры Фонвизина, заключающейся в том, что изображение действующих лиц в комедии «отвлеченное, без живого применения к лицам, перед которыми они были выведены» (II, 793), ссылаясь при этом на книгу П. Вяземского о драматургии XVIII века.

А. П. Скафтымов объяснял эту оценку тем, что Чернышевский стремился «к устранению всех абстрактно взятых правил и требований, предъявляемых к художественному произведению. Единственным критерием к оценке художественного произведения Чернышевский считает верность действительности»¹⁶. С этим нельзя не согласиться, но, в то же время, можно сказать, что «устранение всех абстрактно взятых правил и требований» в отношении литературы XVIII века означало то, что мы называем сегодня отходом от принципа конкретного историзма. На это обращает внимание и П. Н. Берков. Однако он считает, что в отрицательной оценке Чернышевского сказались влияние на него работ С. Дудышкина и П. Вяземского, а также недостаточное знакомство с историко-литературными взглядами Белинского. Вряд ли это справедливо. Исследователь и сам тут же признает, что «общую точку зрения на литературу XVIII века» Чернышевский сохранил и тогда, когда Белинский стал для него «подлинным светочем и путеводителем»¹⁷. Если же вспомнить неоднократ-

¹⁶ Скафтымов А. Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1947, с. 14—15.

¹⁷ Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века, с. 96.

ные высказывания Белинского (как в ранних, так и в поздних работах о том, что комедии Фонвизина — это «не художественные создания в полном смысле этого слова», а «пресмешные карикатуры на глупость и невежество», созданные и «направленные с высоты престола», то придется говорить не о недостаточном знакомстве Чернышевского с историко-литературными взглядами своего предшественника и учителя, а о своеобразном предвосхищении им этих суждений (если он действительно к 1850 г. еще не был с ними знаком). Совершенно в духе Белинского Чернышевский пишет, например, что «Фонвизин всем жертвовал желанию смешить, не только правдоподобием... но очень часто и здравым смыслом» (II, 802).

Позже эта односторонность оценки уступает место более зрелому и объективному мнению. В «Очерках гоголевского периода...» Чернышевский называет комедии Фонвизина «превосходными» (III, 14), а в статье «Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения» из всех писателей XVIII века он особо выделяет Фонвизина и Крылова, чье творчество «живым образом интересовало... русского человека» (III, 315). Так снимается раннее утверждение об «отвлеченном, без живого применения к лицам» изображении действительности в комедиях «властелина» русской сатиры. Чернышевский уже исключает Фонвизина из числа неоригинальных драматургов XVIII века.

Видимо, под влиянием работ Белинского, в особенности его статьи о Кантемире, Чернышевский резко отзывался об упомянутой выше статье А. Галахова, «посредственной и без мысли» (I, 173). В 1856 г., все еще ошибочно считая, что в свое время первый русский сатирик не имел влияния, он тут же замечал: «...У нас Кантемира оценили только уже много лет спустя после его смерти» (IV, 49), имея в виду, вероятно, все ту же статью Белинского. Чрезвычайно высоко оценивал Чернышевский деятельность Н. И. Новикова, человека «великого ума и благородства» (VII, 29), внесшего громадный вклад в развитие книгопечатания и «распространения круга читателей в России» (III, 314).

Другими суждениями Чернышевского о русских сатириках XVIII века мы не располагаем, но его высказывания об общих закономерностях литературного развития и характере сатиры проясняют его отношение к литературе XVIII века в целом. В 1855 г. он написал: «Нельзя сказать... чтобы Гоголь не имел предшественников в том направлении содержания, которое называют сатирическим. Оно всегда составляло самую живую, или лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы... Не будем говорить о Кантемире, Сумарокове, Фонвизине и Крылове, но должны упомянуть о Грибоедове» (III, 17). Данное здесь перечисление сатириков XVIII века необходимо Чернышевскому для подтверждения

того, что сатирическое направление «всегда» пронизывало русскую литературу. Однако с уточнением «...или лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы» как будто вступало в противоречие утверждение Чернышевского 1857 г. о том, что «переводная часть почти одна имеет право считаться истинною питательницею русской жизни» (IV, 505). Но проследим дальнейший ход его мыслей.

Связывая сатирическое направление с критическим и определяя первое как крайность второго, «не заботящегося об объективности картин и допускающего утрировку», Чернышевский в 1855 г. существенно прояснял свое понимание «утрировки», за которую порицал Фонвизина в 1850 г., говорил о зависимости способа изображения действительности от позиции, мировоззрения и цели творчества писателя. Именно в этом смысле следует понимать его слова: «Кто гладит по шерсти всех и все, тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан» (III, 22). Еще более Чернышевский конкретизировал свою мысль в 1857 г., когда в связи с «Губернскими очерками» Салтыкова-Щедрина писал, что очень важно знать, «на основании каких убеждений» дается сатирическое обличие, «от каких причин» оно производится, «какими средствами» считает сатирик «возможным истребить злоупотребление, и чем предлагает заменить он то, что хочет искоренить» (IV, 628). Таким образом, отмеченное нами противоречие с точки зрения логики формальной остается неразрешенным, но по существу оно снято и признанием оригинальности Фонвизина и допущением «утрировки» (которая уже не связывается с французской «школой Мольера!»), и положением о зависимости «средств» от мировоззрения, идеалов, целей обличения, причем снято не в пользу «переводной части». «Чисто литературный» подход 1848 г. уступает место идейно-эстетическому анализу.

Весьма примечательны и соображения Чернышевского о двух типах сатиры («на общий порок» и «на лицо»), относящиеся к тому же 1857 году. Он заявляет, что «совершенно неуместно» порицать полемику, «относящуюся к лицам», на том основании, что она будто бы отвлекает внимание публики от вопросов «гораздо важнейших», от вопросов об идеях. Споры о «лицах», продолжал Чернышевский, «возникают необходимо из споров за идеи, имеющие целью окончательно разъяснить и утвердить результаты, доставленные предшествующим спором об идеях» (II, 777). Это рассуждение о связи содержания и форм сатиры ориентировано на современную литературу, но, очевидно, оно подсказано Чернышевскому той полемикой, которую в свое время вел Н. И. Новиков с Екатериной II по вопросам сатиры.

Особый интерес представляет отношение Чернышевского к А. Н. Радищеву и его «Путешествию из Петербурга в Москву» не только потому, что их очень многое сближает (и это не раз отмечалось в соответствующей литературе), а из-за отсутствия каких-либо высказываний Белинского о Радищеве, которые могли бы формировать соответствующий взгляд его ученика, говорить о «вторичности» его мнений.

Нам неизвестно, с какими именно произведениями А. Н. Радищева, кроме «Путешествия...», и с какого времени был знаком Чернышевский. Не исключено, что под впечатлением радищевской книги, его оды «Вольность» в особенности, появилось известное признание Чернышевского 1850 г.: «Вот мой образ мыслей о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее...» (I, 356—357). Во всяком случае, примерно в это время должна была совершиться, по мысли Радищева, революция, которой и он жаждал, заглядывая «сквозь целое столетие». Может быть, Чернышевский читал краткий биографический очерк о Радищеве в «Справочно-библиографическом словаре» А. Старчевского, вышедшем в 1855 году. Год спустя Н. А. Добролюбов упомянул книгу Радищева в статье о «Собеседнике...», а М. Н. Лонгинов в августовской книжке «Современника» опубликовал свою статью «Алексей Михайлович Кутузов и Александр Николаевич Радищев». Не приходится сомневаться в том, что Чернышевскому была известна впервые напечатанная в 1857 г. статья А. С. Пушкина «Александр Радищев». А на другой год в февральской книжке «Современника» он помещает собственную статью «О новых условиях сельского быта», в которой, характеризуя крепостное право как «величайшую несправедливость», писал: «...Сословие, составляющее почти половину населения в Европейской России стояло (по выражению, не нам принадлежащему) вне закона» (V, 66). Возможно, что «выражение» восходит к радищевской формуле «крестьянин в законе мертв...» Готовя статью, Чернышевский знал и разделял, конечно, содержание критического разбора статьи А. С. Пушкина, в котором Добролюбов отмечал: «В этой статье мы видим взгляд весьма поверхностный и пристрастный, Пушкин увлекся здесь мыслью единственно о прямодушии, необходимом в авторском деле, и понял все дело односторонне...» Далее, имея в виду утверждение Пушкина, будто Радищев сам не знал, чего хотел, Добролюбов в высшей степени убедительно опровергает это, отмечает множество противоречий в рассуждениях великого поэта и доказывает, что автор «Путешествия...» имел благородную цель¹⁸.

¹⁸ Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I, с. 318 и след. Разбор Добролюбова был опубликован в первой книжке «Современника» за 1858 г., статья Чернышевского — во второй.

Статья А. С. Пушкина, как известно, нашла своих почитателей (не имевших никакого «фонда»), пытавшихся представить Радищева «бездарным публицистом», не оставившим никакого следа в литературе (подробнее об этом — ниже). Выступления революционеров-демократов были направлены против тенденции (отмеченной Добролюбовым и у Пушкина в оценке Радищева) «подводить себя под известные, заранее принятые определения»¹⁹.

В 1859 г. в статье «Русская сатира в век Екатерины» Добролюбов пишет о «Путешествии...» как о «едва ли не единственном исключении в ряду литературных явлений того времени», «серьезно опасном для существующего порядка». Словно предваряя последующее высказывание Чернышевского, он замечает, что за автором этой книги «последовали бы до конечных его результатов разве весьма немногие»²⁰. А на другой год появляется рецензия Чернышевского на «Заметки Льва Николаевича Энгельгардта», в которой он точно так же выделяет из числа современников Радищева: «Новиков, Радищев, еще, быть может, несколько человек одни только имели тогда то, что называется ныне убеждением или образом мыслей» (VII, 494). Следующее упоминание Чернышевского о Радищеве относится к 1861 г., когда он в статье «Полемиические красоты» рассказывает об одном эпизоде из истории очерка П. А. Радищева о писателе-революционере. Сын А. Н. Радищева, адресуясь к И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову, писал 18 декабря 1858 г.: «Прочитавши статью журнала Вашего 1856 г. «Алексей Михайлович Кутузов и Александр Николаевич Радищев», попавшую мне нечаянно, я написал на нее примечания, которые к Вам препровождаю, прося Вас напечатать (их) в Вашем журнале... Если мои примечания удостоите напечатать, я Вам буду предлагать поместить в «Современнике» и полную биографию Радищева, мною составленную... К биографии я присоединил примечания на статью Пушкина «Александр Радищев»...»²¹

Это обращение П. А. Радищева в редакцию «Современника» говорит о том, что у него сложилось твердое убеждение об уважительном отношении революционных демократов к имени автора «Путешествия...». Не последнюю роль в этом сыграл уже упомянутый отзыв Добролюбова о статье Пушкина. Письмо П. А. Радищева было получено редакцией, вероятно, в начале января 1859 г., и тогда же ему был дан ответ с предложением выслать биографию А. Н. Радищева. Но ко времени ее получения «Русский вестник» уже опубликовал вариант очерка, мало чем отличавшийся от присланного

¹⁹ Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I, с. 320.

²⁰ Там же, т. II, с. 149.

²¹ «Лит. наследство», т. 51—52, с. 477.

в «Современник». Чернышевский пишет: «Случилось так, что заняться сличением некому было, кроме меня. Я взял книжку «Русского вестника» и сличил с нею рукопись. Оказалось, что прибавления неважны и печатать их не стоит» (VII, 719—720). Это решение, как и немногочисленность высказываний о Радищеве, объясняется не только тем, что отношение к нему было выражено очень обстоятельно и для той поры смело Добролюбовым, но и, главным образом, самой за себя говорившей общественно-политической позицией и программой журнала, революционной деятельностью Чернышевского, словно бы продолжавшего дело Радищева. Начиная с Г. В. Плеханова, историки литературы не раз отмечали переключки между ними по многим вопросам. Сделанные наблюдения и выводы могли бы быть существенно расширены и обогащены, но это потребовало бы специального исследования. Цель и характер данной статьи позволяют ограничиться сказанным.

Достаточно сложны причины отрицательного в целом отношения Чернышевского к Державину. До сих пор оно лишь констатировалось в очень немногих работах общего характера. Между тем выяснение этих причин имеет немаловажное значение для понимания позиции и системы историко-литературных взглядов Чернышевского.

Впервые имя Державина упомянуто в дневниковой записи 1848 г., когда Чернышевский, как видно, еще не был хорошо знаком с творчеством прославленного поэта XVIII века. В связи с размышлениями о национальном и общечеловеческом в поэзии он писал: «У меня утвердилось мнение, заимствованное из «Отечественных записок» (я вычитал его в статьях о Державине), что только жизнь народа, степень его развития определяет значение поэта для человечества, и если народ еще не достиг мирового, общечеловеческого значения, не будет в нем и писателей, которые должны быть общечеловеческими, имели бы общечеловеческое достоинство» (I, 127). Чернышевский, как видно, разделял ту оценку, которая была дана Державину в двух статьях Белинского. В них доказывалось, что даже его лучшие произведения («Фелица», «Водопад», «Бог» и некоторые другие) не выдерживают «самой снисходительной эстетической критики», что стихи «Багрима» риторичны, «непомерно длинны, непомерно прозаичны и... непомерно скучны», «беспорядочны, не отвечают требованию «гармонической ответственности идеи с формой» и, что, следовательно, Державин «не был поэтом-художником». Чернышевский не отрицает заслуг Державина в «распространении круга читателей в России» (III, 48, 314), в борьбе против взяточничества и «тому подобных пороков» (IV, 628). Более того, в 1850 г., прочтя стихотворение Державина «Памятник» и сравнив его с пушкинским, он заключает: «Мне кажется, Державин лучше» (I, 363). Но это не меняло общего мнения Чернышевского. Осо-

бенно отчетливо оно выражено в рецензии 1860 г. «Прадедовские нравы», написанной в связи с опубликованием «Записок» Державина. Перефразировав здесь мысль Белинского о том, что «время и обстоятельства положили непреодолимые преграды» развитию «натуры Державина» — «по преимуществу поэтической и художественной», Чернышевский далее с нескрываемой иронией пишет о притязаниях поэта на роль вершителя государственных дел и отказывает ему в художественном таланте. Его оценка еще более резка, чем «эстетическая критика» Белинского, и, конечно, она не исторична. Чернышевский, говоря его же словами, в данном случае «перегибает палку», что связано, как мы полагаем, с обстоятельствами внутрилитературной борьбы того времени.

Известно, что еще современники считали Державина автором саркастической эпиграммы на Радищева («Езда твоя в Москву со истинною сходна...») и были убеждены, что именно он «поднес» императрице экземпляр «Путешествия...», отметив в нем «все важные места... карандашом»²². До сих пор документально это не подтверждено. Некоторые исследователи, будучи, видимо, убеждены, что бывает дым и без огня, пытались даже доказать, будто Державин не только не способен был на такой поступок, но и выступал в защиту Радищева. Вопрос об их взаимоотношениях требует особого разговора. В данном случае важно учесть некоторые факты, связанные с этим вопросом, но до сих пор не привлекавшие внимания.

Державин и Радищев в интересующий нас период литературно-общественной деятельности Чернышевского воспринимались как антиподы в идейном и эстетическом отношении, причем это противопоставление, имевшее в своих истоках конкретно-исторические обстоятельства второй половины XVIII века, спустя семьдесят лет, в острой борьбе революционеров-демократов с их политическими и литературными противниками приобрело самое злободневное значение. Речь шла о понимании общих тенденций, закономерностей литературного развития, его перспективах и об отношении к наследию прошлого. Чернышевскому и Добролюбову противостояли А. Григорьев, Н. Страхов, Ф. Достоевский примерно так же, как в свое время Державин — Радищеву. А. П. Григорьев, например, писал: «...В лице Щербатова и Радищева как бы заранее обозначились два будущих лагеря мысли... У одного идеал лежит в прошедшем, у другого — положительно разрознен со всякой действительностью, чем и объясняется малое сочувствие к нему Державина, в его эпоху, и Пушкина в

²² Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.—Л., 1959, с. 70.

другую»²³. Здесь подразумевается, конечно, статья А. С. Пушкина «Александр Радищев». 19 октября 1861 г. Григорьев обращался к Н. Н. Страхову: «...Ведь в нем (Радищеве. — А. Т. и А. М.) столь же мало было фонда, как в этих господах», то есть Чернышевском, Добролюбове и их единомышленниках. А 12 декабря того же года, в связи с появлением статьи Чернышевского о Державине, он писал своему корреспонденту, что не находит в ней ничего, «кроме опиума чернил, разведенных слюною бешеной собаки». И с раздражением добавлял: «...Но эта вечная история о Радищеве — эта единственная мерка, прилагаемая к деятелям былого времени... мне противна»²⁴.

В свою очередь, Н. Н. Страхов, солидаризуясь с Ап. Григорьевым, стремился сделать еще более широкие обобщения: «Чаадаев был то же в отношении к Пушкину, что Радищев в отношении к Державину. Как Радищев отнесся с величайшим отрицанием и унынием к действительности, вызывавшей столь громкий восторг Державина, так и Чаадаев отнесся с сомнением и неверием к той духовной жизни, которая уже породила поэзию Пушкина. Эти люди, как легко убедиться, не были великими русскими писателями <...>, об них нельзя с несомненностью сказать, что они были вполне русские люди, какими были Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин. Но это нимало не мешает признавать за ними общечеловеческие достоинства <...> Радищев, впрочем, был явление слишком слабое и не глубокое; он не был зрелым плодом своего времени и исчез без влияния и последствий»²⁵. Приговор, как видим, вполне безапелляционный.

Упоминания о Радищеве есть и в романах Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Бесы». В первом из них Разумихин говорит Раскольникову, пришедшему к нему взять что-нибудь для перевода: «...Вот тут два с лишком листа немецкого текста, — по-моему, глупейшего шарлатанства... Кончим это, начнем о китах переводить, потом из второй части. «Confessions» какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили, переводить будем; Херувимову кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде Радищев. Я, разумеется, не противоречу, черт с ним!»²⁶ Характерно, что в черновых автографах писателя этого упоминания о Руссо и Радищеве не было. Вероятно, в окончательную редакцию оно вошло после знакомства Достоевского с материалами следственного дела А. Н. Радищева, впервые опубликованными в 1865 году²⁷.

²³ Собрание сочинений Ап. Григорьева. Вып. 3. М., 1915, с. 13—14.

²⁴ Григорьев А. А. Материалы для биографии. Пг., 1917, с. 283, 285, 286.

²⁵ Страхов Н. Бедность нашей литературы. СПб., 1868, с. 42.

²⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти тт., т. 6. Л., 1973, с. 88.

²⁷ Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1865, кн. III, отд. V, с. 67—108.

Во втором романе («Бесы») о «нигилисте» Верховенском, выведенном в комическом свете, говорится, что его сравнивали «почему-то с Радищевым»²⁸. Позиция самого Достоевского и здесь не совсем ясна, но нельзя не обратить внимания на однотипность контекста упоминаний о Радищеве. В том и другом случае ощущается несогласие героев или автора-повествователя с высказываемыми кем-то мнениями, «...Я, разумеется, *не противоречу, черт с ним!*», «... сравнивали его *почему-то с Радищевым*»). Достоевский, вероятно, считал, что Радищева не понимают Верховенские и ему подобные из лагеря «нигилистов», неправомерно видя в нем своего идейного предшественника. Поэтому он настойчиво противопоставляет Радищева то французскому «вольнодумцу», то русским «нигилистам», стремясь тем самым доказать беспочвенность идей революции и социализма в России. Во всяком случае, для Достоевского, как и для А. Григорьева, Н. Стрехова, были неприемлемы ни оценки Радищева, принадлежавшие Чернышевскому и Добролюбову, ни их отношение к статье А. С. Пушкина «Александр Радищев». Революционно-демократическая «мерка», прилагаемая к деятелям былого времени, к Радищеву в особенности, была, однако, более объективной, чем критерий «почвенников», славянофилов, теоретиков «чистого искусства» и противников «натуральной школы», сатирического направления в русской литературе. Она была воспринята М. Антоновичем, который в предисловии ко второму изданию 8-го тома «Истории восемнадцатого столетия и девятнадцатого» Ф. К. Шлоссера тоже противопоставляет Державина Радищеву и реализует мысль Чернышевского «по применению к нашим делам» сочинений последнего: «Путешествие» Радищева есть замечательное произведение даже для нашего времени... Его понятия... были диаметрально противоположны тем узким мечтаниям о славе и счастье государства, которые господствовали в его время и которые к несчастью имеют силу до настоящего времени и состоят, с одной стороны, в желании и прославлении тишины и спокойствия, а с другой стороны, в грубом шовинизме, желающем войн, ссор, завоеваний и стремящемся к тому, чтобы отечественное оружие гремело во всем мире и заставляло трепетать всех соседей — ближних и дальних. «Ступит на горы, горы трещат; поля и грады стали гробы; шагнул и царство покорил и проч.» Радищев прекрасно и убедительно показал нелепость всех этих идеалов, противопоставляя им идеал свободы... Слова его дышат правдой, силой и возбудительностью и далеко превосходят в этом отношении вялость и холодность некоторых современных требователей свободы печати... Самый вопрос о сво-

²⁸ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти тт., т. 10, с. 20.

бодe слова поставлен у Радищева шире и глубже, чем он становился в наше время...»²⁹

В работах Н. Г. Чернышевского встречаются упоминания, оценки и других писателей XVIII века (Ломоносова, Капниста, Карамзина...), но уже и использованные в настоящей статье убеждают в том, какое значительное место в его историко-литературных воззрениях занимала литература минувшего столетия. Не все в его суждениях ныне может быть принято, но необязательно с этой целью должны изучаться те или иные проблемы. Нередко важнее бывает другое — увидеть всю сложность атмосферы эпохи, обстоятельств, в которых протекала деятельность выдающихся борцов против физического и духовного рабства. Полемические издержки Чернышевского в оценке творчества некоторых писателей XVIII века в значительной степени были обусловлены как раз этими сложными обстоятельствами борьбы, которую ему приходилось вести не на одном «фронте». В этой борьбе за сатирическое, за радищевское направление некоторые утраты и ошибки имели, как показало дальнейшее развитие событий в литературном мире, несравнимо меньшее значение, чем достижения и победы, одержанные благодаря последовательно выдерживаемым революционно-демократическим принципам анализа творческого наследия «старых наших писателей».

²⁹ Шлоссер Ф. К. История со семнадцатого столетия и девятнадцатого, т. 8. Изд. 2-е. СПб., 1871, с. 29, 34—35.

ПУШКИН В ОЦЕНКЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

(Проблема историзма в литературно-критической концепции Чернышевского середины 50-х годов)

Статьи Чернышевского о Пушкине¹ были предметом внимания едва ли не всех исследователей, писавших о его литературно-критических работах и эстетической теории. Достаточно подробно изучена полемика о «гоголевском» и «пушкинском» направлениях, нашедшая выражение в этих статьях и выступлениях А. В. Дружинина и Ап. А. Григорьева². Привлекались к ее освещению и статьи П. В. Анненкова так же, как и суждения его о поэте в «Материалах для биографии А. С. Пушкина»³. Давно и справедливо отмечена и признаваемая самим Чернышевским близость его к идеям Белинского. Справедливо говорилось и об ошибках, полемических крайностях отдельных суждений Чернышевского о Пушкине.

Вместе с тем остается не в полной мере проясненным процесс формирования исторического воззрения Чернышевского на поэзию Пушкина, а также и его взгляда на русскую литературу и критику. «Они основаны на принципе историзма»⁴, — говорится об оценках Чернышевским поэзии Пушкина. Этот верный тезис нуждается в более пристальном рассмотрении. Отношение Чернышевского к статьям Белинского о Пушкине берется исследователями в самом общем виде,

¹ Четыре статьи Чернышевского о Пушкине, поводом для которых явилось анненковское издание сочинений А. С. Пушкина, были помещены в февральском, мартовском, июльском и августовском номерах «Современника» за 1855 г.

² См.: Зельдович Г. М. Статьи Н. Г. Чернышевского о Пушкине в общественно-литературной борьбе 50-х годов. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 4. Изд-во Саратов. ун-та, 1965.

³ Этому вопросу посвящена статья Д. К. Мотольской «Работа Н. Г. Чернышевского над анненковскими «Материалами для биографии А. С. Пушкина». — См.: «Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 245, 1963.

⁴ Покусаев Е. И. Н. Г. Чернышевский. Очерк жизни и творчества. М., 1976, с. 105.

суммарно, но в чтении этих статей у Чернышевского имелась своя целенаправленная избирательность. Обычно отмечают полемические акценты, адресованные Чернышевским Дружинину и Григорьеву, и это верно. Но полемика с ними была для Чернышевского выходом во вне, она не оказала прямого воздействия на формирование его взглядов. Постоянными же собеседниками его были Белинский и Анненков. На их материале он основывался, с ними он и соглашался, и спорил. Обращение Чернышевского к двум этим предшественникам яснее всего показывает, как складывался самый способ его суждений о Пушкине.

Тема и предмет статей Чернышевского

Чернышевский не ставил своей целью непосредственное рассмотрение произведений Пушкина, напоминая, что основательный разбор их уже сделан и что после Белинского о Пушкине «нового сказать еще нечего»⁵. Предмет изучения Чернышевского — история критического осмысления пушкинского наследия. Он подводит итоги, его интересуют результаты работы предшественников.

К собственным суждениям о поэте у Чернышевского отношение особое. Он высказывает их по поводу каждого значительного произведения Пушкина, защищая свои мнения со всею страстью полемиста. Но при этом он ясно сознает «вторичность» этих оценок и как бы из нее исходит. Даже настаивает на ней. Собственные заключения для него — не впервые произносимый приговор, а всего лишь напоминание об истинах очевидных и несомненных, установленных до него и теперь проверяемых и подтверждаемых трудом П. В. Анненкова. Это «всего лишь» ни в малой мере не снижает в глазах Чернышевского ценности подобной проверки и подтверждения прежде добытых выводов и не отменяет необходимости проводимой им работы. Писавшие о Чернышевском иногда склонны были видеть в таком его определении собственных задач выражение скромности автора, приступившего к делу, связанному с именем Белинского. Но здесь выражалась и очень важная для Чернышевского принципиальная установка. Очевидные истины, — считает он, — еще нуждаются в разъяснении и должны стать достоянием общественного сознания. Публицистичность устремлена у Чернышевского на защиту исследовательского подхода к уже накопленным о Пушкине знаниям: нужен исчерпывающий деловой отчет обо всем, что писали о поэте. От автора статей о Пушкине ожида-

⁵ Чернышевский Г. Н. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II. М., 1939 — 1950, с. 516.

ют откровений, но о Пушкине уже сказано очень много верного. От критика ждут разгадку тайн великой личности, но для того, чтобы сказать о гении нечто новое, нужна и новая историческая перспектива.

Увлекавшая Чернышевского в середине 50-х годов идея объективности знания, положенная в самое основание его представлений о критике, защищается в статьях о Пушкине с присущей Чернышевскому последовательностью.

В настоящем совершается то, к чему подошла сама история, — современное значение творчества Пушкина в главных своих звеньях не могло не определиться в опыте предшествующих обращений к нему. Именно здесь и содержатся те крупницы объективной истины, к которым следует в первую очередь обратиться. Принципиальный отказ от попытки сказать что-либо новое о Пушкине в данное время, в сущности своей, был отказом Чернышевского от субъективистских построений, произвольных оценок и умозрительных концепций.

Идейные противники упрекали Чернышевского в излишне подробном изложении страниц П. В. Анненкова, даже в зависимости от него... Не меньшую «зависимость» можно было бы найти и в сопоставлении его работы со статьями Белинского. Как оригинальную точку зрения Григорьев противопоставлял Чернышевскому статьи А. В. Дружинина. Дружинин и Григорьев претендовали именно на новое слово о Пушкине, считая, что Пушкин — поэт, при жизни не понятый и доселе неизвестный в истинном его значении. И дело не в том, насколько обоснованными были их претензии на оригинальность — многое, например, в статьях Дружинина, представлялось интересным и верным Тургеневу и Некрасову. Уступали эти статьи Чернышевскому в другом — не в отдельных суждениях и оценках, но в общем взгляде на Пушкина и его роль в русской литературе. История не стала у Дружинина и Григорьева тем конструирующим началом, каким вошла она в рассуждения Чернышевского. У его оппонентов история осталась лишь суммой примеров. Чернышевскому она давала не только материал, но и метод для суждения о настоящем. Оригинальность его мысли состояла прежде всего в самой постановке задачи извлечения позитивного опыта из критической работы времени.

В постоянно подчеркиваемой Чернышевским зависимости современной оценки пушкинского наследия от приготовленных прошлым итогов он явился непосредственным продолжателем высказанной Белинским в начале его статей о Пушкине мысли, что всякое сколько-нибудь глубокое суждение о поэте возникает не по воле счастливого случая и зависит не только от проницательности критика, но подготавливается еще и временем, ведущим свой собственный суд над созданиями искусства, — «чем жизненнее явление, тем более зависит его созна-

ние от движения и развития самой жизни»⁶. Никто более автора знаменитых статей о Пушкине не чувствовал так остро относительности собственного постижения творений гениального поэта, и вне этой осознанной относительности невозможно было укрепление исторической точки зрения на Пушкина.

В изложении биографии и творческого пути поэта Чернышевский как бы «самоустранялся», предоставляя читателю возможность непосредственного общения с логикой истории литературы, с самобытностью творческой индивидуальности Пушкина, в известном смысле, даже с поворотами его человеческой судьбы, предопределяемыми характером поэта. Между тем, в этом самоустранении более всего и выражалось исследовательское «я» критика «Современника». Он решительно избегал всякой априорности, беря на себя лишь задачу извлечения выводов, очевидно следующих из комментируемых им фактов.

В процессе работы над анненковским изданием Пушкина предмет внимания Чернышевского уточнялся. Исследователи отмечали некоторую неоднородность четырех частей его работы, справедливо считая, что план всего труда не сразу определился. Две первые статьи представляют собой непосредственный отклик на анненковский труд, тогда как отделенные от них несколькими месяцами третья и четвертая статьи написаны на ином материале и заключают в себе очерк посвященной Пушкину критики — от прижизненных отзывов до статей Белинского включительно. Правомерность различения этих двух частей цикла⁷ подтверждается и еще несколькими обстоятельствами. На полях рукописи, у последнего абзаца второй статьи, где автором дан общий вывод о роли выдающегося человека в истории, рукою Чернышевского сделана карандашная помета: «дописано 18 февраля 1855 года под влиянием известного события, написаны последние строки (6 апреля 1856)»⁸. Строки эти уже комментировались: 18 февраля 1855 года — день смерти Николая I. Чернышевский, видимо, придавал заключению второй статьи особое значение, и когда, в самый разгар Крымской войны, известие о смерти царя еще более обострило критическое отношение к мнимовеликим явлениям и лицам, Чернышевский повествование о своем герое, Пушкине, решил закончить общим размышлением о роли истинно великой личности и праве ее на бессмертие. Последний абзац начат словами: «Вообще, влияние человека...» В рукописи слово «человек» в применении к Пушкину написано с большой буквы. Чернышевский искал

⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 101.

⁷ Зельдович Г. М. Указ. соч., с. 6—7. То же: Мотольская Д. К. Указ. соч., с. 281.

⁸ ЦГАЛИ, инв. № 1600, ф. № 1, оп. 1, ед. хр. № 20, л. 21.

для Пушкина самых значительных определений. Примечательно, что последняя строка второй статьи: «Да здравствуют Музы, да здравствует Разум!» — взятая как выражение общей идеи поэзии Пушкина, в том же 1855 году приводилась Герценом в качестве эпиграфа к «Объявлению о «Полярной Звезде». Обращает на себя внимание и последняя дата: «6 апреля 1856». В апреле 1856 года Чернышевский работал над пушкинским материалом «Очерков гоголевского периода русской литературы», и есть основание полагать, что дата относится ко времени вторичного просмотра им рукописи первого сочинения о Пушкине. Взгляд Чернышевского остановился на заключении второй статьи, видимо, не только при воспоминании о событии, занимавшем его внимание, когда статья заканчивалась, но еще и потому, что здесь в рассуждениях о Пушкине заключался своеобразный кульминационный момент, высшая точка в признании заслуг поэта, выраженная призывно-повелительной строкой «Вакхической песни». Конец четвертой статьи, где был дан обзор критики, в известной мере носил характер реферативного итога и являлся как бы дополнительным подтверждением того, что в наиболее эмоциональной форме было выражено уже в конце второй части работы.

На самостоятельную завершенность двух первых статей указывает и то обстоятельство, что после их написания Чернышевский принялся за другие работы: подготовку к опубликованию эстетического трактата и двух статей о сборнике «ПроPILEи». «Мы не будем говорить о значении Пушкина в истории нашего общественного развития и нашей литературы»⁹, — писал Чернышевский в первой статье. Обзора такого рода и не предполагалось. И только после того, как по напечатании двух статей о Пушкине, в течение последующих месяцев, с марта по июль включительно, развернулся полемический фронт выступлений против Чернышевского — статьи Дружинина, Дудышкина и Григорьева — явилось и продолжение труда Чернышевского. Его противники подвергли критике не только оценку Пушкина, обоснованную фактическим материалом, но и эстетико-философское кредо автора. Ответом и были третья и четвертая статьи, где Чернышевский доказывал, что его точка зрения есть повторение уже заявлявшихся критикой суждений и что эта оценка Пушкина отнюдь не случайна.

Прямой тематической преемственности между двумя разделами работы Чернышевского нет: первая часть — это обзор биографии, вторая — взгляд на критику. Несмотря на то, что все четыре статьи имеют единое внешнее обозначение — каждый раз Чернышевский называл в заглавии очередные

⁹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 424.

тома анненковского издания — в сущности, этой последовательностью он не был связан, поскольку не входил в детальное рассмотрение самих произведений поэта. Между тем внутренняя преемственность двух частей его работы все же существует. Вначале Чернышевский на подготовленном Анненковым поле обозначил достаточно отчетливо и ясно представившийся ему облик Пушкина. Затем, обратившись также и к критике, он еще раз проверил и подтвердил сказанное о Пушкине работами своих предшественников, дорисовывая тем самым еще более полно предложенный им портрет. Концепция личности поэта с начала и до конца работы оставалась единственной авторской проблемой. Личность и значение Пушкина «в истории нашего общественного развития», от выяснения которых, приступая к работе, Чернышевский отказался, на самом деле очерчивались им от первых до последних страниц его труда — и в комментировании биографии, и в оценке критики. Считать, что Чернышевский, выступив сначала «как филолог» и высоко оценив значение Пушкина, затем «отошел от многих мыслей, высказанных им в двух первых статьях», заняв позицию критика-полемиста, когда «его суждения о поэте становятся резкими» и «критика покидает чувство исторической конкретности»¹⁰, — нет оснований. Историческая точка зрения современного исследователя и историзм Чернышевского не могут быть адекватны. Там, где резкие суждения Чернышевского о Пушкине не совпадают с современной литературоведческой их оценкой, точнее было бы говорить не о погрешностях его против историзма «вообще», а о мере исторического понимания им пушкинского наследия, тем более, что стремление продолжить развитие знания — философского или эстетического — в уже определившемся направлении, уловить заложенные в предшествующем его движении проблемы было одним из важнейших методологических установлений Чернышевского¹¹. Нуждается в уточнении и мнение о том, что Чернышевский в ряде суждений о Пушкине отступает от «великолепного историзма» Белинского¹².

Над страницами Белинского

Наиболее глубоким истолкователем творчества Пушкина для Чернышевского был Белинский. «Заботливые припомино-

¹⁰ Мотольская Д. К. Указ. соч., с. 281.

¹¹ «В эти же годы Чернышевский много сделал для выяснения той литературной традиции, которая могла бы явиться опорой и отправным этапом в дальнейшем росте освободительных стремлений в литературе», — писал А. П. Скафтымов. (Скафтымов А. П. Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1947, с. 26).

¹² Такого рода сравнение имеется в статье Г. М. Зельдовича. (Указ. соч., с. 35).

вения» из его труда он считает вполне оправданными и необходимыми: «Нужно только одно — предлагать вопросы, — ответы уже приготовлены»¹³. Повторять Белинского следует потому, что, забыв о его ответах, критика предлагает ответы «собственного изделия, не всегда мастерского». Но повторение стало у Чернышевского самостоятельной интерпретацией его предшественника, и на страницах «Современника» 1855 года с еще большей силой прозвучали полемические идеи, заключенные в статьях Белинского.

В общем мнении, замечает Чернышевский, автор знаменитых статей о Пушкине был всецело покорен его поэтическим гением, на самом же деле, говоря о Пушкине с «чрезвычайным сочувствием», Белинский «совершенно не разделял его понятий»¹⁴. Чернышевскому дорога историческая точка зрения Белинского на Пушкина. Хотя в каждой строке Белинского и дышит это «чрезвычайно сильное сочувствие» поэту, критик свободен от безусловного перед ним преклонения. Чернышевский особенно поддерживает стремление Белинского разрушить абсолютизацию всего, что связано с самим именем Пушкина. «В продолжение почти пятнадцати лет все привыкли к имени Пушкина и к его славе, а потому все поверили, наконец, что Пушкин — великий поэт»¹⁵, — против этой литературной рутины выступал и Белинский. Апологетизация исключает исследование, не позволяет посмотреть на творчество Пушкина исторически. В «Очерках гоголевского периода развития литературы» Чернышевский полностью присоединяется к мысли, что подобное поклонение лишено всякой ответственности перед историей и современностью: «Каждый русский — есть почитатель Пушкина, и никто не находит неудобным для себя признавать его великим писателем, потому что поклонение Пушкину не обязывает ни к чему, понимание его достоинств не обуславливается никакими особенными качествами характера, никаким особенным настроением ума»¹⁶. Этот род духовной инерции и подвергается Чернышевским пересмотру. Общее направление современной мысли во всех отраслях знания характеризуется стремлением к исторической самопроверке: «В наше время нет безусловных авторитетов, каждое движение которых стояло бы выше критики»¹⁷. Уже Белинский, приступая к статьям о Пушкине, писал, что для великого поэта теперь «настало потомство» и суд над ним произносится не отдельным субъективным мнением, но творится «безмолвной, фактической философией самой жизни

¹³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 501.

¹⁴ Там же, т. III, с. 233.

¹⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 360.

¹⁶ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. III, с. 21.

¹⁷ Там же, т. II, с. 451.

и самого времени»¹⁸. Свое время Чернышевский считает еще более объективным в отношении к Пушкину; теперь определен еще более верный критерий для суждения о поэте, так как «мерило для оценки воспитателя дается только деятельностью его воспитанников»¹⁹, и сегодня, когда итоги подводит сама история, создались условия, «при которых можно судить о Пушкине хладнокровно».

Самый факт появления «образцовой биографии» Пушкина представлялся Чернышевскому наилучшим поводом для борьбы с кумиротворением. Факты — лучший способ развеять легенды и узнать человека. На страницах Анненкова предстала реальная история реальной личности, и Чернышевский, комментируя приведенные им факты, обращается к Белинскому для того, чтобы вернее их истолковать, у Белинского находит он те точные обозначения пушкинского мировосприятия, которые позволяют ему понять Пушкина как личность. Гений для Чернышевского — это высшее проявление «человеческого». Слова Белинского о том, что в каждом движении Пушкина видна «внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность», что в испытаниях жизни, положив свою опору «на внутреннем богатстве своей натуры», Пушкин «не дает судьбе победы над собою», имели для Чернышевского особую притягательную значимость. Отмеченное Белинским в Пушкине «мощное чувство бодрости», постоянное стремление искать истину «не в книгах, а в природе, в жизни», присущий Пушкину «такт действительности» как нельзя более совпадали с защищаемым Чернышевским эстетическим тезисом — «прекрасное есть жизнь». Он пишет о «мощной и всесторонней» натуре Пушкина, «многосторонности его ума и сердца», о его «удивительно мужественном таланте» и необыкновенном природном уме. Ему дороги в Пушкине нравственная независимость и сила духа. Отметив было вслед за Белинским «недостаток европейской образованности» у Пушкина, Чернышевский, вчитываясь в новые факты, приводимые Анненковым, не один раз с удовлетворением скажет, что по широте образованности Пушкину трудно найти равных среди современников. Приведенные Анненковым примеры неутомимого трудолюбия Пушкина, гения-труженика, Чернышевский присоединил к главной мысли Белинского о пытливой любви поэта к жизни как она есть и о его умении находить прекрасное в обыкновенном. Чернышевский полностью разделил и замечание Белинского о благодетельности нравственного влияния пушкинской поэзии, лишенной беспредметных порывов к идеальному и глубоко оптимистичной, на молодое поколение. Именно «нравственное здоровье» Пушкина, его «способность

¹⁸ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 105.

¹⁹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. III, с. 496.

увлекаться и увлекать», «горячий темперамент, влекущий к жизни, к обществу», «свежая роскошь и полнота» его чувств и мыслей побудили Чернышевского несколько позднее написать брошюру о Пушкине, адресованную молодому читателю, в которой нельзя не видеть осуществление высказанного Белинским пожелания — открыть Пушкина юношеству, — потому что не чем иным, как именно поэзией Пушкина, можно «превосходным образом воспитать в себе человека»²⁰.

Статьи Белинского Чернышевский воспринимал как труд полемический. Прежняя «запальчивая прях мнений», отмечал Белинский, как будто уже угасла вокруг Пушкина, но он видел, что и теперь осмысление исторического значения его творчества непосредственно связано с построением современной концепции искусства. И, «когда время побеждает предрассудки людей и на их развалинах восстанавливается победоносное знамя истины», голос «свободного убеждения» не звучит в торжественной тишине. Только «апатические бредни отсталого труженика науки, надутого педанта, бездарного витязя филиантов и букв» ни у кого не вызовут возражений. Истинное же слово о Пушкине — убежден Белинский — еще нуждается в самой горячей, «фанатической» защите. В статьях о Пушкине появляется примечательное заключение: «Фанатизм не есть истина, но без фанатизма нет стремления к истине. Фанатизм — болезнь; но ведь болезнь есть принадлежность только живого, а не мертвого: камень и труп не знают болезни»²¹. Читая Белинского, Чернышевский раньше и точнее всех, кто писал в эти годы о Пушкине, понял, насколько остра и актуальна и через десять лет после статей Белинского остается самая тема: Пушкин и современность.

Полемическим центром статей Белинского для Чернышевского было сопоставление творчества Пушкина и Гоголя. В литературе о Чернышевском нередко стремление отделить его позицию от воззрений Дружинина приводило к выводу, будто противопоставление Пушкина Гоголю имелось только у Дружинина, тогда как Чернышевский «вслед за Белинским говорит о преемственной связи»²². Не вполне разъяснен и вопрос о том, почему такое противопоставление имелось в статьях самого Белинского²³. Высказанная им мысль, что не Пушкин, а Гоголь и его традиции наиболее важны для современной литературы, либо вообще не принималась во внимание исследователями как несуществующая, либо признавалась как от-

²⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 339.

²¹ Там же, с. 361.

²² Зельдович М. Г. Указ. соч., с. 31.

²³ Теоретико-эстетическая сторона этого вопроса в общей форме очень точно обозначена А. Лаврецким, его формулировки по праву могут считаться ключевыми в решении проблемы. (См. кн.: Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. М., 1968, с. 171—172).

дельное ошибочное суждение критика, в целом никак не свойственное Белинскому и его позицию не характеризующее. По аналогии и соответственное заключение Чернышевского либо не рассматривалось, либо считалось полемической крайностью. Принимая же его во внимание как мысль, высказывавшуюся Чернышевским неоднократно и не только в непосредственных полемических целях, исследователи иногда видели в этом «ошибочном» его выводе едва ли не невольную уступку Чернышевского Дружинину. Считали, что в борьбе с Дружининым Чернышевский принял свойственное его идейному противнику противопоставление Пушкина Гоголю, придав ему обратный, сравнительно с дружининским, смысл. Однако — пусть и с этим обратным смыслом — неверная формула была взята, и Чернышевский, хотя он и стремился придать ей новое значение, все же уступил в этом пункте Дружинину, до конца не опровергнув своего оппонента²⁴.

Односторонность таких подходов к сложному вопросу очевидна. Теряется связь со своеобразием конкретных условий как в том случае, когда позиция Чернышевского излишне выпрямляется, так и в том, когда это влияние особых условий представлено в виде «уступки» Чернышевского, временного его отступления, частной ошибки. Тут одинаково вредят делу как попытка сгладить и приглушить неприемлемое для сегодняшнего исследователя противопоставление двух основоположников реалистической литературы, так и стремление признать весь ход размышлений Чернышевского, приводивший его к выводу, что Гоголь «выше» Пушкина, — ошибкой или издержкой полемики.

В теоретических основах эстетической системы Белинского действительно не имелось внутренних поводов для противопоставления Гоголя и Пушкина. Пушкин и Гоголь — две необходимые в своей последовательной связи ступени развития национально-самобытного искусства. Между тем в процессе конкретно-исторического развития эстетических взглядов Белинского как необходимая ступень выступает и такое соотнесение Пушкина и Гоголя, когда своеобразие пушкинского мировосприятия характеризуется с точки зрения его неполноты и недостаточной социальной зоркости сравнительно с гоголевским критическим пафосом. Причем исторически такой этап не был заблуждением, ошибкой или временным тактическим ходом. В этом своеобразном отступлении от Пушки-

²⁴ Д. К. Мотольская пишет, что в решении этого вопроса Чернышевский «не поднялся над дружининским пониманием Пушкина». (См.: Мотольская Д. К. Указ. соч., с. 281). Тот же вывод делает и Г. М. Зельдович. (Указ. соч., с. 31). Думается, что, указав на слабые стороны позиции Чернышевского в борьбе с А. В. Дружининым, более прав был А. Лаврецкий, подчеркнув, что эти промахи перекрывались у Чернышевского «историческим подходом к литературным явлениям». (См.: Лаврецкий А. Указ. соч., с. 263).

на сохранялся залог нового возвращения к нему, возможность в пушкинском наследии открыть для себя новые содержательные пласты.

Между теорией и историей не было прямых совпадений, причем несовпадения оказались плодотворны и для уточнения теории, и для развития истории.

Чернышевскому открылся обширный материал для размышлений над процессом становления концепции пушкинского наследия у Белинского, над самим продвижением мысли Белинского к заключительным формулировкам. Мысль критика в этом классическом его труде порой словно бы искала самое себя. Длительная в течение трех лет работа Белинского над пушкинским циклом статей предстала Чернышевскому в ее внутреннем движении. Ему открылся свойственный самому познавательному процессу драматизм, когда, осмысливая большое произведение искусства, критик одновременно видел и его исторически непроходящее значение, и неизбежную относительность перед новыми явлениями искусства, отвечавшими новым запросам. Для пушкинского наследия едва только «наступило потомство», оно едва становилось прошлым. Богатейший поэтический материал впервые подвергался концептуальной систематизации, впервые определялись его связи с прошлым и будущим. Степень отчетливости их для Белинского была различной. Постигая существенные закономерности развития русской литературы и определяя место в ней Пушкина, Белинский предлагал формулировки вполне завершённые; вместе с тем, перед ним открывалась область вопросов предположительных, проблем для будущих размышлений над Пушкиным. Он и утверждал, и одновременно ставил самому себе вопросы, которые иногда колебали предложенные им же самим утверждения, вызывали необходимость их уточнений. В пределах единой системы размышлений порою предлагались выводы взаимоисключающие, и это был плодотворный и целеустремленный процесс движения к истине, отражавшей сложность объективного развития искусства. Разъяснение непреходящего исторического значения Пушкина сопрягалось у Белинского с выводом об убывающей роли пушкинской традиции в современной литературе — и в том, и в другом он видел власть истории.

В этой неоднородности суждений Белинского Чернышевский делал свой выбор, подхватывая и разъясняя одни положения, оставляя в тени или вовсе не упоминая другие. В итоговых суждениях о Пушкине он принял все основные выводы Белинского: признал Пушкина первооткрывателем истинно поэтической, художественной формы и провозвестником искусства как такового, первым поэтом, поднявшим литературу на уровень важнейшего общенационального дела. Однако эти оценки не были повторением Белинского. Прочтение статей

о Пушкине в самой избирательности их цитирования, комментирования и развития содержащихся в них положений явилось, по сути дела, первой исторической оценкой труда Белинского.

Историческая точка зрения утверждала себя как универсальный принцип сравнения и относительности, как признание объективной обусловленности литературы и эстетических воззрений общественными условиями, временем. В самом принципе историзма не сразу утвердилась вся совокупность присущих ему проблем. Для Чернышевского в середине 50-х годов это была проблема относительности и объективной предуготовленности нового предшествующим развитием. В соответствии с этим пониманием историзма, когда, как замечает Чернышевский, каждый предыдущий период «имеет значение не столько по безусловному совершенству ознаменовавших его явлений, сколько по тому, что служил приготовлением к следующему, более высокому развитию»²⁵, Чернышевский и принял основное направление мысли Белинского: Пушкин первым обратился к русской действительности и создал поэзию как искусство — теперь выразителем нового и «более высокого» времени является Гоголь.

При такой постановке вопроса хорошо выражен именно принцип относительности, идея неизбежной смены одного явления другим. Не отрицает подобный подход к истории и идеи преемственности. Другие закономерности развития представлены здесь в меньшей мере. Например, проблема эстетического возобновления явлений искусства, исторически принадлежащих прошлому, вопрос не о замене, а о переходности одних стадий развития в другие, проблема преемственности как «снятия», — разработаны в этой системе исторических воззрений меньше. Различение нового при таком понимании развития чаще выражается мыслью о необходимости смены одного явления другим, констатацией противоположности сравниваемых явлений, чем постановкой вопроса об их соотношении и возможностях их одновременного существования.

К этой особенности формирования исторического взгляда Белинского на Пушкина исследователи мало обращались, беря, главным образом, его итоги. Между тем Чернышевский приступал к рассмотрению и оценке этих итогов, во многом еще очень остро переживая искания Белинского и повторяя их как современный спор о путях искусства. Его внимание более всего привлекал процесс развития мысли Белинского.

Внимание Чернышевского остановило известное определение: Пушкин — «поэт формы». Как много раз отмечали исследователи, наблюдения Белинского в развитии этого вывода на

²⁵ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. III, с. 191.

правлялись не к анализу «формы» как внешнего элемента произведения, а к исследованию самой специфики художественной мысли, для которой художественность — не внешняя отделка, а свойство самого содержания. Отмечая «особность» пушкинской поэзии, Белинский видел ее в «исключительно поэтическом угле зрения», когда самая мысль исполнена поэзии. Предвидя возможность узкого истолкования предложенной им формулировки, Белинский не раз возвращался к разъяснению ее именно в этом смысле, и Чернышевский такие его уточнения полностью принял, призывая не упрощать Белинского и иметь в виду, что, рассматривая произведения Пушкина, Белинский писал о достоинствах самой поэтической пушкинской мысли.

Вместе с тем в статьях Белинского развернут целый ряд суждений, где доказывается, что Пушкин — «не мыслитель, а художник». Преобладание «художнического элемента» здесь оценивается уже как известная неполнота жизненного содержания. Говорится, что произведения Пушкина не могут ответить на многие запросы современности, что Пушкин «принадлежит к школе искусства, которой пора уже миновала»²⁶. Рассматривая настоящее как «время высшее», когда «дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление составляет жизнь всякой истинной поэзии»²⁷, Белинский противопоставляет в этом смысле Пушкину Гоголя и Лермонтова. Это именно противопоставление, так как Белинский, прилагая к Пушкину меру художественного содержания последующих писателей, заключает, что пушкинская поэзия уже не содержит «того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего»²⁸. Речь шла здесь у Белинского не о различии содержания и форм двух поэтических миров — Пушкина и Гоголя, а о границах самого содержания пушкинской поэзии. Пушкин дает «поэтическое созерцание», тогда как сегодня необходим «анализ», «исследование», исполненное страстного утверждения и отрицания «мышление». В данном случае у Пушкина всех этих качеств критик или не находил вовсе, или, обнаруживая их проявление, признавал его недостаточным. В том же направлении развивалась и мысль Чернышевского, и, когда он писал, что у Пушкина «художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе»²⁹, то он имел в виду не совершенную пушкинскую меру единства содержания и формы, а сравнительную неполноту самой «поэти-

²⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. VII, с. 344.

²⁷ Там же, с. 344.

²⁸ Там же.

²⁹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 473.

ческой» мысли, «художественности», когда она составляет главное достоинство произведения.

Белинский различает «непосредственно-творческий» элемент в Пушкине и «мыслительный», признавая, что непосредственно-творческое начало у него было «несравненно сильнее мыслительного, сознательного элемента, так что ошибки последнего, как бы без ведома самого поэта, исправлялись первым, и внутренняя логика, разумность глубокого поэтического созерцания сама собою торжествовала над неправильностью рефлексий поэта»³⁰. Так обозначается правомерность критического исправления «неправильного» развития мысли художника, причем «разумность созерцания» признается свойством, не контролируемым авторской волей и в ней не содержащимся. Поэт словно бы не может сам оценить им создаваемое и дать изображенному верную оценку. На помощь к нему приходит критик. К этому принципу оценки произведений Чернышевский отнесется как к единственно верному. Правильная «рефлексия» чаще всего принадлежит критику и выявляет, насколько зрел в писателе «сознательный элемент».

Между тем конкретное рассмотрение произведений Пушкина почти всегда нарушает у Белинского этот метод, критик выходит за пределы констатации преобладания у поэта непосредственного творчества над «сознательным элементом». «Разумность глубокого поэтического созерцания» в процессе самого анализа является для Белинского не чем иным, как поэтической идеей, реальным художественным содержанием, и он говорит о глубине идей, заключенных в самом непосредственном элементе творчества. Практически Белинский почти всегда видит содержательность поэтической мысли Пушкина.

Признав, что «время определило поэзию Пушкина» и что современному читателю Гоголь и Лермонтов скажут больше, чем Пушкин, Белинский делает из этого вывода такое множество исключений, что в целом они приобретают в его статьях вполне самостоятельное значение. Сказав, например, что Пушкин вполне выразил свое время, горести и восторги которого уже ушли в прошлое, Белинский считает, что это не распространяется на многие лирические стихотворения Пушкина, «мелкие пьесы», замечая, что они «и теперь глубоко волнуют ум и сердце», и «теперь так же обаятельно-прекрасны»³¹. Говоря о картинах природы у Пушкина, критик снова находит, что поэт «рисует ее, но не мыслит о ней», и в то же время не может не сделать и такого добавления: в этих образах природы есть «что-то похожее на пантеистическое мирозозерцание Гете»³². Известно, что Белинский считал ложной идею

³⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 386.

³¹ Там же, с. 321.

³² Там же, с. 353.

«Бориса Годунова»: Пушкин «рабски во всем последовал Карамзину», приняв от него общую мысль «до того избитую, что таланту ничего нельзя из нее сделать»³³. В процессе же разбора этого произведения критик находит в нем много превосходных сцен, глубоко понятых Пушкиным характеров, а «последнее слово трагедии» заключает в себе, по его мнению, «глубокую черту, достойную Шекспира»³⁴. Все это — столкновения разнонаправленных тенденций внутри единой системы размышлений.

Они не прошли незамеченными для Чернышевского. Он увидел «важные противоречия и недомолвки» в рассуждениях Белинского о «Цыганах» и «Евгении Онегине». Внимание Чернышевского остановило замечание Белинского, что в «Цыганах» Пушкин «думал сказать не то, что сказал в самом деле»³⁵: предполагал представить «апофеозу» Алеко, а дал «иронию» и «сатиру». Чернышевский согласен с Белинским, когда он более резко, чем сам поэт, «изобличает жестокость и несправедливость» Алеко, в ком Пушкин, по его мнению, следуя своим пристрастиям, хотел показать героя, достойного сострадания. (Напомним, что эволюция жанра поэмы у Пушкина, направленная к развенчанию романтического героя, не в полной мере учитывается и Белинским, и Чернышевским). Противопоставление старого цыгана главному лицу поэмы проводится Белинским, как считает Чернышевский, куда более энергично, чем самим автором. Тем самым именно Белинский, считает он, и разъяснил истинный объективный смысл представленных в поэме характеров и их действий. Следует только не забывать, замечает Чернышевский далее, что у Белинского имелось «стремление истолковать сколь возможно выгоднее для того или другого произведения смысл его, иногда в противоречие тому, чего по своему беспристрастию не может не заметить и не высказать сама критика»³⁶. Критик, высоко почитая поэта, исправил «неверные рефлексии». Несовпадение между авторским намерением, более снисходительным в отношении к Алеко, и тем, «что он сказал» — дал «сатиру», — таким образом, было и восполнено, и разъяснено критиком. Под воздействием критической мысли «непосредственно-творческий элемент» в поэме приобрел верное освещение и в нем прояснилось то, что автором было сказано с недостаточной определенностью.

Несколько иначе обстоит, с точки зрения Чернышевского, дело, когда Белинский пишет о «Евгении Онегине». Здесь он уже не находит той последовательности, которая была у Белинского в рассмотрении поэмы «Цыганы».

³³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 508.

³⁴ Там же, с. 534.

³⁵ Там же, с. 386.

³⁶ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 500.

Высоко оценив в двух статьях Белинского о романе все «эпизоды» и «применения», где Белинский писал о положении человека в обществе, о женском воспитании, и, заметив, что многие читатели, восхищаясь «Евгением Онегиным», приписывают самому Пушкину все то, о чем с таким интересом прочли у Белинского, Чернышевский не нашел здесь столь ясно заявленного стремления критика отделить свою позицию от авторских взглядов. По поводу романа Белинский уже не писал, что Пушкин «думал сказать не то, что сказал на самом деле». Больше того, к известному расстоянию, отделявшему пушкинские пристрастия и генеалогические симпатии к дворянству от идей, занимавших Белинского, критик отнесся во многом иначе, чем при рассмотрении поэмы «Цыганы». Статью о «Евгении Онегине» Белинский предварил таким замечанием: «...в отношении к *Онегину* наши суждения могут показаться многим еще более противоречащими, потому что *Онегин* со стороны формы есть произведение в высшей степени художественное, а со стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие достоинства»³⁷. Противопоставления позиции критика авторскому замыслу не было. Более того, критик и в том, что прямо не совпадало с его убеждениями, также находит «величайшие достоинства». Роман, где отразилась вся жизнь, вся душа, вся любовь поэта» всем своим содержанием в целом — и тем, что Белинский принимал, и тем, что вызывало его возражения, — явился для критика богатейшим выражением объективной истины. Убежденный, что Пушкин дал романом «энциклопедию русской жизни», Белинский видел «генеалогические пристрастия» поэта, находил в романе моральные идеалы, разделить которые он никак не мог, но все критические «эпизоды» по поводу «Евгения Онегина», где с наибольшей силой звучали убеждения самого Белинского, строились им не вопреки воззрениям автора, а на основании воплощенных в романе истин. Утверждение Белинского, что Пушкин — «художник, а не мыслитель», для толкования «Евгения Онегина» оказалось узко, прежний метод был непригоден. То, что думал Белинский о поднятых Пушкиным проблемах, говорилось на основании глубокого осмысления русской жизни самим поэтом. Эта поправка к противопоставлению непосредственного творчества и сознательного осмысления изображаемого поэтом проходит через все рассуждения Белинского о романе и не только о нем.

Чернышевский стремился провести общий тезис Белинского («художник, а не мыслитель») до конца. Логически распространяя его на статьи Белинского о «Евгении Онегине», он заметил отступления критика от принятого ранее принципа и остановился перед фактами, казавшимися ему непоследова-

³⁷ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 431—432.

тельностью Белинского. У Чернышевского даже был повод, если принять во внимание его исходную позицию, сказать о «противоречии», в которое якобы впадает прибегающий к «недомолвкам» и «чрезвычайно сильно сочувствующий» поэту Белинский. Разойдясь с Пушкиным в отношении к Онегину и Татьяне в сцене их последнего объяснения, Белинский, полагает Чернышевский, «не хочет дойти до вывода, необходимо следующего из этих фактов: или Онегин и Татьяна изображены в романе не такими, как представлялись мысли самого автора, следовательно Пушкин также не мог понять и очертить их в полном и истинном свете,... или они изображены действительно такими, какими представлялись понятиям самого автора, и в таком случае о них должно быть сказано то же, что о людях одного разряда с Алеко»³⁸. Автору этих строк Белинский представлялся критиком, спасающим истину вопреки поэту своими собственными усилиями. Белинский и здесь договорил то, чего не осознал Пушкин, но на этот раз уже не указал на степень отклонения поэта от истины.

Процесс философско-эстетических исканий Белинского открылся Чернышевскому и в тех формулировках, где его предшественник определял своеобразный склад пушкинского мирозерцания, пафос поэта. Свою задачу Чернышевский сознавал здесь и как необходимость выбора. В целом к исканиям Белинского он относился с глубочайшим уважением, понимая их плодотворность и поучительность. В «Очерках гоголевского периода» он отметит, что именно связь Белинского с действительностью, его особая чуткость к развитию жизни побуждали его уточнять и даже изменять свои взгляды соответственно движению реальных явлений. Он поддержит известное высказывание Белинского об ограниченности «готовых натур», в свое время сделанное его предшественником как раз в статьях о Пушкине. Однако развитие Белинского, в целом очень точно Чернышевским охарактеризованное, — к материализму, к социальности, к радикальным критическим выводам — бралось Чернышевским преимущественно в его конечных измерениях. По мысли Чернышевского, это было движение от ложного к истинному, и им предлагался избирательный подход к этому процессу поисков истины: одно зачеркивалось, другое принималось. Поиски казались Чернышевскому колебаниями Белинского, неизбежными и плодотворными, но альтернативными по своей природе. Белинский, по его мнению, выбирал — Чернышевскому следовало, идя по его пути, сделать тот же выбор, но более последовательно и точно. Повод для такого восприятия предлагаемых Белинским определений мирозерцания Пушкина имелся.

Созерцательная настроенность, приглушенность «субъек-

³⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 501.

тивного элемента» в произведениях Пушкина, не знавшего, как считал Белинский, «мук и блаженства, какие бывают следствием страстно-деятельного увлечения живой могучею мыслию», приводят Белинского к выводу, что не этот тип художника может удовлетворять духовные запросы современности. «Наше время преклонит колени только перед художником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание жизни»³⁹, — Чернышевский с признанием цитирует эти строки. Личность Пушкина «высока и благородна», но далека от подобного образца поэтической деятельности. Белинский не останавливается и перед публицистическими крайностями, доказывая мысль о бесперспективности развития пушкинской школы в настоящее время. В том же цикле статей о Пушкине, где признано, что гений составляет «эпоху в жизни народа», имеется рассуждение, словно бы снимающее всякий намек на исключительность такого явления, как творчество Пушкина: «Явись теперь на Руси поэт, который был бы неизмеримо выше Пушкина, его появление уже не могло бы наделать столько шума, возбудить такой общий, такой страстный энтузиазм», «...теперь уже слишком слабый успех мог получить поэт, который, не уступая Пушкину в таланте, даже превосходя его в этом отношении, был бы подобно ему, преимущественно художником»⁴⁰. Чернышевскому близка полемическая направленность таких замечаний.

Вместе с тем в миропонимании Пушкина Белинский находит не только созерцательную, свойственную больше прошлому, чем настоящему, гуманность, уважение к человеку как к таковому. Он видит в философско-поэтическом пушкинском восприятии бытия и свойства более действенные. В духовном облике Пушкина есть черты, которые будут всегда составлять существенную необходимость для каждого, вступающего в жизнь поколения. Развивая в новом философском осмыслении идущее от И. Киреевского определение «Пушкин — поэт действительности», Белинский в той же самой «созерцательности» поэзии Пушкина открывает необычайную «глубину и возвышенность». Эти свойства характеризуются им теперь уже не как мало удовлетворяющая современника созерцательная философия, но как мудрая жизненная сила, духовная стойкость, всегда притягательные для человека. Пушкинская поэзия умеет принимать действительность как она есть, находя прекрасное на земле, «не кладет на лицо жизни белил и румян, но показывает ее в ее естественной, истинной красоте»⁴¹. Это высокое понимание простого, и его заново открывает для

³⁹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 346.

⁴⁰ Там же, с. 320.

⁴¹ Там же, с. 339.

себя каждое поколение, каждая отдельная личность. В артистическом изяществе человеческого чувства, каким предстает оно в поэзии Пушкина, таятся, по глубокому замечанию Белинского, еще не вполне востребованные читателями моральные ценности. Мысль Белинского, таким образом, словно бы движется двумя встречными потоками, и выводу, что Пушкин «был поэтом своего времени, своей эпохи и что это время уже прошло»⁴², противостоит вывод, что Пушкин, по преимуществу, — поэт будущего.

В какой мере характеризует концепцию Белинского противостояние этих выводов? Да и свойственно ли оно его взглядам на Пушкина вообще, когда в тех же статьях Белинский прочерчивает и вполне определенную связь между конкретно-историческим и общечеловеческим значением и смыслом пушкинского творчества?

Известно, что уже в самом начале работы о Пушкине он писал об «артистическом», «безусловном» значении поэта и вместе с тем — об «историческом» и «временном», причем «артистическое» не мыслилось Белинским вне истории. Об этом говорят и все конкретные примеры, подтверждающие, с его точки зрения, эту «безусловность», и предложенная им в начале первой статьи теоретическая формула, так часто цитируемая в статьях о Белинском и Пушкине: «Пушкин принадлежал к числу тех творческих гениев, тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, приготавливают будущее и по тому самому уже не могут принадлежать только одному прошедшему; но в том-то и состоит задача здоровой критики, что она должна определить значение поэта и для его настоящего, и для будущего, его историческое и его безусловно художественное значение»⁴³. Истоки безусловной художественности лежат в истории: поэт — «великая историческая натура». Настоящее и будущее Пушкина стоят в этой формулировке рядом, а «здоровая критика» отличается от всякой другой именно историческим подходом как к «настоящему» поэта, так и к его «будущему» и ставит вопрос о самой закономерности сосуществования этих двух измерений художника. Никаких противоречий между «безусловным» и «историческим» как будто бы нет. Однако в своем развитии мысль Белинского нередко устремлялась к крайним границам двух этих понятий как к обозначению противоположностей, в меньшей мере входя в исследование области возможных их связей и переходов. Именно поэтому и Чернышевский, читая Белинского, предпочитает то определение поэзии Пушкина, какое его предшественник обозначает как «историческое». Свой пересказ теоретических установок из начала первой статьи Белин-

⁴² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 101.

⁴³ Там же.

ского Чернышевский прерывает и останавливает там, где кончается мысль об исторических заслугах Пушкина. Замечания Белинского о поэзии Пушкина как о безусловном художественном образце он уже не цитирует. Такого рода «безусловность» в системе рассуждений Белинского казалась Чернышевскому следом прежнего, внесторического, «чрезвычайно сильного сочувствия» поэту.

Избирательность Чернышевского в данном случае также имела повод. Когда Белинский говорит, что Гоголь и Лермонтов больше удовлетворяют запросам современности, «высшего времени», чем Пушкин, он исходит из велений истории, которая все определяет и производит. В свое время история дала России Пушкина, теперь она же на смену ему выдвинула новых художников — Гоголя и Лермонтова. И там, и здесь история действует с неизменным постоянством законов развития. Неукоснительность следования им и острое ощущение сопричастности велениям нового времени и побуждали Белинского ставить вопрос не вне времени — о Пушкине и Гоголе, — а соответственно времени и потому альтернативно — о Пушкине *или* Гоголе, — решительно доказывая, что выразители «высшего времени», Гоголь и Лермонтов, соответственно «выше» Пушкина. Толкование литературой преемственности как исторической последовательности не отменяло признания роли Пушкина для настоящего. Но признание это по самому принципу своему здесь было ретроспективно.

Значение Пушкина велико и непроходяще, поскольку велики его «приготовительные» заслуги (как скажет Чернышевский). Признание их в данном случае представляет собою ретроспекцию — указание на принадлежащее Пушкину, но пройденное литературой, звено поступательного развития. Эта точка зрения не может не выразиться в альтернативной постановке вопроса, когда перед обращенным к современности критиком встает вопрос о главе нового направления искусства. И Белинский, и Чернышевский видят его в Гоголе. Бессмертие Пушкина — благодарная память о нем как основоположнике новой эпохи литературы.

Однако ретроспективный способ обозначения исторической роли Пушкина не охватывал многих явлений его творчества, над которыми так же размышлял Белинский. Показателен комментарий, сделанный им к вопросу об отношении публики к произведениям Пушкина в 20-е и 30-е годы. Чернышевский прочитывает этот комментарий также избирательно. Он согласен с Белинским, считавшим, что публика к 30-м годам вполне справедливо охладела к поэту, не найдя у него «более нравственных и философских вопросов, нежели сколько находила их (и это, конечно, была не ее вина)».

Вместе с тем, вглядываясь в те же взаимоотношения поэта и публики в 30-е годы, Белинский замечает и нечто иное. Пуб-

лика охладевала к своему недавнему избраннику по мере того, как он, становясь «художником», все более становился «самим собой». В этом Пушкин «не виноват»: такова его природа, но он стал таковым «по несчастью в такое время, которое было очень неблагоприятно для такого направления»⁴⁴. Поэт, который ушел от запросов своего времени, «рискует быть единственным читателем своих произведений»⁴⁵, — здесь все вполне определено, и Чернышевский с удовлетворением цитирует это замечание Белинского. Но Пушкин, оказывается, был менее всего оценен в тех произведениях, где выразился наиболее полно!

И Белинский останавливается перед фактом, вызывающим у него ряд новых раздумий. В «Цыганах», где поэт «далеко перерос свою публику», он остался гораздо менее понятным и признанным, чем это было при выходе в свет ранних и более слабых поэм, между тем в «Цыганах» он выражал идеи, которые в полном своем значении будут восприняты много позднее и окажут в последующем воздействие на общественную мысль. Белинский считает, что «отселе Пушкин явится... воспитателем будущих поколений»⁴⁶. Связь между поэтом и временем оказывается более сложной и опосредованной, не прямой. Самое определение поэт «классический» отнесено критиком не столько к признанию прошлых заслуг Пушкина, сколько к возрастающей актуальности нравственного влияния пушкинской поэзии: в будущем по творениям его новые поколения «будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство»⁴⁷. В этом ряду наблюдений бессмертие Пушкина рассматривается как жизнь, возобновляющаяся во времени, процесс обогащающийся, имеющий свои периоды замедления и интенсивности.

Чернышевский согласен с Белинским, что середину 40-х годов, когда он писал свой, давно обещанный труд о Пушкине, нужно признать тем временем, с высоты которого впервые вполне объективно можно обозреть границы пушкинских владений в литературе. Они велики, но не безмерны, настоящее принадлежит уже не ему. Свое время, середину 50-х годов, Чернышевский считает еще более объективным и беспристрастным в отношении к Пушкину. Теперь можно судить о Пушкине так, как рассудила о нем сама жизнь. Но Белинский видит в поэзии Пушкина и залого, способствующие возобновлению его влияния. В эстетическом бытии пушкинских произведений он обнаруживает то, что в общих законах развития обо-

⁴⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 346.

⁴⁵ Там же, с. 345.

⁴⁶ Там же, с. 385.

⁴⁷ Там же, с. 579.

значается как «перерыв постепенности», «движение по спирали». От Пушкина уходят, но к нему еще придут.

Всех этих его замечаний Чернышевский не касается. Они не могли не казаться ему затемняющими ретроспективный, с его точки зрения, — единственно верный метод признания заслуг поэта. В критическом повествовании о Пушкине ему как бы видятся контуры иной фигуры — Гоголя, определяют проблемы нового, гоголевского периода литературы.

Показательным для общего развития мысли Белинского стал и его ответ на вопрос об истинности собственных суждений о Пушкине. Если Пушкин — величина не однозначная, а все еще меняющаяся, и трудно сказать, когда именно в будущем настанет новая пора его активного влияния на искусство и читателей, вопрос об истинности современных суждений о поэте не мог не стать актуальным. Вопрос об абсолютном и относительном в критических суждениях о художнике и явился в статьях о Пушкине предметом специального философского рассмотрения. Белинский отстаивает свои выводы об историческом значении Пушкина как научную истину, объективную и продиктованную временем. И вместе с тем он постоянно возвращается к мысли, что слово, сказанное сегодня о Пушкине, при всей выверенности его, все же не может быть исчерпывающим. Пушкин уходит из настоящего не в прошлое, а в будущее, истинное слово о поэте не явится как единовременное открытие. Задача изучения поэта «не может быть решена однажды и навсегда», и постижение тайны его творчества останется процессом бесконечным. Причем, точно обозначив метод проникновения критика в глубинное содержание произведений поэта, его пафос, Белинский именно в статьях о Пушкине этот процесс овладения тайной личности поэта поставит в прямую связь с известной зависимостью критика от художника.

Верный принципам относительности и историзма, Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» подчеркнет, что и глубоко ценимый им Белинский не является величиной абсолютной. Однако внимание Чернышевского в оценке его суждений о Пушкине сосредоточено прежде всего на разъяснении истин, представляющихся ему в статьях Белинского совершенно бесспорными. Становление мысли его предшественника взято им в самом главном направлении: «невозможно не заметить, что взгляд Белинского постепенно становился все шире и глубже, а содержание статей все решительнее проникается интересами национальной жизни»⁴⁸. Интересы национальной жизни, как понимал их сам Чернышевский, состояли в укреплении и развитии критического самосознания общества. Отправляясь от этой цели, он готов был порою еще более резко,

⁴⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. III, с. 275.

чем Белинский, указать на достоинства «гоголевского направления», противопоставляя их Пушкину. В «Очерках» он судит, например, о «Евгении Онегине» отнюдь не по законам, самим поэтом над собою признанным, когда пишет: «у кого есть сильное предрасположение к критическому взгляду на явления жизни, только на того произведут влияние беглые и легкие сатирические заметки, попадающиеся в этом романе»⁴⁹. С этой точки зрения Чернышевскому казались относительноными и недостаточно определенными у Белинского все те выводы, которые уводили от столь прямого измерения пушкинского текста мерой гоголевской, не свойственной ему мерой. У самого Белинского мысль об относительности его заключений о Пушкине вызывали совсем иные формулировки, те, где он провидел новые возвращения к Пушкину и ощущал неисчерпаемость его поэзии.

Расхождение с Белинским возникает у Чернышевского и в оценке произведений Пушкина 30-х годов. Для него было важно замечание Белинского о том, что нравственно-философское развитие поэта вполне завершилось, и сожаления об унесенных им в безвременную могилу поэтических тайнах — безосновательны. Тайна «нравственного развития» Пушкина, по мнению Белинского, раскрылась вполне. Чернышевский это наблюдение заостряет, стремясь доказать, что уже с конца двадцатых годов вновь создаваемые Пушкиным произведения были всего лишь разнообразными вариациями ранее освоенных им проблем и не предвещали нового направления ни для поэта, ни для литературы в целом. При конкретном обращении к произведениям 30-х годов Белинский из своего общего тезиса сделает исключение едва ли не для всех, в каждом находя нечто новое и неповторимое. Качественно новым явлением в его глазах окажется и философская лирика этой поры, совершенно особым произведением в ряду поэм будет признан «Медный Всадник», «Евгением Онегиным» в прозе» назовет критик «Капитанскую дочку». И в целом, имея в виду возраставший интерес поэта к объективно-историческим закономерностям жизни, Белинский отметит, что Пушкин в «последнее время своей жизни... все более и более склонялся к драме и роману» — «самый естественный ход развития великого поэтического таланта в наше время»⁵⁰. Несмотря на то, что вся идейно-композиционная структура статей пушкинского цикла тяготела у Белинского преимущественно к 20-м годам, а рассмотрение творчества 30-х лишь дополняло главные идеи его критического труда, замечания по поводу последних произведений поэта все же имели настолько важную перспективную значимость, что и самый тезис о полной внутренней

⁴⁹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. III, с. 19.

⁵⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 337—338.

завершенности пути Пушкина оказался подвергнутым если не пересмотру, то серьезным коррективам.

Чернышевский не принимает во внимание всех этих дополнительных замечаний. Он развивает, не отклоняясь ни к каким исключениям, мысль, что 30-е годы для Пушкина — пора зрелости, но не новых восхождений.

Легко прийти к заключению, что подобный вывод представлял собой нарушение принципов историзма — ведь Чернышевский недооценивал именно новых исторических идей последних произведений Пушкина. Однако такое заключение далеко не во всем верно. В суждениях о Пушкине Чернышевский решительно выступал против вневременных определений «эстетического идеала», «вкуса», «художественности». Он подвергал самой уничтожающей иронии все рассуждения о таких понятиях, когда они брались не конкретно-исторически, но «вообще». Адресат его иронических замечаний, обращенных к ревнителям пушкинской славы как явления надоисторического, весьма многолик. От замеченного еще Белинским, читателя-рутинера, готового ставить Пушкина «выше» Гоголя потому, что такова сила традиции, до профессора словесности Булича, в торжественной речи о Пушкине назвавшего его рядом с античными авторами, потому что ничего, кроме мертвой буквы, и не представляло для него наследие поэта. От преклонявшихся перед «изящной словесностью» авторов водянистых повествований, где область «красоты» наглухо отделялась от «пользы» и «разума», до талантливого молодого критика Дружинина, возведшего Пушкина в вечный идеал художника ради того, чтобы предотвратить возможность проникновения критических социальных идей в область эстетики.

Чернышевский предвидел, как легко при отсутствии точности исторических критериев и преклонении перед красотой «вообще» возникнет против него обвинение в эстетической глухоте и пренебрежении «художественностью»... Poleмически подчеркнутыми станут в его статьях о Пушкине все серьезные признания «дивной красоты» стихов поэта. Их сопровождает Чернышевский рядом специальных филологических разысканий, не остановившись и перед тем, чтобы предложить в журнальной статье подробное рассмотрение законов ритмической организации русской речи, предпринятое им для доказательства мысли о еще не использованных никем из поэтов, в том числе и Пушкиным, природных богатствах языка, способного дать материал не для одних только знаменитых пушкинских ямбов. Это было оригинальное стиховедческое исследование, содержащее с точки зрения современной науки и очевидные ошибки, но и ряд верных, подсказанных серьезным интересом к этому специальному предмету, прогнозов⁵¹. Как по-

⁵¹ См.: Гиппиус В. В. Чернышевский — стиховед. — В кн.: Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.—Л., 1966, с. 282—291.

лемист своим исследованием стиха Чернышевский переносил борьбу с эстетизмом на территорию противника, доказывая, что и в области «чистой формы» пушкинская поэзия еще только открывает путь для новых исканий.

Подробно и во всеоружии филологической подготовки прочел Чернышевский опубликованные Анненковым черновые редакции пушкинских произведений, как специалист вникая в проблемы изучения их творческой истории.

И рядом со всеми этими конкретными доказательствами истинно глубокого проникновения в «тайны поэзии» и интереса к Пушкину Чернышевский, не без полемических крайностей, борясь все с тем же эстетизированием, скажет, что поэту предварительное и тщательное обдумывание плана произведения и забота о совершенстве формы нужны так же, как нужны они хорошему столяру, уважающему свое ремесло.

Понятия «эстетического идеала», «народности» приобретали для Чернышевского реальный смысл и значение только тогда, когда переносились на почву конкретных общественных интересов. Уже Белинский заметил, как охотно либерально настроенные критики назвали Пушкина «народным поэтом», предложив «фантастическое» и «гадательное» определение самой народности. Определению этому придавался смысл социально позитивный, приглушавший критические запросы, обращаемые литературой к национальной жизни. «Россия по преимуществу — страна будущего»⁵², — возражал против таких определений Белинский. Эти слова и все его рассуждения о народности Пушкина цитирует Чернышевский.

Самая альтернатива «Пушкин или Гоголь» отнюдь не была для Чернышевского умозрительной, в ней-то он и видел историческое выражение интересов национальной жизни. «Борьба «пушкинского» и «гоголевского» направлений есть не больше как историческая форма, в которую облеклось в литературе пятидесятых годов столкновение материалистически-демократической и идеалистически-либеральной тенденций»⁵³. Но это была весьма содержательная «историческая форма». В конкретных условиях литературно-идеологической борьбы этот способ сравнения Пушкина и Гоголя был единственным способом защиты критического направления, социальной содержательности искусства, — вне его невозможно было и новое, углубленное понимание общественно-исторического содержания самой поэзии Пушкина. Условия эпохи были в этом споре о Гоголе и Пушкине не искажающей истину помехой, а конкретным ее выражением, этапом развития.

Пушкин противопоставлялся образу поэта с «сильной, одушевленной субъективным стремлением личностью», в сравне-

⁵² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 336.

⁵³ Покусаев Е. И. Н. Г. Чернышевский. Очерк жизни и деятельности. М., 1976, с. 105.

нии с этим образом он выступал как художник, чья личность «скрывалась и исчезала... за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний»⁵⁴. Читая эти слова Белинского, Чернышевский резче, чем его предшественник, провел разграничительную линию между «созерцательной» и «рефлектирующей» поэзией, но он продолжил именно ту тенденцию, какая содержалась в статьях Белинского. Другого, кроме намеченного Белинским, способа утверждения «гоголевского периода» как исторически нового этапа русская критика не знала — его не было, — и в этом смысле Чернышевский не отступал от историзма Белинского, а продолжал его в новых условиях.

Для современного исследователя границы принципа историзма, как его понимал Чернышевский, обнаруживаются в тех случаях, где общественные критерии своего времени Чернышевский считает мерой всеобщей. Он ищет в прошлом то, что особенно ценно для настоящего, иногда совмещая вчерашнее и сегодняшнее. Этот принцип аналогий, сохраняя картину поступательного развития, иногда существенно меняет конкретно-историческое соотношение идей и явлений. Нельзя сказать, что таких ошибок не было и у Белинского. Однако его учение о пафосе поэта и исследовательской позиции критика, призванного осмыслить мир художника, не нарушая его собственных законов, принадлежит к классическим принципам эстетики. Нельзя забывать и того, что исследовательская задача Белинского, изучавшего генеалогию и предпосылки возникновения поэзии Пушкина как нельзя более способствовала уточнению принципов историзма. Цель Чернышевского иная.

Идея поступательности у Чернышевского порою отменяет самую постановку вопроса о самостоятельной значимости предшествующих этапов движения сравнительно с последующими. В области искусства это было вопросом об уникальной неповторимости больших явлений художественного творчества, их вечной жизни. Предметом же внимания Чернышевского в статьях о Пушкине была идея относительности, власти времени, простирающего свои законы и на гениальные явления искусства. По самой постановке исследовательской задачи Белинский шел через русскую поэзию к Пушкину, а Чернышевский уходил от Пушкина, утверждая плодотворность гоголевского новаторства. Однако пути Белинского и Чернышевского сближались, и сближение это происходило именно в области проблем историзма.

Статьи Белинского о Пушкине явились образцом проникновения критической мысли в специфическую природу художественной правды, теми страницами в истории русской критики, освоение которых для Чернышевского не закончится, а только начнется его статьями о Пушкине.

⁵⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 346.

«Материалы для биографии А. С. Пушкина прочитаны Чернышевским «через Белинского». У исследователей, обращавшихся к спору о Пушкине в середине 50-х годов, имя Анненкова появляется не случайно. В идейной борьбе за «гоголевское» или «пушкинское» направление ему принадлежала роль весьма заметная. На все главные вопросы этой дискуссии ответы его были противоположны решениям Чернышевского, однако среди противников Чернышевского Анненков занимает место особое.

Вспоминая о Белинском в заключительных строках «Материалов для биографии Пушкина», П. В. Анненков видел смысл его суждений о поэте совсем не в том, в чем находил его Чернышевский. Имея в виду поэзию Пушкина в целом, Анненков писал: «Общий голос уже прежде нас определил ее значение, назвав ее исключительно художническим созерцанием природы и человека»⁵⁵. Исключительно художническое созерцание здесь понималось как величайшее и безусловное достоинство Пушкина, верно угаданное Белинским. Оговорками и отступлениями великого критика, с точки зрения Анненкова — в противоположность мнению Чернышевского — являлись все замечания о преимуществах «гоголевского направления». Однако в Анненкове Чернышевский видел далеко не только потенциального своего противника. Он был и союзником: был для него прежде всего ученым, собравшим богатейший материал о жизни и творчестве Пушкина.

«Образцовой биографией» назвал труд Анненкова Чернышевский. Выход в свет анненковского собрания сочинений поэта он приравнивал к другому знаменательному событию начала 1855 года — юбилею Московского университета. В этом позитивном пафосе отзыв критика «Современника» совпадал с мнениями широкого круга литераторов и ученых (историков, филологов, библиографов) — с благоговейным отношением к анненковским занятиям следившего за всеми их этапами Тургенева, с интересом к этому труду Некрасова, с весьма благожелательными откликами на него М. Н. Погодина, С. А. Соболевского, М. Н. Лонгинова, Л. Н. Майкова. Однако следует признать, что общее мнение об анненковском издании Пушкина и его «Материалах» — «подвиг не только литературный, но и общественный» — мнение, выраженное единодушно, по-настоящему полно и глубоко подтверждено и обосновано было именно Чернышевским. Признание выражали мно-

⁵⁵ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин А. С. Собр. соч., т. I. СПб, 1855, с. 431. Далее: Анненков П. В. Материалы. См. об этом: Егоров Б. Ф. Русская литературная критика 1848—1861 гг. Л., 1967, с. 28—32.

гие — перу Чернышевского принадлежал обстоятельный разбор самого труда. Известно, что для своего времени это был самый полный свод фактов биографии и творческого пути Пушкина, до Анненкова — фактов разрозненных, рассыпанных по разным изданиям, иногда малодоступным, сведений забытых или неизвестных. Чернышевский отдал действительную дань исследовательской добросовестности Анненкова и объективной полноте воссозданной им картины трудов и дней поэта.

Отдал дань Чернышевский и благородной настойчивости, терпеливой, но твердой неотступности, с какой вел Анненков свою известную в кругу литераторов «тяжбу» с цензурой⁵⁶. Чернышевский намекал на трудности, вставшие на пути Анненкова, когда писал, что редактор и издатель нового собрания сочинений Пушкина вполне исполнил все, «что мог исполнить», представил «лучшее издание, какое можно сделать в настоящее время». В изъятой цензурой строке выражалась благодарность человеку «энергически проведенному свое предприятие через все затруднения»⁵⁷.

Чернышевского занимала мысль о возможности появления в России биографии великого человека, описания, полного по фактическому составу, объективного, глубокого по общественной проблематике. Его мысли в этом направлении оказались созвучны с раздумьями Тургенева по поводу затруднений, испытанных Анненковым в виду цензурных запретов. Несоответствие между величайшей национальной утратой, чем явилась смерть Пушкина, и ничтожностью внешних причин и поводов, официально дозволенных для объяснения этого трагического события, — было ясно всем. Анненков писал Тургеневу о герое своего повествования: «Он в столице, он женат, он уважаем — и потом вдруг он убит. Сказать нечего, а сказать следовало бы, да ничего в голову не лезет. И так, и сяк обходишь, а все в результате выходит одно: издавал Современник и участвовал в Библиотеке. Из чего было хлопотать и трубы трубить? Совестно делается. Бессилие свое и недостаток лучшего писательского качества — изложения твердого и скромного вместе, чтобы всем легко было читать, — видишь как 5 пальцев»⁵⁸. В ответе Тургенева содержался совет, позволивший Анненкову при точном изложении известных фактов, не вызывавших цензурных запретов, еще раз натолкнуть читателя на мысль о невосполнимости национальной потери, понесенной Россией. Проблемы научной биографии при-

⁵⁶ «Издание Пушкина 1855 года в полном его составе висело на волюшке вплоть до своего появления», — писал П. В. Анненков. (См.: Анненков П. В. Любопытная тяжба. — В кн.: П. В. Анненков и его друзья. СПб, 1892, с. 424).

⁵⁷ ЦГАЛИ, ф. № 1, оп. 1, ед. хр. № 20, л. 24.

⁵⁸ Цит. по кн.: Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929, с. 292.

обретали особую остроту: «Истинная биография исторического человека у нас еще не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения цензуры, но даже с точки зрения так называемых приличий. Я бы на Вашем месте, — писал Тургенев Анненкову, — кончил ее ex abrupto — поместил бы, пожалуй, рассказ Жуковского о смерти Пушкина — и только. Лучше отбить статуе ноги — чем сделать крошечные не по росту»⁵⁹. И Анненков следует совету Тургенева, помещая в центр своего внимания единственный документ — свидетельство Жуковского о последних часах жизни поэта. В композиции первой статьи Чернышевского этому документу придается то же значение.

Чернышевский напоминает читателю об этом общем для всех вопросе — о причине гибели Пушкина, понимая, что самое перечисление немногих и всем уже известных обстоятельств дуэли и смерти Пушкина явится, при значительности фактов всего предшествующего повествования, скорее побуждением интереса к смыслу жизни великого человека, чем ответом на вопрос. Когда Чернышевский предполагал «обработать с общей точки зрения» представленный Анненковым материал, он в достаточной мере знал об испытанных редактором нового собрания сочинений Пушкина цензурных притеснениях. Затянувшееся в виду цензурных препятствий «нетерпеливое ожидание» этого издания, о чем Чернышевский говорил в начале своих статей, само по себе напоминало об общих правилах и приемах цензуры, менее всего склонной дозволить в данном случае сколько-нибудь свободную интерпретацию фактов⁶⁰. С такого рода запретом Анненков столкнулся в самом начале работы⁶¹. Но Чернышевский находил у Анненкова и такое освещение событий, которое не удовлетворяло его уже не вследствие вызванных посторонними причинами умолчаний или намеренной нейтрализации изложения некоторых фактов. Чернышевский сталкивался и с умеренно-либеральным взглядом на Пушкина самого Анненкова.

Он испытывал, например, неудовлетворенность, читая строки, посвященные отношениям Пушкина и декабристов. Чернышевский не располагал фактическими основаниями для вывода о разносторонности и стойкости этих отношений и разделял ошибочное представление и Белинского, и Анненкова, что самая «натура» Пушкина, готового не к роли трибуна, а к со-

⁵⁹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми тт. Письма. Т. 2, М.—Л., 1961, с. 78.

⁶⁰ П. В. Анненкову было дозволено излагать факты биографии Пушкина «без всяких прибавок и неуместных умничаний по их поводу». (См. кн.: П. В. Анненков и его друзья. СПб, 1892, с. 424).

⁶¹ П. В. Анненков сообщал Тургеневу, что «кончил биографию» 4 ноября 1852 г., предисловие ко II тому обозначено сентябрем 1853-го года. Первый том анненковского издания вышел в свет в 1855 году, а VII, дополнительный том, появился в печати в 1857 г.

зерцанию художника, не располагала его к сколько-нибудь глубоким связям с людьми, взявшими на себя задачу политического и социального переустройства жизни России. Однако отношение Чернышевского к этому обстоятельству было принципиально иным, чем у его предшественников. Чернышевский принял для себя критерием оценки деятельности великой личности связь с «идеями века» — по контексту — идеями декабристов. В концепцию творчества Пушкина у него вошла тема и проблема декабризма, еще не подкрепляемая в его сознании достаточным для позитивного ее решения составом фактов, но взятая им как отправная точка отсчета и мера определения общественного значения Пушкина в «истории русской образованности».

У Анненкова Чернышевский читал выделенную курсивом строчку из письма Пушкина по поводу «Бориса Годунова»: «Нововведения опасны, и кажется не нужны»⁶². Курсив Пушкину не принадлежал, и всему этому афористическому пушкинскому замечанию у Анненкова придавался более широкий, чем в первоисточнике, смысл. Анненков говорил о благодетельном переломе в сознании поэта, плодотворной перестройке его мирозерцания со времени работы над «Борисом Годуновым». Это было произведение исторически и проблемно соотношенное с выступлением декабристов. И когда Анненков писал, как со времени «Бориса Годунова», отрешившись от всякого интереса к общественному призванию, Пушкин ушел в себя, не искал более связи с публикой и находил вполне утешение в собственной духовной жизни, исторические обстоятельства, на фоне которых происходили все эти перемены, угадывались легко. По Анненкову, зрелость и отказ от увлечений молодости, — а среди них были и вольнолюбивые стихи, — находились у Пушкина в прямой связи. В противоположность Анненкову Чернышевский принимает мерилom зрелости Пушкина не его «поправление», а, напротив, степень близости поэта к освободительным идеям эпохи.

Анненков находил возмужание таланта Пушкина в отказе от тех «мелких стихотворений», которые принесли ему когда-то славу, но не были истинным выражением его мирозерцания. Чернышевский делает выбор иной — в пользу вольнолюбивых устремлений поэзии Пушкина. Спор с Анненковым был начат еще во второй статье; когда после выступлений Дружинина и Григорьева стало ясно, какие именно стороны анненковских «Материалов» они поддерживают и на какую группу фактов опираются, Чернышевский этот спор развернул и продолжил.

⁶² Анненков П. В. Материалы, с. 147. Строка из «Письма к издателю «Московского Вестника» (январь — февраль 1828), при жизни Пушкина не публиковавшегося.

Две полемические темы обозначил он в своих возражениях Анненкову: отношение к Пушкину критики 30—40-х годов и периодизация творческого пути поэта. И то, и другое определялось им в зависимости от связи Пушкина с освободительными идеями.

Словно сквозь увеличительное стекло поданы Чернышевским несколько строк из «Материалов» Анненкова, где говорилось о связи Пушкина с декабристами: «Не разнообразный гений его, не прелесть картин увлекали современную молодежь, а звучные стихи, изображавшие их мысль. Можно утвердительно сказать, что имя Пушкина всего более сделалось известно в России по некоторым его мелким стихотворениям, ныне забытым (?), но в свое время ходившим по рукам во множестве списков»⁶³. Поставив в цитате своей вопросительный знак и обратив внимание читателей на то, что этот факт биографии Пушкина забытым быть не может, Чернышевский пояснил скрытую тему, затронутую в данном случае Анненковым: «Речь идет о тех приятельских отношениях, памятником которых осталось стихотворение «Арион»⁶⁴. Примечательно, что стихотворение это не вошло в рассматриваемые Чернышевским тома анненковского издания и увидело свет лишь в дополнительном, седьмом томе издания, вышедшем двумя годами позже статей Чернышевского. Запоздавшую публикацию (хронологически стихотворение принадлежало к материалам II тома) Анненков снабжал комментарием, призванным снять вопрос о связи его с темой декабристов⁶⁵. Напоминалось, что стихотворение входило в первое посмертное издание и, следовательно, уже тогда признавалось допустимым к печати. Указывалось, что его сюжет имеет чисто антологический, а не индосказательный смысл. Чернышевский говорит о совершенно ином идейно-биографическом источнике «Ариона». Проблема соотношения творчества писателя с освободительными идеями его времени остается для него решающим критерием.

Разделяя неверную мысль о прекращении связей Пушкина с декабристами, Чернышевский делал вывод, что именно это обстоятельство и было причиной охлаждения публики к поэту. Он как бы предлагал читателю встать на точку зрения «молодых людей», сначала увлеченных «звучными стихами, изображавшими их мысль», но вскоре увидевших, что «порывы, навеянные молодостью и так называемым «духом века»,

⁶³ Анненков П. В. Материалы, с. 227—228.

⁶⁴ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 309.

⁶⁵ Впервые стихотворение публиковалось в «Литературной газете» за 1830 год, № 43. «Это владычество и охрану лесни Пушкин и хотел изобразить в своем стихотворении», — писал Анненков, указывая на сюжет античной легенды об Арлоне, использованный Пушкиным, якобы не придававшим ему никакого политического смысла. (См.: Пушкин А. С. Собр. соч., т. VII. СПб, 1857, с. 42).

исчезли сами собой...» из произведений Пушкина. Для публики наступила пора разочарования в поэте, а затем и охлаждения к нему. Статьи Полевого и Надеждина, в которых констатировалось и по-своему разъяснялось такое охлаждение, и были для Чернышевского своеобразным выражением обращенного к поэту общественного мнения. Развернутая в «Очерках гоголевского периода» история русской критики начата была Чернышевским, по существу, уже в третьей статье, когда он подробно рассматривает суждения Полевого и Надеждина о Пушкине.

Чернышевскому важно обратить внимание, что спор о Пушкине не умолкал никогда, — он велся и в 20-х, и в 30-х, и в 40-х годах. И спор этот, по мнению его, являлся не чем иным, как выражением исторического освоения пушкинского наследия. Там, где есть история, существует и подсказываемая временем относительность, там и критика. В вопросе о Полевом и Надеждине продолжался спор об историческом или неисторическом взгляде на творчество Пушкина. Примечательно, что все, кто не соглашался с концепцией Чернышевского, единодушно считали, что в восприятии и прочтении Пушкина ничего спорного уже нет.

А. В. Дружинин писал, что «около имени Пушкина давно уже смолкли все литературные несогласия и воцарилось величавое спокойствие», что «только малое число годов отделяло его от торжественного и полного примирения с читателем» и «только ранняя кончина помешала нашему народному поэту быть истинно оцененным, истинно понятым при жизни»⁶⁶. От незначительных и случайных критических недоразумений, вроде выступлений Полевого и Надеждина, до постижения абсолютной непогрешимости Пушкина и безусловного признания его авторитета — так представлял себе Дружинин движение критической мысли. Спора о Пушкине быть не может — на этом Дружинин настаивает, и Пушкин, при таком к нему подходе, неизбежно противопоставлялся всему, что было исторически иным, — Гоголю и «натуральной школе». Закономерность именно такой причинно-следственной связи подтверждается дружининским сравнением Пушкина и Гоголя: «Пушкин не раз спускался в рудники, из которых добывал золото Гоголь, — между тем, как муза Гоголя не могла и не смогла никогда забираться на ту мировую высоту, куда был во всякое время свободен доступ музе Пушкина»⁶⁷. Не случайно, читая статью Дружинина, Тургенев на своем творческом опыте решавший вопрос о «гоголевском» и «пушкинском» направлении, признавал это сравнение необъективным.

⁶⁶ Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений. — «Библиотека для чтения», 1855, т. 130, № 4, с. 32, 43.

⁶⁷ Там же, с. 77.

Чернышевского Дружинин причислял к ряду «слишком исключительных приверженцев Гоголя», людей, «неспособных разом глядеть на обе стороны вопроса»⁶⁸, т. е. на Гоголя и Пушкина вместе. Спор, с его точки зрения, искусственно создается теми, кто ставит Гоголя выше Пушкина. Стоит только признать безусловный авторитет Пушкина или равно оценить заслуги обоих писателей — и все проблемы решены. Исторической почвы и общественных оснований полемики Дружинин видеть не хотел.

Не видел таких оснований и Ап. Григорьев, хотя по существу своими статьями и вступал в спор о Пушкине с Чернышевским. Решительно поддерживая Дружинина, он признавал Пушкина выразителем безусловного добра, красоты и человечности. Безусловное и историческое оказывались при этом в системе его воззрений категориями противопоставленными. Существенный порок «исторической критики», как писал Григорьев спустя три года после статей Чернышевского, состоит в отказе ее от «действительной точки опоры — души человеческой»⁶⁹. «Опора» мыслилась как нечто неизменное, величина, на которую не простирается власть истории. При общем с Чернышевским интересе к «человеку» как к самому важному предмету эстетических теорий, при одинаково критической настроенности к «гегелизму» и к рассуждениям о развитии «абсолютного духа» в искусстве, отношение к принципу историзма у Чернышевского и Григорьева было принципиально различным⁷⁰. Историческая точка зрения на искусство не удовлетворяла Григорьева потому, что «в сущности исторического воззрения лежит совершеннейшее безразличие нравственное, соединенное с фатализмом, по которому ничто: ни народы, ни лица не имеют своего замкнутого, самоответственного бытия»⁷¹. Переход от относительного к абсолютному был в системе воззрений «исторической критики» действительно одним из трудных и не сразу разрешенных ею вопросов. Но к тому, что Григорьев называл «самоответственным бытием», здесь прокладывался и наиболее верный путь — исторический. Григорьеву же «замкнутое и самоответственное бытие» представлялось началом извечным, способным вопреки всему устоять в волнах переменчивой истории. Историзм как принцип относительности страшит его именно силой заключенного в нем отрицания. Прилагая этот принцип к русской литературе, — писал Григорьев, — «не мудрено понять, в силу чего

⁶⁸ Там же, с. 77.

⁶⁹ Григорьев Ап. А. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства. — Там же, т. 147, № 1, с. 87.

⁷⁰ См. об этом: Антонова Г. Н. Чернышевский и А. Григорьев в 1850-е годы. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 6. Изд-во Саратов. ун-та, 1971, с. 77—90.

⁷¹ Григорьев Ап. А. Указ. соч. — Библиотека для чтения, 1858, т. 147, № 1, с. 89.

Гоголю ставится монумент на обломках статуи Пушкина»⁷². С точки зрения историзма, все относительно: «каждая ложь есть относительная истина», а значит и «нет истины». «Нет, стало быть, и красоты безусловной, и добра безусловного»⁷³, — это и кажется Григорьеву отрицанием идеала как такового. Он ищет критериев позитивных и неизменных и в истории стремится также увидеть не относительные величины, а подтверждение незыблемости начал добра и красоты: «Верить в историю, значит верить в вечную и неперемennую правду»⁷⁴. Чернышевский знал, что неперемennая правда — абстракция.

Все до сих пор сказанное о Пушкине, по мнению Григорьева, отмечено зыбкой относительностью, в суждениях Белинского он указывает только на пример, с его точки зрения, отрицательный, — на произвольность толкования критиком «Евгения Онегина». Дружину, увековечившему в творческом облике Пушкина все, неподвластное времени, Григорьев воздает «честь и славу», перепечатку же в «Современнике» эпиграмм на Пушкина, когда-то помещенных в «Новом живописце общества и литературы», приложении к «Московскому телеграфу» Н. Полевого, объявляет недопустимой хулой на поэта.

Воскрешение этих страниц «Нового живописца», несомненно, было рассчитанным полемическим приемом Чернышевского. В полемике «Литературной газеты» и «Московского телеграфа» он обратился к эпизоду, в глазах почитателей Пушкина в наибольшей мере компрометировавшему Полевого, дерзнувшего изобразить Пушкина в эпиграммах под именами Низкопоклонина и Мотылькова. Чернышевский снимает обвинение с Полевого, предлагая выслушать «и другую сторону», напомя, что и «сам Пушкин часто бывал не менее резок». Оскорбительным намекам на низкопоклонство «в передней у вельможи», которые позволил себе Н. Полевой по адресу Пушкина, Чернышевский противопоставлял напоминание о слишком «нелитературном ударе», нанесенном «Литературной газетой» «Московскому телеграфу». Речь шла о статье «Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии», где проводилась параллель между критикой литературного аристократизма, постоянно ведшейся журналом Полевого против «Литературной газеты» и революционными выступлениями против аристократов уже не на газетной полосе, а на площади⁷⁵. Удар, нанесенный эпиграмма-

⁷² Там же, с. 88.

⁷³ Там же, с. 95.

⁷⁴ Там же.

⁷⁵ «Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия (которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приуточили критики: *Аристократов к фонарю* и ничуть не забавные куплеты: *«Повесим их, повесим. Avis au lecteur»* — предупреждение читателю (франц.). («Литературная газета», 1830, № 45, 9 авг.).

ми «Нового живописца», на которые Пушкин отвечал не менее колкими эпиграммами, кажется Чернышевскому, по сравнению с приведенной в «Литературной газете» параллелью, почти безобидным. Он не имеет возможности по цензурным условиям сколько-нибудь подробно коснуться этого эпизода полемики, да и не располагает всей полнотой фактов для ее освещения. Но симпатии его на стороне «демократической». В освещении полемики 1830 года Чернышевский предлагает объективнее отнестись к позиции Н. Полевого, сочувственно напоминая его меткие слова против «помещиков парнасских» и «знаменитых друзей», оградившихся от критики «дворянскими грамотами и дипломами»⁷⁶. В этой расстановке идейных акцентов у Чернышевского нельзя не почувствовать аналогий с современностью. С точки зрения конкретно-исторической, в его обзоре недостает многих важных звеньев. Он не принимает, например, во внимание, что «литературный аристократизм» часто был в 30-х годах формой выражения оппозиционных настроений и в этом качестве являлся объектом постоянных нападок Ф. Булгарина, что демократизм Полевого, с другой стороны, мирно уживался с монархическими его взглядами. Чернышевский не располагал всеми материалами, характеризующими позицию Пушкина в этой полемике⁷⁷. Однако при всей неполноте конкретно-исторических деталей очерк литературной борьбы 30-х годов у Чернышевского организуется все же единым историческим заданием: «Обыкновенно во всем обвиняют издателя «Телеграфа», совершенно оправдывая приверженцев Пушкина, тем более самого Пушкина. Факты не подтверждают этого приговора, составленного исключительно на основании авторитета самого Пушкина»⁷⁸.

Спорил Чернышевский с Анненковым и в оценке критических статей Надеждина о Пушкине. Историческая направленность интереса Чернышевского к Надеждину выражалась уже в его стремлении «сказать несколько слов о существенном смысле статей экс-студента, — смысле, которого часто не замечают, останавливаясь на внешних мелочах»⁷⁹. Уже самая задача проследить внутреннюю логику суждений Надеждина, рассмотрение системы предъявляемых им к литературе требований делала надеждинские статьи в глазах Чернышевского необходимым звеном исторического развития критической мысли. Его исследовательская объективность здесь не идет в сравнение с традиционной односторонностью изложения во-

⁷⁶ «Московский телеграф», 1830, т. 34, с. 243.

⁷⁷ Не могла быть учтена Чернышевским не вошедшая в издание Анненкова статья Пушкина «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», в которой выражалось более широкое понимание полемики 1830 года, чем в статье «Новые выходки...»

⁷⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 482.

⁷⁹ ЦГАЛИ, ф. № 1, оп. 1, ед. хр. № 20, л. 34.

проса у Анненкова, для которого Надеждин оставался только высокообразованным ученым педантом, не нашедшим в традиционных классификациях искусства места для пушкинского гения.

Цензурные изъятия более всего коснулись в работе Чернышевского именно страниц, посвященных Надеждину, и не случайно: Чернышевский взял на себя задачу восстановить истинные заслуги критика и журналиста, чья деятельность, прерванная закрытием «Телескопа» и ссылкой его редактора, так и не возобновилась в последующие годы с прежней энергией. Чернышевский писал о глубокой философской обоснованности суждений Надеждина, последовательности и принципиальной прямоте его взглядов на литературу, обращаясь к живому свидетелю литературных споров о Пушкине (смерть Надеждина последовала через год) и ценя в нем критика, свободного от «безграничного и безотчетного» восторга перед поэтом и предъявившего его произведениям критерий высокой содержательности. Закономерность «мрачных отзывов» экзистента Надоумко вырисовывалась перед Чернышевским по мере сравнения их с последующими суждениями Белинского, в которых он находил преемственную связь с высказываниями Надеждина.

С точки зрения конкретно-исторической, и в оценке Надеждина Чернышевский неправомерно сближал разные эпохи: в тридцатых годах Надеждин понимал под «содержательностью» совсем не то, что Белинский в середине сороковых. Он не принимал во внимание, что преемственные связи Надеждина и Белинского, верно им угаданные, требуют в этом вопросе, помимо указания на точки соприкосновения, и более строгого различения взглядов двух критиков. Однако в общей оценке Надеждина самое направление взгляда Чернышевского, стремившегося с исторической точки зрения подойти к заслугам и ошибкам Надеждина, проникнуть в их логику и понять необходимость выдвинутых критиком идей, нельзя не признать вполне правомерным.

Чернышевского в особенности интересовали те страницы критики Полевого и Надеждина, где говорилось об охлаждении интереса публики к Пушкину. Регистрации этого явления в критике и попыткам его объяснить Чернышевский придавал особое значение, полагая в свою очередь, что в ослаблении прежнего энтузиазма и интереса к поэту повинен сам Пушкин, все более уклонявшийся от тревожных вопросов своего времени, когда живая сопричастность событиям уступала у него место историческим трудам, и объективная бесстрастность тона окрашивала все последние его произведения. Оставаясь в пределах сообщенных Анненковым фактов жизни и творческого пути Пушкина, Чернышевский проводит внутреннее переосмысление его системы объективных данных, и ря-

дом с анненковским Пушкиным возникают черты иного творческого портрета — Пушкина Чернышевского.

Завершением полемики с Анненковым явился вопрос о периодизации творчества поэта. Речь шла все о том же последнем десятилетии его творческого пути, — вызвавшем особое внимание Чернышевского уже при чтении статей Белинского. Спадом или восхождением явились эти годы для Пушкина? Ответ проецировался на оценку пушкинского наследия в его отношении к современности.

В концепции Анненкова 30-е годы предстали как новый самостоятельный этап творческого развития Пушкина, вершина нравственно-философских и исторических его идей. Пушкин 30-х годов открыл для русской литературы «новый и обширный горизонт».

Этот вывод имел особое отношение к традиции Белинского. Объективно Анненков начал свои разыскания там, где Белинский остановился. Центральная проблема статей Белинского — путь русской поэзии от романтической идеализации к воспроизведению действительности — решалась в основном на материале творчества Пушкина 20-х годов и «Евгения Онегина». Произведения 30-х годов являлись для Белинского главным образом подтверждением ранее сделанных им выводов о пафосе пушкинской поэзии. При известной недооценке творчества последнего десятилетия, в особенности прозы, Белинский не упускал из поля зрения и этот период, чаще всего присоединяя все, созданное Пушкиным в конце его жизни, к общим идеям пушкинской поэзии, уже определившимся в 20-е годы. Последний этап деятельности Пушкина не был для Белинского потерян, но все сказанное о нем являлось или кратким напоминанием предшествовавшего, или заявкой для предстоящих размышлений о Пушкине. Анненков шел дальше. Он изучал как раз те «видоизменения самостоятельной творческой его мысли», которые Белинским у Пушкина пристально не рассматривались. Преемственность между Белинским и Анненковым в определенной мере предопределялась единством объективной проблематики, ими изучаемой, преемственностью развития самих идей и тем в творчестве Пушкина.

Однако мысль Анненкова о плодотворных открытиях Пушкина в 30-е годы, развивавшая вывод Белинского о реалистическом направлении поэзии Пушкина, становилась вместе с тем опровержением замечания Белинского о внутренней завершенности его творческого пути, — идеи, подхваченной Чернышевским. Вывод Анненкова разрушал мнение, что Пушкин, не предложив в последние десять лет никаких принципиально новых замыслов, как бы при жизни уступил место Гоголю. Анненков не разделял отрицательных суждений Дружинина о гоголевской традиции, у него нет и тех резких замечаний о губительном влиянии Гоголя на литературу, какие Дружинин

противопоставлял Чернышевскому. Но итоги размышлений Анненкова, убеждавшие, что пушкинская традиция имеет большое будущее, в условиях альтернативной постановки вопроса о Пушкине или Гоголе, также не могли не противостоять воззрениям критика «Современника». Высказанная Анненковым мысль, что Пушкин еще очень многое обещал дать для русской литературы, сразу же была полемически поддержана Дружининым и Григорьевым, у них она превращалась в лозунг литературной борьбы⁸⁰.

Спорить с Анненковым Чернышевскому было трудно; в пользу того, что творческий путь Пушкина не вступил в стадию своего завершения и поэт шел к новым свершениям, у Анненкова говорили факты. Чернышевский с добросовестностью ученого ищет фактов, способных доказать другое, но их мало, и они случайны. Избрав для критики Анненкова этот путь, Чернышевский необходимо должен был заострить тезисы Белинского, на которые он опирался. То, что было недооценкой Белинского, у него становится отрицанием. Однако для диалога с Анненковым позиция отрицания была недостаточна.

«Он и в последнее время, — писал Анненков о Пушкине, — еще далеко не достиг предела, какой положен был собственной его природой и по оставшимся начаткам легко видеть обширные размеры, какие мог бы он принять впоследствии. Обозревая всю деятельность его вполне — невольно приходишь к заключению, что мы имеем только приготовление Пушкина к последнему фазису развития его, который должен был и определить все значение его, и довершить весь его образ»⁸¹. Это был вывод, к которому обязывал Анненкова исследовательский долг ученого, впервые обозревшего по первоисточникам начинания гения, вступившего в новую пору жизни. Отмечая вслед за Белинским у Пушкина «близость к действительной жизни», Анненков впервые предложил посмотреть на историзм Пушкина как на особое свойство его реалистического художественного метода. Он исправил ошибку Белинского, писавшего о несамостоятельности Пушкина в решении философско-исторических проблем в «Борисе Годунове», и развил верную мысль об этапном значении этого произведения, наметившего пути дальнейшего мировоззренческого самоопределения Пушкина. «Борис Годунов» — зерно, «из которого выросли почти все его исторические и большая часть литера-

⁸⁰ А. В. Дружинин писал, что последние годы творчества Пушкина «не окончание поэтической деятельности — но скорее начатки чего-то великого» и что Пушкин «был поэтом начинающим» (Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений. — «Библиотека для чтения», 1855, т. 130, с. 93, 100. То же у Ал. Григорьева. (См.: Григорьев Ал. Замечания об отношении современной критики к искусству. — «Москвитянин», 1855, т. IV, № 13—14, с. 144.

⁸¹ Анненков П. В. Материалы, с. 430.

турных убеждений»⁸². Одним из первых Анненков попытался определить значение пушкинских открытий в прозе, предложив свое объяснение, почему рядом с прозой Гоголя прозаические произведения Пушкина часто остаются для читателя менее заметными и далеко не в полной мере оцененными: «Очерки и краски повестей Белкина чрезвычайно нежны и после яркой живописи Гоголя надо уже внимание и зоркость любителя, чтоб оценить их по достоинству»⁸³. Если это сравнение еще и не все объясняло в литературной судьбе пушкинских прозаических произведений, то несомненно проливало некоторый свет на особенности читательского их восприятия в 40—50-е годы и содержало в себе самую постановку проблемы изучения Пушкина-прозаика.

Основу представлений Анненкова о 30-х годах как особом периоде пушкинского творчества составлял его широкий взгляд на единство нравственно-философских и эстетических исканий Пушкина в течение этого десятилетия. Исследователь поднимается над жанровым своеобразием отдельных произведений Пушкина, множеством развитых им тем и замечает, как соединились у Пушкина история и современность. Он пишет о принципах художественного видения жизни Пушкиным-реалистом. В анненковском обозначении этого периода как «эпического» отмечено художественное выражение того, что на философском языке он называл признанием необходимости действительности в собственных закономерностях ее развития. В пушкинском мировосприятии в 30-е годы Анненков находит именно эти философские истоки его реалистического искусства. Устойчивой официозной версии о примирении Пушкина с царем и существующим общественным укладом жизни, легенде, надолго закрывшей пути к истинному осознанию содержательной ценности произведений 30-х годов (их эстетические достоинства как «дивная красота» признавались всеми), Анненков противопоставил главное — внутреннюю логику развития самой художественной мысли Пушкина.

Однако нравственно-философское прочтение Анненковым произведений 30-х годов не могло не отразить его собственной мировоззренческой ориентации. Пушкинскую объективность и признание действительности в ее необходимом развитии Анненков истолковывает как гармоническую удовлетворенность, поиски равновесия между личностью и миром. Понятие «объективности» Пушкина у Анненкова в этом смысле давало прямой повод противникам Чернышевского для противопоставления пушкинской «эпичности» гоголевской сатиры⁸⁴.

⁸² Анненков П. В. Материалы, с. 131.

⁸³ Там же, с. 292.

⁸⁴ А. В. Дружинин писал, что Пушкин «более чем кто-либо из поэтов умел примирять противоположности и становиться выше всех скоропроходящих вопросов об искусстве». Признавая, что «наша текущая словесность

При всей близости некоторых философских идей и тем Анненкова проблематике статей Белинского различие их позиций в отношении к нравственно-философскому содержанию гуманизма Пушкина было для Чернышевского очевидным. Всего яснее такое различие выступало при сравнении их взглядов там, где внешне они совпадали. Где и тот, и другой давали, например, позитивную оценку философского содержания поэмы «Медный всадник». Белинский так же высоко ценил пушкинскую объективность и глубину постижения проблемы исторической необходимости. Но самое понимание исторических противоречий, места и роли в них рядовой и великой личности у Белинского и Анненкова различно. Белинский увидел в поэме величайший драматизм истории и его толкование поэмы — будь оно противопоставлено соответствующим страницам Анненкова — явилось бы лучшим способом критики анненковской концепции 30-х годов.

Восприняв эту концепцию главным образом как выступление против гоголевского направления, Чернышевский не давал в своей трактовке 30-х годов критики позиции Анненкова, подобной взгляду Белинского. Он считал искусственной и его интерпретацию фактов, и самую их группировку, доказывая, что этот период вообще не содержал никаких новых исторических идей. Но обосновать подобный вывод вообще было невозможно. Последовательность, с какой проводил Чернышевский свое намерение, лучше всего это доказывает.

Он указывал, например, что Пушкин в последнее время отдавал предпочтение прозе, почти оставив поэзию, — но у него не было оснований говорить о незначительности самих поэтических произведений этого времени, пусть и сравнительно немногочисленных, но глубоко новаторских. Отмечалось, что и в прозе последних лет преобладали у Пушкина не художественные произведения, к которым он сам уже не питал подлинного интереса, а исторические труды, — но и здесь основных фактов Чернышевскому недостает⁸⁵.

В исторических работах Пушкина Чернышевский также

изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением», он противопоставлял Гоголю Пушкина: «Перед нами тот же быт, те же люди — но как все глядит тихо, спокойно и радостно!» (См.: Дружинин А. В. Указ. соч. — «Библиотека для чтения», 1855, т. 130, с. 76, 79).

⁸⁵ Иногда Чернышевский прибегает к свидетельствам, не охватывающим всей полноты вопроса, решить который он берется. Так, мысль, что Пушкин в середине 30-х годов не придавал большого значения художественным произведениям, принимаясь за них ради денег и рассчитывая возможно быстрее их закончить, чтобы предаться трудам более значительным, т. е. историческим, подтверждается письмом Пушкина от 30 июля 1833 года управляющему III Отделения А. Н. Мордвинову. Здесь поэт писал о необходимости отъезда в Оренбург для быстрого завершения «Капитанской дочки» и возвращения к историческим занятиям, но мотивация отъезда имела не тот смысл, какой придавал ей Чернышевский. (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XV, с. 70).

находил только повторение общепринятых истин, вроде признания Петра великим человеком, — но он не подкрепляет доказательствами свое заключение, видимо испытывая некоторые колебания. Об этих колебаниях свидетельствуют, например, его оценки того же «Медного Всадника». Эту поэму он то причисляет к ряду «холодно бесстрастных» произведений Пушкина, то делает для нее исключение. Примечательно, что и заслужившие в глазах Чернышевского полное признание — «Русалка» и «Сцены из рыцарских времен», — произведения, по его мнению, совсем не отмеченные печатью бесстрастия, не рассматриваются им сколько-нибудь подробно, и, видимо, именно потому, что в них Чернышевский видит исключение из признанного им правила.

Изучением творчества Пушкина 30-х годов Анненков подходил к решению целого круга новых проблем, относившихся к определению путей реализма в 40—50-е годы. Не изменившийся в принципиальной его сущности со времени Белинского, вопрос об отношении к гоголевскому критическому началу в середине 50-х годов в самом литературном развитии все более сопрягался с интересом к разным формам реализма, замеченным уже в последних обзорах Белинского, связывался с проблемами освоения реалистическим искусством несатирических типов повествования. В статьях 1848—1856 годов «Заметки о русской литературе», «О мысли в произведениях изящной словесности», «Старая и новая критика» Анненковым предложены размышления о специфике художественной мысли в реалистическом произведении, об отношениях искусства и критики, — ряд центральных вопросов теории литературы, вступавшей в новый период развития реалистического направления.

Статьи Анненкова содержали теоретическое освоение объективных процессов литературного движения, и пушкинская традиция в осознании их имела для него немалую роль. Анненков высказал критические замечания по поводу тех произведений и того состояния литературы, когда повторение найденных «натуральной школой» путей освоения открытий Гоголя становилось иногда затверженным уроком, вырождалось в литературность, уже не захватывая новых явлений жизни и не предвещая новых идей и форм для предстоявшего развития самой сатиры. В суждениях его о «натуральной школе» проявилась и тенденциозная односторонность, как это было, например, в разборе романа Григоровича «Рыбаки», рассказов Писемского. Он не отдал здесь должного позитивной стороне опыта порожденного Гоголем направления. Но Чернышевский не мог не видеть и больших отличий анненковской позиции в вопросе о Пушкине и Гоголе от соответственных высказываний и оценок Дружинина и Дудышкина. Указывая в письме Тургеневу на существенный порок эпигонов «эстети-

ческой критики» («Боткина с братиею»), который состоял в отрыве от подлинно важных проблем литературы и жизни, а потому и в перепадах Белинского, неизбежно отзывавшихся у этих критиков «банальной пошлостью и бестолковым плагиатом»⁸⁶, Чернышевский не называл, да и не имел оснований назвать среди упоминавшихся им имен Анненкова.

В статьях Анненкова — и нередко там, где речь идет именно о Пушкине — имеется достаточно прямых поводов для отнесения его к идейным противникам Чернышевского из либерально-дворянского лагеря. Так оно в конечном счете и было. И все же его воззрения не должны приниматься только как фон, на котором четче проясняется позиция Чернышевского. При ближайшем рассмотрении оказывается, что его взгляды на искусство — существенное слагаемое идейной жизни эпохи. Однако признание их таким слагаемым еще не решение вопроса: конкретно-историческая истина еще должна быть уточнена. Когда внимание обращалось преимущественно на тонкость и верность отдельных суждений Анненкова о Пушкине и литературе 40—50-х годов, его высказывания воспринимались иногда как некая поправка и дополнение к статьям Чернышевского, — чем они, по сути дела, также не являлись. Понятие «слагаемого», оказывается, в свою очередь требует корректировки, а суммирование менее всего характеризует итоги идейной борьбы. Система воззрений Анненкова скорее всего была не слагаемым, а противопоставленной взглядам Чернышевского идейной составляющей эпохи, в продуктивном взаимодействии с которой, вырабатывались и все «за», и все «против» статей о Пушкине в «Современнике».

Анненков глубоко убежден, что Пушкин — поэт мысли. Благодаря ему «русская публика познакомилась с изяществом не одних только стихов, как начинают думать некоторые критики, а с изяществом образа мыслей»⁸⁷. Тезис, что Пушкин — поэт мысли и что его мысль необычайно богата и не обнаруживает своей неполноты перед вопросами современности, полемически защищается и Григорьевым, и Дружининым. Исходя из положения: «Жизнь таланта есть правда», — Григорьев считает Пушкина «истинно-художнической и, следовательно, в высшей степени правдивой и зрячей натурой»⁸⁸. Мнение, что «искусство должно осмысливать жизнь, определять разум ее явлений»⁸⁹, принято как общее положение, после критики 40-х годов уже не требующее новых доказательств. Существенные различия начинались с момента конкретизации во-

⁸⁶ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. XIV, с. 345.

⁸⁷ Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. СПб, отд. II, 1879, с. 14.

⁸⁸ Григорьев Ап. О правде и искренности в искусстве. По поводу одного эстетического вопроса. — «Русская Беседа», 1856, № 3, с. 6, 16.

⁸⁹ Там же, с. 15.

проса о самом направлении мысли художника и об историческом суде над ценностями искусства.

Творчество Пушкина, который «никогда не мог отделиться от исторического и действительно быта родины», для Анненкова — дело жизни великого человека. Даже лирический поэт выражает «чувства, принадлежащие эпохе и ею порождаемые», пренебречь ими «поэт может только с потерей лучшего, важнейшего значения своего»⁹⁰.

Проблема связи художественности и правды для Анненкова традиционно идет от Белинского, сказавшего так много «горячих и правдивых слов о важности искусства в народной жизни, о значении его как учителя и вековечных законов, ему присущих»⁹¹. Деятельность Белинского «сопровождалась неизбежным падением в общественном мнении всего литературно-ложного, слабого, искусственно-пронырливого», «сделалась достоянием публики, обратилась в народный капитал» именно потому, что условием художественности для него всегда являлась «полнота и жизненность содержания»⁹². Понятия учительства, нравственного пафоса искусства и «вековечных законов», искусству присущих, для Анненкова нерасторжимы. Высшее выражение художественности как таковой он видит в правдивом, реалистическом искусстве, и все «вековечное» в нем — это общие принципы строения самой образной мысли писателя-реалиста.

Художественность для Анненкова — понятие разностепенное, художественное внутри себя расчленено и не однородно, хотя критерий различения искусства и не искусства — неизменен. К подобной дифференциации Анненкова подводит опыт самого соотнесения Пушкина с рядовыми явлениями литературы — неравноценность их совершенно очевидна, но понятна и необходимость существования произведений рядовых, совершающих «спорную работу современности». При этом кажущееся несоизмеримым Анненков предлагает измерять и ценить посредством высшего эталона искусства.

В этом случае он также опирается на опыт Белинского, чье понимание художественности двигалось от учения о «гении» и «таланте» к осмыслению опыта «натуральной школы» и к признанию «беллетристики». Анненков пишет о закономерности признания натуральной школы Белинским. Требования критики не могут быть ориентированы только на высшие проявления искусства, — тогда и в самом искусстве останется место только гениальным художникам. Вначале понятие художественности и выросло «у старой критики до идеального представления, которое почти исключало писателей с обык-

⁹⁰ Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, с. 8.

⁹¹ Там же, с. 4.

⁹² Там же.

новенными, человеческими способностями и нуждалось в гениях, колоссальных талантах для своего воплощения в каком-либо произведении»⁹³. Такой взгляд не мог не оставлять «в сиротстве и неуважении многие явления, принесшие свою долю нравственной пользы»⁹⁴. Признание «натуральной школы», когда художественность стала пониматься скромнее, а следовательно и ближе к истине», Анненков считает подсказанным самой жизнью. Современная литература, когда она идет по оставленному Гоголем пути, есть «мир необходимостей более или менее разумных случайностей, всей спорной работы современности, которая не заботится о дипломе на существование, потому что сама есть жизнь»⁹⁵.

Эта безусловность велений жизни для Анненкова была несомненна, понятие относительности в области художественного — необходимо. Однако весь круг явлений, входящих в литературу на правах дискуссионных, область допустимого в искусстве, противопоставляется Анненковым «миру светлого искусства, непогрешительного, непричастного спорам, не подверженного изменениям»⁹⁶. Это мир Пушкина. Абсолют, таким образом, отыскивается Анненковым, как Дружининим и Григорьевым, вне потока относительных ценностей. Отношения между безусловным и относительным здесь понимаются иначе, чем представлял их себе Белинский. Не относительное вносит новую грань в абсолютное, исторически его меняя, а неподверженное изменениям, абсолютное, идеал «вековечных законов» искусства, остается критерием, обозначающим область допустимой относительности, и Пушкин — тот вечный и неизменный для русского искусства образец, который ставит ограничения для опытов современности. Относительность для Анненкова — не принцип исторического развития, а неизбежная дань «спорному», своего рода накладке времени. С этих позиций обозрение и оценка исторического значения новооткрытий в искусстве заранее была ограничена.

Вместе с тем «критика натуральной школы» вернее, издержек увлечения ее принципами как готовой схемой, не уводила Анненкова в сторону от теоретических проблем реализма. Он не отрицал плодотворности традиций Гоголя, поэтому и критика всех тех явлений литературы, где правдоподобной повседневною, авторским пристрастием к мнимому «умному слову и меткому наблюдению» подменялась правда жизни, оставленная за пределами однажды найденных типов и сюжетных построений, приводила Анненкова вовсе не к отказу от реализма, как иногда представляют его эстетическое credo, а к повышению требований, предъявляемых к реалистиче-

⁹³ Анненков П. В. Воспоминания, с. 3—4.

⁹⁴ Там же, с. 5.

⁹⁵ Там же.

⁹⁶ Там же.

скому искусству. Правда, требования эти были односторонни, но все же в них содержалась известная доля истины, и здесь опора Анненкова на Пушкина была весьма плодотворна.

Его позиция в оценке гоголевской традиции и его опасения по поводу штампов «натурального» направления близки восприятию тех же явлений литературы Тургеневым, с которым он вел оживленную переписку по поводу работы над Пушкиным. Тургенев испытал глубокое удовлетворение статьей Дружинина, но решительно не согласился с его оценкой Гоголя, противопоставленного Дружининым Пушкину. Дружинин отрицал гоголевскую традицию как «излишне реальное направление», в котором «мало поэзии». Как единомышленнику Тургенев писал Анненкову о статье Дружинина: «Она очень хороша, хотя мне досадно, что он не замечает или не хочет заметить *исторического* значения Гоголя»⁹⁷. Не разделял осуждаемой Тургеневым тенденциозности в отрицательном отношении к Гоголю и Анненков. Вместе с тем Тургенев скажет и о давящем воздействии «гоголевского сапога», той литературной манеры, освоение уроков которой на определенном этапе стесняло его развитие как художника⁹⁸. В эстетических воззрениях Анненкова отразилось нечто подобное: он видел, как от первоначального освоения уроков Гоголя, очень важных, литературное движение уже вступало в новую полосу, неизбежно отдаляясь от гоголевского источника и захватывая более широкий круг жизненных явлений. Вставшая при этом задача сохранения гоголевского критического начала, силы типизма, в условиях, когда несатирические формы как будто бы по природе своей и ослабляли интенсивность избираемых писателями средств и красок, и осознавалась передовой критикой как задача, предопределяющая дальнейшее движение искусства. Анненков не отрицал значения гоголевской традиции, но Гоголь толковался им не в сторону обострения критического общественного самосознания, к чему призывал Чернышевский.

Там, где Анненков защищает «чистую художественность», нетрудно найти его прямые отступления от критического взгляда на жизнь к созерцательности. Но в этом же процессе осмысления форм и типов реализма у него есть и много верных замечаний, отражавших объективные процессы литературного движения и освоения намеченных рукою Пушкина перспектив. Не случайно в переписке с Анненковым Тургенев заметит одну из таких, от Пушкина идущих линий: «Пушкин одним созданием лица Троекурова в «Дубровском» показал, какие в нем были эпические силы»⁹⁹. Замечание об «эпиче-

⁹⁷ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми тт., Письма, т. 2. М.—Л., 1961, с. 281.

⁹⁸ Там же, с. 282.

⁹⁹ Там же, с. 150.

ских силах» делалось Тургеневым в поддержку предложенной Анненковым периодизации творчества Пушкина. Мысль Анненкова об эпичности как типе мировосприятия Пушкина 30-х годов имела объективное основание. Вовсе не уходом от больших проблем искусства в область интересов к сугубо специфическим вопросам мастерства, как иногда полагают, было замечание Анненкова о необходимости изучения самого построения эпических композиций Пушкина-реалиста: «Будущим критикам предстоит однако ж труд вполне определить способ, каким выражалось это направление, потому что способ выражения в художнике и есть мерило настоящего его достоинства»¹⁰⁰. В контексте анненковских размышлений «способ» неотделим от содержания.

Идя от Пушкина к современности, Анненков ищет больших замыслов у новых художников, ждет от них открытий новых пластов жизни, присущей реализму исследовательской объективности. Его понимание пушкинской традиции неотделимо и от критических замечаний, адресованных современному искусству. Анненкова настораживает мелькание в романах и повестях одних и тех же типов, они «существуют в действительности», созданы впервые «сильными талантами», но с тех пор лица эти становятся все более похожими друг на друга, «дурно то, что с тех пор они окаменели в нашей литературе, и между ними, как в фамильном склепе, разгуливают наши писатели, совсем не подозревая жизни, которая бьется за порогом его»¹⁰¹. Анненков находит черты литературности, а, следовательно, и отхода от непосредственного общения с жизнью в «сентиментально-фантастическом направлении», в «страсти к подробностям», во всех тех приемах, где «оригинальность достигается капризом и своеволием». Там же, где есть «уловки литературного ремесла» и «литературная игра», — ослабляется, с его точки зрения, не что иное, как исследовательская сила искусства. Дело не только в том, имеет ли писатель осознанную «цель», не в том только, есть ли в произведении «мысль» и «сколько тут мысли», — дело еще и в том, как выражена мысль. В искусстве от этого в конечном счете зависит содержательная ценность самой мысли. Идет произведение в жизнь или остается только в ряду литературных явлений...

В замеченных Анненковым недостатках и даже изъянах современного литературного развития без труда угадываются некоторые принципы поэтики натуральной школы, причем Анненков чаще всего, признав ее жизненные истоки, говорит все же не о ее исторических заслугах, но указывает главным образом на расстояние, отделяющее произведения ее предста-

¹⁰⁰ Анненков П. В. Материалы, с. 431.

¹⁰¹ Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, с. 31.

вителей от высших образцов искусства. Он критикует тенденциозность и субъективизм. Его не удовлетворяют литературные персонажи со значком, «который повешен им... на шею, почти как аптекарский этикет»¹⁰². Он не верит жизненной правде произведений, где все держится на «вмешательстве автора»: «Указания последнего всегда делают неприятное впечатление, напоминая вывеску с изображением вытянутого перста»¹⁰³. Писатели, предлагающие свою мысль как «забавную фразу, которая годилась бы в поговорку», не погружаются глубоко в изучение жизни и подходят к ней с заранее принятой схемой. Концентрация «поэтического элемента в одной точке», когда он «бьет оттуда ярким огнем, как с острия электрического аппарата», также не всегда является лучшим способом обобщения, оставляя за пределами внимания писателя большую часть событий и лиц, не отмеченных столь заметной сатирической печатью. Анненков и сам, конечно же, тенденциозен, когда не принимает во внимание принципиальное значение открытий натуральной школы. Но в его критике есть и рациональный элемент, по-своему отражавший объективное движение литературы, для которой натуральная школа становилась пройденным этапом. Провожая ее в прошлое, можно было признать ее заслуги в упрочении критического начала в литературе, в дальнейшей ее демократизации и расширении поля социального анализа. Анненков этого не делал. Это делал Чернышевский. Но и в анненковской критике имелось начало, содействовавшее развитию литературы.

Конструктивное начало критики, обращенной не к ограничению возможностей реализма, а именно к развитию их, основывалось на безусловном признании Анненковым познавательной силы художественной реалистической мысли. Как веление времени осознается им проблема соединения «таланта» с «обширным, многосторонним пониманием выбранной темы». Для Анненкова несомненно, что «требования касательно соединения таланта и познания делаются неотступнее»¹⁰⁴. Писатель должен быть «причастен труду современности, мысли, ее оживляющей», иначе «ограниченность его побуждений отразится на произведениях его»¹⁰⁵. «Запрос на мысль постоянно слышится в самом обществе», жизнь ждет «существенного дела от искусства». Анненков замечает, что «по самой теории художественности, каждый художник в своей сфере обязан находиться в полном обладании материалами, каса-

¹⁰² Там же, с. 92. Статья Анненкова «Характеристики: И. С. Тургенев и гр. Л. Н. Толстой» первоначально называлась «О мысли в произведениях изящной словесности» и была напечатана в журнале «Современник» (1855, № 1).

¹⁰³ Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, с. 91.

¹⁰⁴ Там же, с. 8.

¹⁰⁵ Там же, с. 9.

ющимися предмета его; задача нелегкая — и от нее, сколько мы знаем, никто еще не отделялся одним талантом»¹⁰⁶. Именно познавательная-эстетическая ценность искусства есть залог бессмертия его, «когда задача решена добросовестно в произведении, оно становится выражением своей эпохи, лучшим ее свидетельством и важным историческим документом»¹⁰⁷.

Анненков считает, что воздействие искусства на общество чаще всего замечают в явлениях самоочевидных, лежащих на поверхности. Пока еще недостаточно внимание к специфике художественной мысли: «еще не было обращено достаточно внимания на тайную связь литературы с обществом и отношений, возникающих между ними»¹⁰⁸. Тайна же кроется в самой природе искусства. Художественность имеет свою познавательную специфику. Анненков — за определенность и точность оценок явлений жизни художником. Описаниям дорогого ему Тургенева он предпочитает рисунок Толстого, мастера, который «особенно отличается твердой отделкой своих произведений», тогда как в некоторых картинах Тургенева слишком многое «предоставлено отгадке читателей»¹⁰⁹. Вместе с тем твердость руки художника никак не должна стеснять полноты объективного рассматривания жизни. Создания Толстого и лучшие страницы Тургенева именно таковы и вполне принадлежат «к высшему роду повествования, в котором события и характеры, выставлены спокойно, без всякой утайки и вместе без наговора, сами в себе носят свой суд, приговор и мысль, присущую им»¹¹⁰.

Такие слагаемые творческого процесса, как «свежесть понимания явлений», «терпимость», «простодушье во взгляде на предметы» всегда соединяются у Анненкова с понятиями «труд художественный», «смелость обращения к явлениям жизни». Те и другие стороны творческого сознания объединимы потому, что писатель в явлениях действительности ищет «мысль, присущую им». Более всего Анненков ценит художников, «мысль которых всегда скрыта в недрах произведения, как красная нитка, пущенная в ткань»¹¹¹. Как закономерность реалистической художественной мысли ощущается Анненковым принцип саморазвития характеров и объективного движения сюжета. Во всем этом он видит исследовательскую установку писателя-реалиста.

Опора и краеугольный камень всех этих эстетических суждений Анненкова — Пушкин. Общественное служение искус-

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Там же.

¹⁰⁸ Там же, с. 17.

¹⁰⁹ Там же, с. 102.

¹¹⁰ Там же, с. 103.

¹¹¹ Там же, с. 9.

ства для него состоит в том, чтобы оно прежде всего было искусством, равнялось не на преходящие примеры, но на абсолютные образцы. Стремление к «чистому искусству» и представляется Анненкову наилучшим способом «влияния литературы на общество». Это стремление «должно быть не только допущено у нас, но сильно возбуждено и проповедуемо, как правило, без которого влияние литературы на общество совершенно невозможно»¹¹². В категоричности последнего заявления заметно сказалась неисторичность отправных суждений Анненкова о литературе. «Вековечный» идеал Пушкина, по его мнению, указывает, что истинно глубокое воздействие на общество может оказать истинный художник. Что же касается влияния «натуральной школы», то оно поставлено Анненковым в параллель с общественным значением сатиры XVIII века и журналистики 70-х годов того же столетия. Анненков считает, что, не принадлежа к высокому искусству и вызвав при появлении своем много шума, они без следа исчезли. Возможность влияния «натуральной школы» на эстетический кодекс искусства и его критерии им отвергается; если такое влияние и существует, то по природе своей оно не может быть сколько-нибудь длительным и стойким. Подлинно глубокая общественная роль искусства открывается творчеством Пушкина. Призыв вернуться к Пушкину и был вызван заботой Анненкова об этой роли: «художественное воспитание общества совершается именно этими идеалами». «В последнее время мы видим попытки заслонить, если не отодвинуть на второй план, нашего художника по преимуществу, Пушкина, именно за его исключительное служение искусству»¹¹³, — писал Анненков. Объективно это «служение искусству» противопоставлялось «служению обществу», но механически отделить здесь истину от заблуждений менее всего возможно. Анненков бескомпромиссно противопоставлял реализм правдоподобию, интерес к общим проблемам бытия — нравственным сентенциям по поводу частных случаев, полноту и всесторонность объективного анализа — тенденциозной априорности. Но эта же анненковская теория реализма, где вечное противопоставлялось историческому, замыкалась пределами ограниченного круга образцов, и Пушкин не мог не превращаться здесь в замкнутый в самом себе феномен, чуждый последующему движению искусства с его «спорами» и «партиями».

Соответственно и реалистическое мировосприятие самого Пушкина в 30-е годы, его «эпичность» представлена была Анненковым как созерцательное и примиряющее воззрение на действительность. Сложность заключалась в том, что, ошибочная в главной своей тенденции, эта анненковская концепция

¹¹² Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, с. 12.

¹¹³ Там же.

объективно улавливала и некоторые важные закономерности творческих открытий Пушкина, художника и мыслителя, представляла собой одно из первых описаний тех значительных перемен, которые произошли в 30-е годы в его нравственных и философско-эстетических воззрениях. Эти перемены нередко подавались официозной критикой как возвращение поэта к незыблемой доктрине государства, истории и права. Рассуждения Анненкова и глубже, и шире таких однозначных решений уже потому, что он пишет о логике самого творческого пути Пушкина, говоря о художнике, ставит прежде всего проблемы художественного его развития.

Пушкин 30-х годов, по Анненкову, также находит примирение с действительностью. Идеалы, подобные пушкинскому, «подымают уровень понятий, делают сердца доступными всему кроткому, и симпатическими откровениями души, освежающею любовью к человеку и умеряют волю»¹¹⁴. Гуманизм Пушкина воспринимался, таким образом, как признание мира между личностью и действительностью. Примечательно и такое рассуждение Анненкова об отношении Пушкина к своему искусству в связи с проблемой личного самоопределения поэта: «только в искусстве находил он благотворное разрешение противоречий собственного своего существования, только в нем примирялся он с самим собой и сознавал себя в высоком нравственном значении»¹¹⁵. Творчество открыло философию покоя — «теория искусства сходилась здесь с самой жизнью».

В основе этого взгляда лежала мысль о разрешающем катарсисе реализма как художественного разума, о духовной власти над действительностью реалистического искусства, познающего систему законов жизни и устанавливающего в этом смысле связь между «знать» и «владеть». В анненковском понимании пути Пушкина к новому восприятию мира как целого, отозвались, несомненно, общие идеи истории эстетической мысли — в частности гегелевской эстетики. Но накопленный русской критикой опыт прочтения Гегеля был воспринят Анненковым односторонне. Урок Белинского, преодолевшего свой период «примирения с действительностью» благодаря созревшей и укрепившейся в его сознании мысли о безусловном праве страдающего человека на протест, — не оказал на Анненкова влияния. Этот русский вариант прочтения Гегеля остался вне его внимания. И верно заметив закономерность движения Пушкина к объективности, Анненков в пушкинском целом мира увидел не универсальную формулу противоречивого развития истории, где судьба человека осмысливалась как критический запрос и к самой личности, и к настоящему и будущему жизни, а как статическую констанцию равнове-

¹¹⁴ Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, с. 15.

¹¹⁵ Анненков П. В. Материалы, с. 179.

сия между общим и индивидуальным. Человек в поэтическом мире Пушкина, по мнению Анненкова, в кратком созерцании познает целеположенную справедливость жизни.

Анненковское суждение о художнике, нашедшем «благотворное разрешение противоречий» в объективной разумности жизни, по-своему несомненно отражало как некоторые типологические свойства реализма, так и некоторые особенности мировосприятия Пушкина, «поэта действительности». Но именно по-своему. Анненковым замечен, например, интерес Пушкина к самодостаточности истории, в целом располагающей всем необходимым для решения созревших в ней задач. Анненков понимает, что Пушкин ограничивался возможно более строгой постановкой проблем и вопросов там, где жизнь еще не дала их позитивного разрешения. И к такому итогу Пушкин приходил именно потому, что оставался и в этом исследователем-реалистом. Однако есть существенное различие между содержанием пушкинских исторических композиций и системой эстетических воззрений Анненкова. У Пушкина движительным началом в области исторической и нравственной остается неудовлетворенность «человеческого». Этой действительности пушкинского гуманизма противостоит стремление Анненкова найти соответствие между «разумностью» жизни и искусством, этот разум постигающим и не призванным исправлять жизнь.

В понимании Чернышевского мысль, что искусство в самом себе заключает свою цель и суд над изображаемыми явлениями, была ложной. Мнение Анненкова, что в основе пушкинского гуманизма лежит призыв к «умерению человеческой воли», не могло быть Чернышевским принято. Отрицая толкование Анненковым высокого примирительного итога, к которому якобы пришел поэт в конце жизни, Чернышевский еще и поэтому так настойчиво противопоставлял 20-м 30-е годы, в особенности идеи, сблизившие Пушкина с декабристами. Он подвергает сомнению и разрушает позитивный смысл, который Анненков придавал идеям «примирения», «эпичности», «объективности». Все эти понятия квалифицируются Чернышевским как губительное охлаждение поэта к интересам общества, не объективность, а «бесстрастие». К подобному выводу у Чернышевского имелся ряд поводов и оснований. Он обращал внимание, например, на долгие сроки, в течение которых оставались неопубликованными некоторые произведения Пушкина и, не зная истинной причины этого обстоятельства, приписывал его безразличию Пушкина к суду публики¹¹⁶. Во многих произведениях Пушкина Чернышевский чи-

¹¹⁶ Замечание такое высказывалось еще Белинским (VII, с. 347). Чернышевский не знал о цензурных препятствиях, с которыми столкнулся Пушкин, желая опубликовать «Бориса Годунова», не известны ему были и подобные же обстоятельства, помешавшие прижизненной публикации «Медного Всадника».

тал строки, исправленные по цензурным соображениям¹¹⁷. В «Материалах» Анненкова отсутствовали также факты, проливающие свет на историю ссылки Пушкина, отношение его к декабристами, на обстоятельства его гибели.

Обращение Чернышевского к вольнолюбивым идеям Пушкина, явившимся в свое время причиной «энтузиазма», разбуженного произведениями Пушкина и «не чуждого стремлениям века, до известной степени заманчивым и для нашего тогдашнего общества»¹¹⁸, то есть к идеям декабризма, было для Чернышевского в этих условиях единственным способом борьбы против анненковской теории художественности. Возникшая при этом у Чернышевского идея противопоставления вольнолюбивых стихов Пушкина общему направлению его последующего творчества привела к недооценке ряда крупных исторических произведений Пушкина. В последовательном проведении своего тезиса Чернышевский допустил немало ошибочных выводов. Но вырвавшееся на основе принципа исторической относительности отрицание Чернышевского было все же плодотворнее многих позитивных решений Анненкова.

Отрицание Чернышевского не было отвержением: в конкретно-исторических условиях критики 50-х годов оно представляло собой новое освоение пушкинского наследия. Еще Плеханов доказательно опроверг попытку выдать Чернышевского за «разрушителя эстетики», указав на позитивный пафос его высказываний об искусстве и программу построения новой системы его эстетических воззрений, где прекрасное не отрицалось, а утверждалось на новой основе. Однако с той поры в поддержку и развитие выводов Плеханова, когда речь шла об отношениях Чернышевского к Пушкину, исследователями нередко выстраивались весьма абстрактные схемы, призванные продемонстрировать, что Чернышевский располагал всей полнотой представлений о проблемах изучения творчества поэта. Абстракция такой «полноты» выглядела тем менее убедительной, чем становилась полнее, — вместо процесса конкретно-исторического развития истины здесь предлагались ретроспективные аналогии, и современным представлениям о Пушкине подыскивались у Чернышевского прямые подтверждения. Но самому Чернышевскому как раз в высшей степени была свойственна конкретная постановка вопроса об истине.

Анненковская концепция 30-х годов, как и все, сказанное им о Пушкине, явилось программой для многих последующих

¹¹⁷ Стихотворение «Вновь я посетил...» при жизни Пушкина не печатавшееся и опубликованное П. В. Анненковым по тексту посмертного издания Пушкина, содержало, например, строки, исправленные Жуковским. Текст «Медного Всадника» также воспроизводился Анненковым с внесенными в него Жуковским изменениями, приглушавшими драматизм поэмы.

¹¹⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 516.

исследований. Собранные им сведения и предложенные выводы позднее послужат «исходным пунктом при исследовании биографических и иных вопросов пушкиноведения»¹¹⁹. Но это богатейшее собрание фактов и наблюдений не имело для своего времени такого значения, какое имели статьи Чернышевского, положившие начало революционно-демократического освоения наследия — и не только пушкинского. Поданные под знаком примирения, выводы Анненкова строились на основе отказа от историзма как социально-практической диалектики. Они вылились в ту «артистическую теорию искусства», которая была отказом и от главных идей Белинского.

На первый взгляд кажется, что Чернышевский принял и признал у Пушкина, сравнительно с Анненковым, меньшую часть его творчества, — Анненков писал о вечности и бессмертии Пушкина, а Чернышевский — об относительности его влияния. Но именно концепция Чернышевского «держала» в конкретных условиях середины 50-х годов самый главный вопрос о судьбе пушкинского наследия, производными от которого были все иные, — вопрос о связи литературы с освободительными идеями.

Многие формулировки и выводы статей о Пушкине будут позднее уточнены и подвергнутся проверке Чернышевским и опыту «реальной критики». Уже в «Очерках гоголевского периода» он поставит рядом имена Пушкина и Гоголя, одинаково связывая их с развитием революционной мысли, с пробуждением общественного самосознания: «Поэт и беллетрист не заменимы у нас никем. Кто кроме поэта говорил России о том, что слышала она от Пушкина? Кто кроме романиста говорил России о том, что слышала она от Гоголя?»¹²⁰ Кажется, что былая альтернатива (Пушкин или Гоголь) исчезла бесследно и что здесь Чернышевский начинает присоединяться к тому взгляду на Пушкина, который уже в пору написания его статей о поэте, был выражен Герценом, сразу и безоговорочно поставившим связующий знак между судьбой Пушкина и судьбами свободной мысли в России. Однако вывод Чернышевского, различавшего со всей доступной ему и его времени остротой неоднородность этапов «истории русской образованности», настаивавшего не только на преемственности, но и на отрицании устаревших форм и методов освободительной борьбы ради утверждения и развития новых, сохранял в себе больший, сравнительно с Герценом, потенциал конкретного историзма. Поучительны в этом смысле даже и все полемические крайности, допущенные Чернышевским, например, в оценке суждений о Пушкине Полевого и Надеждина.

¹¹⁹ Модзалевский Б. Л. Работы П. В. Анненкова о Пушкине. — В кн.: Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929, с. 280.

¹²⁰ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. III, с. 304.

Альтернатива, которую с такой последовательностью строгого мыслителя и страстью полемиста решал Чернышевский в пользу Гоголя, позднее усложнится и перерастет у него в более точный и гибкий способ сравнения писателей. Подойдя к Гоголю с той же точки зрения исторической относительности, Чернышевский заметит, что у продолжателей его критического направления «мы видим залогов более полного и удовлетворительного развития идей, которые Гоголь обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий»¹²¹. Интерес к последовательному разъяснению «причин и следствий», к обнаружению в их «сцеплении» общих причин подавляющего человека уклада жизни как существенный принцип «реальной критики» сохранится у Чернышевского во всех его суждениях о литературе. Но способ применения его будет неуклонно приближаться к специфической природе художественной правды. Замечания, подобные тем, какие делал Чернышевский по поводу поэмы «Цыганы» или романа «Евгений Онегин», когда слишком широко истолковывалась им ситуация разрыва между замыслом писателя и объективным содержанием произведения, уступят место углубленному анализу открытых самим писателем явлений и типов.

В полемическом вступлении к статье «Старая и новая критика» Анненков писал о необходимой зависимости критика от писателя, о том, чем критик «обязан» писателю, если он не хочет со своими представлениями об искусстве и требованиями к нему превратиться в «присяжного браковщика» от эстетики и, питаясь «крохами» со стола искусства, в суровости своих приговоров забыть о цене «дарового хлеба»¹²². Мыслью об известной «зависимости» критики от литературы и их обоих от читателя, от запросов и состояния общественной жизни, Чернышевский закончит свои «Очерки гоголевского периода», соединив вопрос о ведущей роли передовой эстетической мысли с призывом глубокого изучения всех исторических предпосылок и условий такого влияния. И к объективным законам художественной правды, к тем типологическим, как сказали бы мы теперь, особенностям реализма, о которых писал Анненков в связи с творчеством Пушкина, «реальная критика» найдет свой путь.

¹²¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. II, с. 10.

¹²² Анненков П. В. Старая и новая критика. — В кн.: Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, с. 3.

М. М. ГИН

**ОБ ИДЕЙНО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО И Н. А. НЕКРАСОВА**
(К постановке вопроса)

Идейно-литературные взаимоотношения двух духовно и биографически близких людей, связанных с одной и той же общественно-политической или литературной традицией, — всегда проблема очень сложная. Прежде всего потому, что трудно определить, что является здесь результатом непосредственного влияния и что восходит к общему источнику. Такова проблема «Некрасов и Чернышевский».

Они не были людьми одного поколения. Небольшой возрастной разрыв между ними приобретал качественно принципиальное значение: Некрасов входил в литературу с плеядой людей 40-х гг., с Белинским, Чернышевский же — прямой наследник этих традиций и крупнейший теоретик шестидесятников, конечно, должен был влиять, не мог не влиять на такого поэта, как Некрасов. Тезис об этом влиянии уже давно стал широко распространенным, аксиоматическим положением. Однако сложность проблемы заключается в том, что Некрасов развивался в русле революционно-демократического мировоззрения задолго до встречи с Чернышевским, еще с 40-х гг., то есть был связан с ним раньше, чем Чернышевский, не говоря уже о Добролюбова. Поэтому очень трудно бывает указать, что именно восходит в Некрасове к влиянию Чернышевского и Добролюбова. Не менее сложно обстоит дело с обратным воздействием — Некрасова на Чернышевского, что тоже далеко не всегда учитывается.

Несколько лет тому назад появилась статья Г. Е. Тамарченко «Н. А. Некрасов и Н. Г. Чернышевский», пафос которой — преодоление односторонности в изучении этой темы: «...всеми признано глубокое влияние идей Чернышевского на поэзию Некрасова, но о влиянии Некрасова на Чернышевского не возникает даже и вопроса»¹. И при этом ссылка на две

¹ «Нева», 1971, № 12, с. 178. В переработанном и расширенном виде эта статья особой главой включена в состав недавно изданной книги

опубликованные почти полвека тому назад статьи — Ю. Стеклова и В. Евгеньева-Максимова. Тогда действительно такие вопросы не возникали, но с тех пор положение не оставалось неизменным². Но дело не в этом. Сам пафос статьи Г. Е. Тамарченко достоин всяческого одобрения, однако нельзя забывать о трудностях, с которыми мы сталкиваемся при изучении влияния Некрасова на Чернышевского.

Г. Е. Тамарченко исходит из того, что сфера, в которой могло проявиться влияние Некрасова на Чернышевского — это не общефилософские или общественно-политические взгляды, а литературные. В частности, он доказывает, что под влиянием Некрасова Чернышевский в середине 50-х гг. пересмотрел свое отношение к Белинскому, сложившееся у него еще в студенческие годы, в 1847 г.: «Статьи о Белинском в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (начиная с 4-го очерка) явились результатом решительного пересмотра отношения Чернышевского к Белинскому-критику. И здесь нельзя не видеть прямого влияния Некрасова...»³

Доказательство в сущности одно: коснувшись в одном из писем биографии и личности Белинского, Чернышевский заявил: «Все это я говорю со слов Некрасова. Сам я не имел счастья видеть его»⁴. Но ведь эти слова говорят лишь о том, что Некрасов оказался для Чернышевского источником информации. Некрасов мог познакомить Чернышевского с тем, о чем Белинский не имел возможности высказаться в подцензурной печати, и с самой личностью великого критика. (Нам в свое время на одном примере пришлось показать, как пользовался Чернышевский сведениями, полученными от Некрасова⁵). Это, конечно, немаловажно и должно было определенным образом воздействовать на Чернышевского. Но здесь еще нет оснований для утверждения, что осмысление Чернышевским значения Белинского и его традиций — результат прямого влияния Некрасова. Для такого утверждения нужна уверенность, что со студенческих лет и до встречи с Некрасовым взгляды Чернышевского оставались неизменными, и только встреча с Некрасовым помогла ему до конца понять

Г. Е. Тамарченко «Чернышевский — романист» (Л., 1976, с. 57—104). Не касаясь общей оценки этого несомненно значительного и серьезного исследования, отметим, что указанная глава монографии, выражает, может быть, не столь прямолинейно, но в сущности то же самое, что статья, о которой у нас идет речь.

² См.: об этом: **Блинчевская М. Я.** Некрасов и молодой Чернышевский (по страницам заметок о журналах 1855 г.) — «Русская литература», 1972, № 3, с. 101. Ср.: **Она же.** К истории печатания в «Современнике» статей Чернышевского о Пушкине. — «Вопросы литературы», 1966, № 12, с. 238—242.

³ Тамарченко Г. Е. Указ. соч., с. 179.

⁴ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., XIV, с. 320.

⁵ Гим М. Н. А. Некрасов — литературный критик. Петрозаводск, 1957, с. 131—133.

значение Белинского. В это трудно поверить. Ведь традиции Белинского — важнейшая проблема для Чернышевского, лежащая в основе его взглядов на задачи современной критики. Трудно представить себе, чтобы эти вопросы не были решены Чернышевским в период работы над «Эстетическими отношениями искусства к действительности», в процессе его литературно-критических выступлений 1854—1855 гг. на страницах «Отечественных записок». И уж во всяком случае пересмотр отношения к Белинскому не мог осуществляться в ходе работы над «Очерками гоголевского периода», самый замысел которых связан с борьбой за возрождение традиций Белинского. Сама идея подобного труда, по существу, книги о Белинском, могла возникнуть лишь на почве определенного представления о великом критике, о первостепенном значении его традиций. И если до 4-го очерка Чернышевский не мог говорить о Белинском в полный голос, то только по вине цензурных препятствий — это давно и хорошо известно. Достаточно обратить внимание на пиетет, с которым преподносятся идеи Белинского в написанной до «Очерков» 4-й статье о Пушкине, чтобы убедиться, что отношение Чернышевского к Белинскому уже вполне сложилось.

Столь же недоказанным является и тезис Г. Е. Тамарченко о влиянии на «Очерки гоголевского периода» некрасовских «Заметок о журналах» и его стихотворения «Поэт и гражданин». У нас нет оснований отвергать самую возможность такого влияния, так же, как нет оснований отрицать возможность воздействия Некрасова на отношение Чернышевского к Белинскому или на какую-либо другую сторону его литературных взглядов. Однако для подобных утверждений необходимо веское обоснование — факты, документы, приобретающие особую значимость из-за отмеченной выше сложности проблемы. В принципе найти такую аргументацию можно. Убедительные данные относительно изменения отношения Чернышевского к Пушкину под влиянием Некрасова приведены в названных статьях М. Я. Блинчевской. Но именно потому, что таких материалов в распоряжении исследователя немного, особую ценность приобретает каждый, даже небольшой факт этого плана.

Рассмотрим один из них: он интересен тем, что показывает, где и в чем могло проявляться и, несомненно, проявилось воздействие Некрасова на Чернышевского.

К творческой истории статьи Н. Г. Чернышевского «В изъявление признательности. Письмо к г. З-ну»

В последнем и наиболее авторитетном издании полного собрания сочинений Чернышевского эта статья производит странное впечатление. Варианты, не включенные в ее основ-

ной текст, печатаются почему-то подстрочно, в то время как варианты других статей — в конце тома, в разделе «Библиографические и текстологические комментарии». Что бы это могло означать? Что варианты этой статьи занимают какое-то особое положение, стоят ближе к основному тексту или что-то другое? Для ответа на эти вопросы необходим экскурс в творческую историю статьи.

Эта статья, как известно, направлена против критика «Библиотеки для чтения» Е. Зарина, попытавшегося бросить тень на только что скончавшегося Добролюбова. Коснувшись по поводу романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» статьи Добролюбова «Забитые люди», Зарин внушал своим читателям, что «друзья покойного», т. е. литераторы из «Современника», слишком переоценили Добролюбова, усмотрев в нем великого деятеля русской литературы. Даже объявленная тогда подписка на памятник Добролюбову вызвала его нападки. Вся статья Зарина прямо и недвусмысленно направлена против «друзей покойного»: «Заблуждение насчет достоинства близких к нам людей — самое естественное и частью даже похвальное заблуждение. Но при этом одно обстоятельство не поддается никакому благоприятному толкованию: друзья покойного-бова ни при его жизни, ни после его смерти никогда не могли думать о -бове, чтобы он был первым человеком между ними, или даже вторым, или даже третьим. А если они этого, согласно со всеми своими читателями и почитателями, никогда не могли думать, то кому же в сущности они воздвигают теперь монумент по подписке? Неужели -бову? Или, если они думают, что хотя -бов был и не из первых в их кругу, а между тем все-таки достоин монумента и не уступает своими заслугами Белинскому, то в каких же размерах им представляются их собственные заслуги и фигуры»⁶.

Опровергая Зарина, Чернышевский доказывал, что Добролюбов талантливее, выше его самого, что именно Добролюбов был первым лицом «в нашем кругу» и, в полемическом запале явно преувеличивая, утверждал, что ни о каком влиянии его, Чернышевского, на покойного критика не может быть и речи. С корректурой статьи Чернышевского ознакомился Некрасов и на полях его сделал такие замечания: «1. Н<иколай> Г<аврилович>. В замеченных местах есть фразы, которые можно истолковать тем, что мы Вас стесняли при Вашем вступлении в наш журнал из почтения к авторитетам. Если это и так, то на Панаева рано и неуместно бросать подобную тень, да и мне, признаюсь Вам, лично это не нравится. По крайней мере Добролюбова я никогда не стеснял.

⁶ «Библиотека для чтения», 1862, № 1, отд. 2, с. 31—32.

2. Дальше, имена Тургенева, Толстого, Анненкова, Боткина производят в этой статье такое впечатление, как будто Вы кадите мертвому с намерением задеть кадилом живых. Ругайте их в каких угодно других статьях, я ни слова не скажу. Вы имели добрую цель: но, во 1-х, Вы преувеличили опасность, предстоящую памяти Добролюбова оттого, что Зарин поставил Вас выше его, а, во-вторых, ужасно будет обидно, если пойдут трепать газетчики имя Добролюбова по поводу этой статейки. Поверьте мне, тон «Полемических красот» не идет к строкам, где мы имеем целью защитить любимого и высоко ценимого человека. Скажу Вам мое впечатление от этой статьи: в ней героем являетесь Вы, а не Добролюбов. Я ничуть не против откровенности, не против заявления личного высокого или низкого мнения о самом себе, когда человеку пришла к тому охота; но охота-то пришла не вовремя, когда мы взялись защищать другого... и вдруг боязно, чтобы кто не подумал, что «мы ценим себя низко», и на эту тему все заключение. Словом, эти прекрасные две страницы, посвященные Вами себе, лучше бы поместить во всякую другую статью. Однако я должен сказать, что начал говорить только с целью сказать, что у меня отмечено цифрой 1. Все же остальное — мое мнение, которое может остаться без последствий. Я только скажу, что, говоря о человеке, которого мы оба так любим, не излишня никакая щепетильнейшая осторожность. Этим извините настоящие строки, если они Вам покажутся не заслуживающими внимания»⁷.

Корректурa, которая была в руках Некрасова, не сохранилась; его замечания были впоследствии опубликованы М. А. Антоновичем, но до нас дошла и в 1936 г. была опубликована в одном из томов «Литературного наследства» другая корректурa этой же статьи, в значительной мере запечатлевшая ее первоначальный текст.

Антонович, публикуя замечания Некрасова, сопроводил их таким комментарием: «Чернышевский отчасти согласился с Некрасовым: место под № 1 он сократил и изменил, сделал значительные сокращения и в других местах, но речь о себе в смысле самоосуждения оставил»⁸. Последнее замечание вызывает недоумение. Отказаться от того, что Антонович называет самоосуждением, Чернышевский не мог: это было бы равносильно отказу от всей статьи. Такой жертвы Некрасов от него не требовал. Что же касается того, в какой мере Чернышевский принял замечания Некрасова, то для суждения об этом надо было бы сопоставить окончательный текст статьи с корректурой. Этого не сделали ни М. Антонович, ни автор

⁷ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952, с. 468—469.

⁸ Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания... М.—Л., 1933, с. 202. Впервые: «Журнал для всех», 1903, № 2.

публикации в «Литературном наследстве» — В. Сушицкий, который в своих примечаниях, отметив отсутствие следов цензурского вмешательства, пишет: «В корректуре, пользуясь другой ее копией, не дошедшей до нас, Н. Г-ч, видимо, также сам опустил многие места. Если некоторые из них он опустил, несомненно, по стилистическим соображениям, то изъятие других мест было уступкой со стороны автора редакторскому такту Некрасова» (следует ссылка на Антоновича)⁹.

Дело, однако, в том, что сравнительно настойчивый (но тоже не категорический) характер имело лишь одно замечание Некрасова, отмеченное цифрой 1; все остальное — пожелания, которые Чернышевский мог отвергнуть. При таких обстоятельствах особенно важно знать: что же и в какой мере было принято Чернышевским. Ибо мера эта окажется мерой его согласия с Некрасовым.

Вот фразы первоначальной редакции, которые можно было истолковать как намек на стеснения со стороны редакции «Современника» (замечание 1): а) о первых годах сотрудничества Чернышевского в «Современнике»: «...продолжали мешать ясности и значительности моих работ разные условия, находившиеся... отчасти в тогдашних журнальных отношениях к тогдашним литературным знаменитостям»¹⁰; б) в другом месте, о Добролюбе: «Благодаря солидности моих лет, мне удалось несколько облегчить Добролюбову путь к беспрепятственной деятельности в «Современнике». Я говорил, кому было нужно, что этот человек обладает большим умом и талантом и что наш брат не должен опекуновствовать над ним; когда доходил до меня слух, что ту или другую статью находят неосновательною люди, имевшие тогда голос в литературном кругу нашего журнала, я отвечал, что он умнее их и основательнее понимает вещи. Это могло до некоторой степени уменьшить число стеснительных для него столкновений. Этою заслугою перед ним я горжусь»¹¹.

По объему приведенные строки составляют примерно десятую часть объема сокращений, произведенных в корректуре. Всего же сокращено более 40% объема первоначального текста дошедшей части корректуры (по тексту публикации в «Литературном наследстве» 111 строк из 272). Причем, нетрудно убедиться, что снято именно то, что вызвало возражения Некрасова — строки, где Чернышевский говорит о себе, и те, которые могут создать впечатление о намерении «задеть кадиллом живых» — Тургенева, Анненкова, Боткина. За пределами такого рода изъятий остается лишь самая незначительная стилистическая правка (в общей сложности не более

⁹ «Лит. наследство», т. 25—26. М., 1936, с. 158.

¹⁰ Там же, с. 152.

¹¹ Там же, с. 154—155.

10 строк). Сопоставление двух вариантов статьи Чернышевского, правка, произведенная им, убеждают, что он полностью согласился со всеми без исключения замечаниями Некрасова, относящимися к дошедшей до нас части первоначального варианта статьи.

К сожалению, нам известна не вся корректура. Некрасовым упоминаются заключающие статью «прекрасные две страницы, посвященные Вами себе» (поскольку речь идет о корректуре, Некрасов мог иметь в виду лишь страницы журнального текста). В окончательном тексте нет этих страниц. То заключение, которое непосредственно примыкает к дошедшему до нас тексту корректуры, составляет немногим более полстраницы, т. е. оно по крайней мере в три раза меньше объема указанного Некрасовым, и не может быть охарактеризовано приведенными словами ни в прямом, ни в ироническом смысле. Ибо это не страницы о себе, а мотивировка статьи: объяснение автора, почему он вынужден был взяться за перо. Нет здесь и выражения, взятого Некрасовым в кавычки, — возможно, процитированного («мы ценим себя низко»); в таком случае это осколок, может быть единственный, забракованного варианта окончания статьи.

Напрашивается предположение, что заключительные страницы были полностью сняты Чернышевским, вместо них написан другой текст — тот, который известен в качестве окончательного (начиная от слов: «Вы принудили меня в опровержение Ваших вздорных соображений...»). Если это так (а что-либо иное трудно предположить), то перед нами еще одно свидетельство полного и безусловного согласия Чернышевского с Некрасовым.

С заключительными страницами, по-видимому, была связана еще одна деталь, упоминаемая Некрасовым, но отсутствующая в дошедшем до нас тексте первоначального варианта статьи. Среди тех, кого Чернышевский, по мнению Некрасова, мог «задеть кадиллом», последний называет Толстого (имеется в виду конечно Л. Н. Толстой), но в тексте корректуры о Толстом речь не идет, его имя звучит лишь в заглавии одной из упомянутых Чернышевским статей Анненкова. Возможно о нем упоминалось в какой-то связи на заключительных страницах, и это тоже снято в соответствии с пожеланиями Некрасова.

Таким образом, творческая правка корректуры, произведенная Чернышевским, — то обстоятельство, что он принял все без исключения пожелания Некрасова, а не только отмеченное цифрой 1, свидетельствует о полном его согласии с замечаниями Некрасова, отразившими безошибочный такт опытного журналиста. В этой сфере, в журнальной тактике, в делах журнальных Некрасов не имел себе равных. Чернышевский убедился в его правоте, в том, что здесь необходимо

прислушаться к его голосу. Это далеко не единственная сфера, где могло осуществляться воздействие Некрасова на Чернышевского, но здесь оно могло проявляться более всего и скорее всего.

Вместе с тем, учитывая, что согласие Чернышевского с Некрасовым было не вынужденным, а добровольным, всю его правку корректуры следует рассматривать как отражающую авторскую волю, причем его последнюю авторскую волю, со всеми вытекающими отсюда последствиями: место снятых в корректуре текстов — в одном ряду с другими первоначальными редакциями, забракованными самим автором.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О ДОСТОЕВСКОМ

Тема «Чернышевский и Достоевский» чрезвычайно обширна, и она уже была предметом научных исследований. Сопоставлялись мировоззрение и художественные методы с подчеркиванием иногда коренных различий¹, иногда, наоборот, — сходства²; для наших дней более характерно сопоставление с учетом и сходных черт, и различий³. Однако, как это ни странно, до сих пор нет сводного исследования об отношении Чернышевского-критика к Достоевскому-писателю. Даже в книге, посвященной взаимосвязям революционных демократов с Достоевским и содержащей обширный раздел о Чернышевском, лишь на полутора страницах конспективно излагаются мнения критика о писателе⁴.

Чернышевский обратился к творчеству Достоевского еще на студенческой скамье, в 1848—1849 годах, в связи с обостренным его интересом к петрашевцам, к утопическому социализму⁵. Крупнейший литературный критик из окружения пет-

¹ См.: Бельчиков Н. Ф. Чернышевский и Достоевский (из истории пародии). — «Печать и революция», 1928, кн. 5, с. 35—53.

² «... в сущности, и у того, и другого автора одна и та же глубоко почувствованная религия сердца, их вера в возможность действительного счастья человечества, в его инстинкты и светлое будущее» — Чешихин-Ветринский В. Е. Н. Г. Чернышевский. 1828—1889. Пг., 1923, с. 145—146 (глава «Чернышевский и Достоевский. Параллели». с. 137—148).

³ Антонова Г. Н. Чернышевский и Достоевский о принципах литературной критики. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 7. Изд-во Саратов. ун-та, 1975, с. 86—94; см. также: Ануфриев Г. Ф. Творчество Ф. М. Достоевского 40-х гг. и русская критика середины XIX века (40—50-е гг.). Л., 1974. Автореф. канд. дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук.

⁴ Proctor Th. Dostoevsky and the Belinsky School of Literary Criticism. The Hague-Paris Mouton, 1969, pp. 87—88.

⁵ См.: Усакина Т. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых гг. XIX века. Изд-во Саратов. ун-та, 1965, глава 5. Чернышевский и петрашевцы, с. 140—158.

рашевцев Вал. Майков своеобразно сочетал мечту об абстрактно-идеальном человеке будущего с тяготением к индивидуальной психике, к глубинному и сложному психологизму в художественной литературе, усматривая именно здесь научные и жизненные основы для поисков путей к созданию прекрасного, гармоничного человека. Поэтому, наряду с пристальным вниманием к современным лирикам, Майков отдавал явное предпочтение автору «Бедных людей». В обзорной статье «Нечто о русской литературе в 1846 г.» он писал: «И Гоголь, и г. Достоевский изображают действительное общество. Но Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический. Для одного индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга; для другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума»⁶.

В этом же русле, с той же тягой к психологическому анализу развивались художественные вкусы молодого Чернышевского.

Первое упоминание о творчестве писателя в дневнике Чернышевского-студента относится к 28 декабря 1848 г.: «вчера прочитал «Ревнивый муж» Ф. Достоевского, много хохотал над этим, и это меня несколько ободрило насчет Достоевского и других ему подобных: все большой прогресс перед тем, что было раньше, и когда эти люди не берут вещей выше своих сил, они хороши и милы»⁷.

Здесь пока еще Достоевский не выделен из ряда молодых беллетристов сороковых годов и пока еще и речи нет о психологизме. Но уже 7 января 1849 г. запись в дневнике значительно повышает в ценностном ранге новое произведение писателя: «Когда начал читать «Белые ночи» вечером, боялся влияния Вас. Петровича (Лободовского, товарища. — Б. Е.) похвал: «конечно, покажутся хороши, потому что он хвалит», — но нет, кажется, сам увидел, что в самом деле весьма хорошо» (I, 219).

Еще более интересна запись от 12 января: «Прочитал «Неточку»; хотя содержание мне не нравится, но мне кажется, что это решительно не то, что «Капельмейстер Сусликов» (Д. В. Григоровича. — Б. Е.): то чушь, а это писано человеком с талантом, так что не чуждо психологического анализа и занимательности для науки, хотя собственно мне и не понравилось» (I, 221). Так начиналось и «отталкивание» Чернышевского от писателя в содержательном отношении. Любопытно, однако, соединение психологического анализа с «занимательностью для науки».

⁶ Майков В. Н. Соч. в 2-х тт., т. I. Киев, 1901, с. 207.

⁷ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. I, М., 1939, с. 208. Дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

Наконец, запись от 12 марта 1850 г. повествует о приходе к Чернышевскому В. П. Лободовского: «Я ему дрожащим голосом рассказывал «Двойника», и он сначала думал, что это я написал» (I, 365). «Дрожащий голос» не поддается однозначному объяснению по контексту дневника; возможно, что тут отразились и переживания Чернышевского по поводу гражданской казни и ссылки петрашевцев.

Десятилетнее молчание Достоевского-писателя после ареста и ссылки явилось причиной соответствующего молчания о нем и критика. Но интерес к углубленному психологическому анализу еще больше вырос у Чернышевского в последующие годы (ср. известные его статьи и высказывания о Л. Толстом и Тургеневе). Вероятно, этот интерес стимулировался теперь не только «комплексом Майкова», т. е. ориентацией психологизма на выработку путей к будущему, к созданию гармонических характеров, но и взрослостью, сложным личным душевным опытом, о чем бесспорно свидетельствует известное письмо Чернышевского к Некрасову от 5 ноября 1856 г., где чрезвычайно высоко оценивается интимная лирика поэта и где автор письма чуть ли не единственный раз раскрыл адресату сокровенные тайны и своей души⁸: «я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятяся, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие (же) права, как и поэзия мысли» (XIV, 322).

Именно в свете этого письма может быть понятна столь высокая оценка романа «Униженные и оскорбленные», данная Чернышевским в обзоре 1-го номера журнала «Время» за 1861 г. (следует, впрочем, учесть, что критик пока ознакомился лишь с первой частью романа — из четырех): «Личность этого счастливого любовника (Алеши — Б. Е.) задумана очень хорошо, и если автор успеет выдержать психологическую верность в отношениях между ним и отдавшеюся ему девушкой, роман его будет одним из лучших, какие являлись у нас в последние годы. В первой части, по нашему мнению, рассказ имеет правдивость: это соединение гордости и силы в женщине с готовностью переносить от любимого человека жесточайшие оскорбления, одного из которых было бы, кажется, до-

⁸ Об эмоционально-психологическом субъективном интересе Чернышевского к творчеству Некрасова см.: Лазерсон Б. И. Чернышевский о любовной лирике Некрасова. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 7. Изд-во Сарат. ун-та, 1975, с. 95—108.

статочно, чтобы заменить прежнюю любовь презрительную ненавистью, — это странное соединение в действительности встречается у женщин очень часто. Наташа с самого начала предчувствует, что человек, которому отдается она, не стоит ее; предчувствует, что он готов бросить ее — и все-таки не отталкивает его, напротив, бросает для него свою семью, чтобы удержать его любовь к себе, поселившись вместе с ним. Она очень ревнива, а он, пользуясь любовью милой девушки, находит в себе еще охоту кутить с разными камелиями; она знает это и все-таки продолжает любить его. Наконец, у него является невеста, на которой он уже почти решил жениться, и Наташа все еще не отталкивает этого дрянного человека. Те из мужчин, которым не случилось всматриваться в драмы, происходящие около них, или которые слишком рано загрузели, назовут такую историю невозможной или цинически скажут, что у Наташи были свои расчеты, что загадка разъясняется вовсе не к чести Наташи. К несчастью, слишком многие из благороднейших женщин могут припомнить в собственной жизни подобные случаи» (VII, 951—952).

Несколько месяцев спустя в статье «Забитые люди» Добролюбов решительно не согласился с психологической доброверностью героев «Униженных и оскорбленных», назвав любовь Наташи «исключительной, ненатуральной» и удивляясь, «как может смрадная козявка, подобная Алеше, внушить к себе любовь порядочной девушке»⁹.

В различии мнений Чернышевского и Добролюбова наблюдается отдаленное типологическое сходство с соответствующей противоположностью оценок Достоевского Белинским и Валерианом Майковым: Белинский и Добролюбов сближаются как реалисты и социологи, главное внимание уделяющие социально-типическим, массовым явлениям их времени и аналогичным отображением в художественной литературе (и поэтому нарочитая исключительность характеров и коллизий Достоевского им чужда); а Майков и Чернышевский объединяются, в свете их утопических идеалов, интересов к совсем не массовидно, а «единично» типическому, к сложным глубинам индивидуальной психики. Эти различия не расшатывают фундаментального мировоззренческого сходства критиков, но разные акценты дают повод к типологическому противопоставлению.

⁹ Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти тт., т. 7. М.—Л., 1963, с. 233, 234.

Кажется, впервые на противоположность оценок романа «Униженные и оскорбленные» в статьях революционных демократов указал в 1969 г. Г. М. Фридлендер в оппонентском отзыве о докторской диссертации М. Г. Зельдовича «Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и русская критика их времени», защищавшейся в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена.

На «Униженных и оскорбленных» не кончается интерес Чернышевского к романисту. В известном мемуарном очерке «Мои свидания с Ф. М. Достоевским» (1888) он очень туманно рассказал о визите к нему в 1862 г. «незнакомого человека скромного и почтенного вида», намеревавшегося издать хрестоматию научных и художественных произведений для «малообразованных» взрослых (т. е. для простого народа), в результате чего якобы он, Чернышевский, на другой день отправился к Достоевскому получить согласие на использование отрывков из его рассказов в этой хрестоматии (I, 778—779).

Почти сто лет этот отрывок выглядел загадочным и сомнительным (не верилось, что крайне осторожный Чернышевский сразу же пошел бы к почти незнакомому писателю ради совсем незнакомого человека, хотя бы и расположившего к себе ценным начинанием). Лишь совсем недавно это место оказалось расшифрованным благодаря архивной находке рукописи А. Д. Путьяты, активного члена «Земли и воли» шестидесятых годов»¹⁰.

Оказывается, якобы незнакомым был сам А. Д. Путьята (его имя ссыльный Чернышевский не упомянул в 1888 г., видимо, не зная о его судьбе), несомненно хорошо знакомый Чернышевскому офицер и преподаватель, организатор в марте 1862 г. общества для издания дешевых книг для народа (в обществе состояло 44 человека, главным образом преподавателей военно-учебных заведений и университета). Оказывается, Чернышевский сам предложил обществу издание отрывка из «Записок из Мертвого дома»; общество решило издать сокращенный текст произведения отдельной книгой, и Чернышевский сам взял на себя отбор материала, договорившись с Достоевским о передаче ему права на этот отбор. Арест Чернышевского 7 июля 1862 г. разрушил планы общества, но все-таки Путьята в 1863 г. издал «Сборник рассказов в прозе и стихах», вскоре запрещенный правительством, — и включил в него этот отрывок.

В. Лейкина-Свирская справедливо заключает: «Желание Чернышевского самому сделать выбор из «Записок из Мертвого дома» и согласие на это Достоевского позволяют думать, что отношения между ними в это время были более дружественными, чем это отражено в их позднейших воспоминаниях»¹¹.

Действительно, обнаруженные данные раскрывают значительный эпизод в общественной и литературной биографии Чернышевского. Однако не следует преуменьшать идейно-

¹⁰ Лейкина-Свирская В. Н. Г. Чернышевский и «Записки из Мертвого дома». — «Русская литература», 1962, № 1, с. 212—215.

¹¹ Там же, с. 213.

политических и эстетических разногласий двух выдающихся деятелей шестидесятых годов. Судя по имеющимся их собственным воспоминаниям и воспоминаниям современников, да и по всем материалам тех лет, видно, насколько драматичны были личные встречи Чернышевского и Достоевского в 1862 г.; настолько драматичны, что об этом можно бы написать настоящую трагедию: два знаменитых литератора встречаются, горячо обсуждают серьезнейшие проблемы своего времени, взволнованно думают о судьбе Родины, но сходно принимают собеседника — каждый по-своему, но в общем, едино — как наивного, больного, да еще ненормально самовлюбленно человека!

Вспомним мемуары С. Г. Стахевича о сибирских беседах с Чернышевским: «Однажды разговор коснулся Достоевского. Николай Гаврилович усмехнулся и сказал нам: — Самомнение у этого человека огромное. Раз он прогуливался с таким-то (Николай Гаврилович назвал фамилию литератора, но я забыл ее) где-то в садах Павловска или Царского Села; присели они на скамеечку, отдыхают; помолчавши некоторое время, Достоевский говорит своему собеседнику: вот мы с вами сидим тут, а через сто лет, может быть, здесь будет поставлен памятник, а на скамье будет надпись: на этой скамье сидели Достоевский и такой-то, тогда-то.

Произнося слова Достоевского, Николай Гаврилович придал своему голосу оттенок маниловской мечтательности и умиленности»¹².

Приведем теперь наброски Достоевского из записной книжки 1861 г.: «на бумаге у себя в кабинете Г. Чернышевский тешится тем, что призывает к себе, подзывает пальцем всех великих мира сего: Канта, Гегеля, Альбертини, Дудышкина, и начинает их учить по складам. Эта потеха очень невинная и, конечно, очень смешная, она напоминает Поприщина, вообразившего, что он испанский король»; «И-вышло, что все это от безобразного самолюбия»¹³.

Из воспоминаний и Чернышевского, и Достоевского о взаимных встречах видно, что каждый разговаривал тогда с собеседником именно как с больным, с которым нужно было осторожно вести беседу (только Достоевский, веря в разумность противника, надеялся его переубедить, а Чернышевский лишь деликатно поддакивал, совершенно не предполагая возможности серьезного разговора с психически больным человеком).

Идеологические, мировоззренческие разногласия не могли

¹² Стахевич С. Г. Среди политических преступников. — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. II. Саратов, 1959, с. 90.

¹³ Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860—1881 гг.— «Лит. наследство», т. 83. М., 1971, с. 136, 153.

не отражаться и на художественных оценках, но значительность таланта Достоевского и давний интерес Чернышевского к его методу психологического анализа объясняют тот факт, что и в сибирской ссылке критик напряженно интересовался новыми произведениями писателя.

В малоизвестных, к сожалению, «Воспоминаниях шестидесятника» И. Г. Жукова есть такой эпизод: «я прямо перешел к содержанию «Преступления и наказания», относя его к области расстроенной психики автора, приберегая улики на то к позднему времени, так как Чернышевский, видимо, взволнованный от романа, прервал меня, доказывая, что тут старательно подтасованы клеветы, взводимые на молодое поколение раньше»¹⁴.

В самом начале сознательного жизненного пути Чернышевский тянулся к таланту Достоевского, отвергая «содержание» его произведения, и много лет спустя, в Сибири, взволнованный новым романом, говорил о клевете на молодежь... А в середине этого хронологического отрезка были удивительные, почти парадоксальные прорывы к безоговорочно положительным оценкам писателя, которые затем быстро гасились Достоевским, решительно не принимавшим революционно-демократического направления «Современника» во главе с Чернышевским и Добролюбовым.

¹⁴ «Литературный Саратов», кн. 8, 1947, с. 258.

**АВТОР-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ В РОМАНЕ
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»**

А. В. Луначарский впервые обратил внимание на то, что внутреннее построение «Что делать?» идет по четырем поясам: пошлые люди, новые люди, высшие люди и сны¹.

Как же, однако, эти четыре пояса (сегодня мы бы сказали — уровни) объединяются в одно органическое целое? Здесь, несомненно, ведущую роль играет образ автора.

В любом художественном произведении именно автор соединяет все уровни и элементы повествования в единое целое. В интеллектуальном же романе организующая роль автора особенно велика. Формы выражения авторского сознания здесь проявляются более непосредственно, более, так сказать, наглядно.

Применительно к роману Чернышевского «Что делать?» образ автора усматривают обычно лишь в публицистических отступлениях. Это неверно: авторская мысль является в интеллектуальном романе одним из важнейших жанрообразующих факторов. В данном случае можно говорить об имеющейся уже в русской литературе традиции, сформулированной Белинским в письме к Герцену (6 апреля 1846 г.): «Деятельные идеи и талантливое живое их воплощение — великое дело, но только тогда, когда все это неразрывно связано с личностью автора и относится к ней как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь»².

Сам Чернышевский очень интересовался проблемой автора в художественном произведении. Вскоре после окончания «Что делать?» он задумывается над установившейся уже традицией в русской литературе, конечно, учитывая и собственный опыт работы над первым своим романом. Размышляя о

¹ Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1957, с. 229.

² Белинский В. Г. Избранные письма, т. 2. М., 1955, с. 277.

крупнейших произведениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя, он писал: «...в «Мертвых душах» нет личного портрета автора или портретов его знакомых; но так же (как в «Евгении Онегине» и «Герое нашего времени». — М. Т.) внесены личные симпатии автора, в них-то и сила впечатления, производимого этим романом»³.

Итак, по убеждению Чернышевского, сила впечатления, производимого романом, зависит прежде всего от ясно выраженных личных симпатий автора. При этом необязательно прямое и непосредственное участие автора в развитии действия. Но у самого Чернышевского весь роман организуется на основе развития авторской идеи.

В современном литературоведении принято различать автора как носителя единства сознания, выражением которого служит все художественное произведение, от автора-повествователя (или рассказчика)⁴.

Этот автор является непосредственным «носителем речи», участником событий, о которых рассказывается в романе. Он, например, может быть знаком с героями произведения. Так, в романе «Что делать?» повествователь знаком с Кирсановым, Рахметовым и т. д. Наконец, и первый и второй авторы не равняются реальному, биографическому автору, в данном случае — Н. Г. Чернышевскому.

У Чернышевского повествователь — особая форма передачи авторских оценок, суждений, взглядов. Однако это и действующее лицо романа, до известной степени объективизированное и, таким образом, отдаленное от биографического автора.

Образ повествователя претерпел некоторую эволюцию в процессе работы Чернышевского над романом. В черновом автографе были перечислены «Действующие лица в рассказе»; в их числе было упомянуто «Лицо, рассказывающее [Николай] Владимир Петрович Турчинов. 30 лет [Петр] Посредник, Владимир Петрович Копанцев, 35 лет» (345)⁵.

Показательно, что первоначально Чернышевский хотел дать посреднику свое имя: Николай; во втором варианте возраст посредника (35 лет) соответствовал возрасту самого автора к началу работы над романом.

В черновом варианте после «Первого следствия дурацкого дела» была особая глава: «III. Вторая завязка», в которой

³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. XII. М., 1949, с. 689.

⁴ См.: Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972. В настоящей статье термины «повествователь» и «рассказчик» употребляются как синонимы, хотя Б. О. Корман предлагает и их различать.

⁵ Ссылки на текст романа даются в статье сокращенно: указываются только страницы по изданию: Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л., 1975.

действовал Владимир Петрович Копанцев (упомянутый ранее в черновике как «посредник»). Он привез Вере Павловне записку от Лопухова. Некоторыми чертами Копанцев отличен от Рахметова: он более мягок; можно догадаться, что он когда-то «спас» Машу, горничную Веры Павловны (подобно тому, как Кирсанов спас Настю Крюкову). Он нежно целует при встрече Веру Павловну, чего от Рахметова ждать было трудно. Но вместе с тем для Копанцева характерны и определенные рахметовские черты: «Еще не родился на свете тот человек, чтоб от меня отвязался, коли хочу навязаться» (353). В окончательном тексте весь этот эпизод перенесен в другое место, а роль Владимира Петровича Копанцева передана Рахметову, который и именуется себя «посредником»⁶ (217).

«Лицо рассказывающее» вообще лишается каких-либо видимых внешних признаков (фамилии, точного возраста), но является все же не только формой выражения авторского сознания, но и самостоятельным действующим лицом. Это, в частности, подчеркивается тем, что автор отрицает свою «вездесущность» и «всезнание», убеждая читателей в своей недостаточной информированности: «Что было потом с этою дамою? В ее жизни должен был произойти перелом; по всей вероятности, она и сама сделалась особенным человеком. Мне хотелось узнать. Но я этого не знаю... ..А вот чего я действительно не знаю, так не знаю: где теперь Рахметов, и что с ним, и увижу ли я его когда-нибудь» (213). Тем самым подчеркивается отличие повествователя от автора-творца, который знает все. Рассказчик выступает в данном случае не только субъектом, но и объектом повествования⁷.

Бросается в глаза, что Чернышевский сделал повествователя представителем старшего поколения по сравнению с новыми людьми. В черновом автографе специально подчеркивалась дистанция, отделяющая его от героев романа: «...я человек старого века. Я все забываю, что переменялось к лучшему многое с той поры, как установились мои понятия, — что русская публика, к какой я привык, уже больше чем наполовину сменилась публикою другого поколения, более честною и более чистою» (458). И в окончательном тексте Чернышев-

⁶ Показательно, что в черновом перечне «Действующих лиц в рассказе» упомянута торговка поношенным платьем Рахель и горничная Маша, но Рахметов вовсе не упомянут. Возможно, мысль о необходимости создания образа «особенного человека» явилась у Чернышевского позднее.

⁷ Неверным представляется нам суждение Н. А. Вердеревской: «Автор формально не входит в число действующих лиц романа «Что делать?» ни как рассказчик, ведущий повествование от первого лица, ни как участник событий. Но голос автора постоянно звучит в романе в публицистических обращениях к читателю-другу». Вердеревская Н. А. О «прототипической версии» в изучении художественных произведений Чернышевского. — В кн.: Чернышевский Н. Г. Статьи, исследования, материалы. Вып. 5. Изд-во Саратов. ун-та, 1968, с. 125.

ский не упускает случая напомнить, что повествователю «уже немало лет» (143) и что формирование его сознания происходило в более раннюю эпоху: тип новых людей «зародился недавно; в мое время его еще не было, хоть я не очень старый, даже вовсе не старый человек. Я и сам не мог вырасти таким, — рос не в такую эпоху; потому-то, что я сам не таков, я и могу не совестясь выражать свое уважение к нему, к сожалению, я не себя прославляю, когда говорю про этих людей: славные люди» (149).

Все это не имеет никакого отношения к реальному Н. Г. Чернышевскому. Поэтому неверны утверждения, будто бы сам Чернышевский является одним из действующих лиц своего же романа, будто бы Лопухов и его товарищи обсуждают статьи Чернышевского, а Рахметов его посещает — и т. д.⁶

В романе сообщаются точные даты. Нетрудно высчитать, что Кирсанов и Лопухов родились в 1830 г., Рахметов — в 1834, Вера Павловна — в 1835, а вдова, спасенная Рахметовым, — в 1838 г. Следовательно, Лопухов и Кирсанов «моложе» Н. Г. Чернышевского всего на 2 года. Вряд ли можно в данном случае говорить о людях разных поколений. Если же Чернышевский настаивает на этом, то здесь есть свой резон, так как повествователь в романе — это не Чернышевский.

Следует тут же добавить, что тот персонаж, который в VI главе появляется рядом с дамой в розовом платье, — тоже не Чернышевский. В тексте сказано, что это был «мужчина лет тридцати». Действие происходит в 1865 г. Тогда Чернышевскому было бы 37 лет. Но это и не автор-повествователь, который заведомо называет себя представителем «прежнего поколения», т. е. выдает себя за человека значительно старше Лопухова и Кирсанова — а ведь им в 1865 г. должно было бы исполниться по 35 лет. Это обстоятельство следует иметь в виду, так как в исследовательской литературе можно встретить суждения, основанные на неточном истолковании текста романа Чернышевского «Что делать?»

Так, М. Т. Пинаев пишет: «В современном литературоведении после работ Б. Я. Бухштаба распространилось мнение, что участники пикника в данном случае говорят не о Рахметове, а о самом Чернышевском, выступающем в романе в качестве литературного образа». И далее М. Т. Пинаев утверждает, что «дама в трауре» «ждет не Рахметова, а другого человека, вырванного царской охранкой из рядов борцов. Имя его — Чернышевский»⁹.

Необходимо заметить, что в последующих публикациях своей работы Б. Я. Бухштаб уточнил свои позиции. В 1953 г.

⁶ История русской литературы, т. VIII, ч. 1. М.—Л., 1956, с. 496, 500.

⁹ Пинаев М. Т. Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» М., 1963, с. 124, 215.

он утверждал, что «мужчина лет тридцати» — это «сам Чернышевский, освобожденный победоносной революцией»¹⁰. При перепечатке этой статьи в 1966 г. Б. Я. Бухштаб ограничился указанием, что в облике «дамы в трауре» многое напоминает О. С. Чернышевскую. Н. Г. Чернышевский сделал это совершенно сознательно в расчете на понимание «читателей-друзей»; они знали, «что автор заключен в Петропавловскую крепость — и, находя в конце романа новую героиню — мужественную жену таинственного человека, с которым случилась давно предвиденная им беда, — читатели могли угадывать в этой героине жену Чернышевского, которой роман и посвящен»¹¹.

Однако же отсюда вовсе не следует, что «мужчина лет тридцати», появляющийся в главке «Перемена декораций», это и есть сам Н. Г. Чернышевский. То, что здесь отразилась оптимистическая уверенность автора романа в близкой революции и своем освобождении, — несомненно. Но при всем этом необходимо учитывать наличие существенных различий между реальным Н. Г. Чернышевским, автором-повествователем и «мужчиной лет тридцати».

* * *

В иерархии образов автор-повествователь занимает высшее место. В споре: кто главный герой романа «Что делать?»: Вера Павловна или Рахметов, не следовало бы забывать об авторе.

В романе Чернышевского автор-повествователь изображен как глубоко мыслящий человек, хорошо знающий и понимающий жизнь и людей. Он не просто судья (хотя и судья тоже); прежде всего он стремится научить читателей правильно смотреть на жизнь. Необходимо, чтобы у них выработались правильные критерии оценки не только самой действительности, но и литературы тоже.

Если читатель будет смотреть на героев романа снизу вверх, они могут представиться ему гигантами. Автор же стоит на одном уровне с героями, точнее — даже немного выше их. Он видит их истинное соотношение. Пропорции не нарушаются. Задача и заключалась в том, чтобы поднять читателя, поставить его выше, дать ему возможность встать на новую точку зрения, благодаря которой хороший дом не покажется ни лачужкой, ни дворцом. На этой высоте могут стоять все люди, и автор всячески старается им в этом помочь.

¹⁰ Бухштаб Б. Я. Записка Н. Г. Чернышевского о романе «Что делать?» — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка». Вып. 2. 1953, с. 161.

¹¹ Бухштаб Б. Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966, с. 127.

Само собой разумеется, читатели в восприятии Чернышевского не сливаются в однородную массу (это давно уже выяснено в нашем литературоведении). Но характерно, что в романе, где такое видное место занимает образ автора-повествователя, выдвигается по закону парности и образ его идейного оппонента — проницательного читателя. Возникает полемический диалог, главная роль в котором, конечно, все время сохраняется за автором¹².

Повествователь в романе обладает широчайшей образованностью, которую он непринужденно демонстрирует на протяжении всего произведения. Сведения из самых различных областей знания помогают ему в случае необходимости перевести разговор от конкретно-бытовых фактов к обобщениям буквально всемирно-исторического характера (см., например, его рассуждения об особенностях характера Марии Александровны в сопоставлении с судьбой Наполеона и т. д.).

Структура образа рассказчика в «Что делать?» достаточно сложна. В манере повествования ощущаются различные оттенки в зависимости от предполагаемого собеседника (слушателя). Отсюда появляются ирония язвительная или добродушная, открытое негодование или ораторский пафос.

Порою рассказчик якобы присоединяется к мнению проницательного читателя, в результате чего появляется «мы», которое, однако, на самом деле только способствует разоблачению обывательско-мещанского мировоззрения. Например: «Что подумала Марья Алексеевна о таком разговоре, если подслушала его? Мы, слышавшие его весь, с начала до конца, все скажем, что такой разговор во время кадрили — очень странен» (57)¹³. Мы, в данном случае, — это те самые проницательные читатели, которые не могут постичь сути подлинно человеческих, чистых и благородных отношений между мужчиной и женщиной. И далее аналогичный случай: «Так они <Лопухов и Вера Павловна> поговорили — странноватый разговор для первого разговора между женихом и невестой...» (97). Станноватый — не для автора, разумеется, а для тех же читателей, о которых речь шла выше. Это чужое слово в авторской речи, передающее чужое сознание. И далее на страницах «Что делать?» можно неоднократно встретить такое мы, которое передает не точку зрения автора, а, напротив, призвано разоблачить его антагонистов, людей, не

¹² В качестве отдаленной аналогии можно вспомнить роман Проспера Мериме «Хроника Карла IX», где есть глава «Диалог между читателем и автором». Перед нами тоже своеобразный «проницательный читатель», обладающий чертами эстетического консерватизма, предпочитающий шаблонные, стандартные приемы повествования. Но в романе Мериме полемический диалог между читателем и автором является только вставным эпизодом и не определяет структуру всего произведения. Кроме того, там поэтика была посвящена вопросам сугубо литературного характера.

¹³ Здесь и далее курсив в цитатах из романа мой. — М. Т.

признающих чистоты в человеческих отношениях, не понимающих подлинных законов художественности и т. д.: «Нам нужны только факты» (63), «Мы нисколько не вправе осуждать ее» (г-жу Б., побоявшуюся взять Веру Павловну гувернанткой в свой дом — 85) — и т. п.

Порою автор иронически солидаризируется с проницательным читателем, но с тем, чтобы тут же (или вскоре) показать ложность его суждений. Например, по поводу чтения Верой Павловной «Декамерона» в романе сказано: «...какая безнравственность! — замечаем мы с проницательным читателем, — женщина читает Боккаччио! это только мы с ним можем читать». И тут же *мы* исчезает, появляется я рассказчика, который уже от своего имени, отбросив всякую иронию, говорит с суровым осуждением о проницательном читателе, от которого женщина в пять минут услышит больше сальностей, чем найдет во всем Боккаччио (274).

В романе все время слышится голос рассказчика, ощущается его присутствие. Он стремится помочь читателю своими комментариями, суждениями, репликами, которые порою вторгаются даже в прямую речь персонажей. Вот, например, как осуществляется авторская «корректировка» в сцене, когда Анна Петровна Сторешникова дарит жене управляющего свое платье: «Оно стоит 150 р. (85 р.), я его только 2 раза (гораздо более 20) надевала. Это я дарю вашей дочери, — Анна Петровна подала управляющему очень маленькие дамские часы, — я за них заплатила 300 р. (120 р.)» — и т. д. (42).

Но если отношение повествователя к Сторешниковой проникнуто язвительным сарказмом, то рассказ его об Марье Алексеевне Розальской выдержан в другой тональности. Возможно, в данном случае Чернышевский отталкивался от наметок Достоевского. В повести «Дядюшкин сон» рассказывается о Марье Александровне, готовой продать свою дочь в жены богатому старику. Достоевский с явной иронией писал: «Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме...» (гл. 1). «Похвальное слово Марье Алексеевне» по характеру своему вовсе не иронично. Это серьезный разговор с женщиной, не виноватой в том, что силою внешних обстоятельств она вынуждена лгать и обманывать. Рассказчик не скрывает своего отношения к ней и все же заявляет: «...из всех людей, которых я не люблю и с которыми не желал бы иметь дела, я все-таки охотнее буду иметь дело с вами, чем с другими» (114).

Наконец, характер повествования решительно меняется там, где рассказ ведется о новых людях, которых автор любит и с которыми желал бы иметь дело. Здесь тоже появляется *мы*. Но оно лишено уже иронического оттенка, а означает действительное единство автора с кружком новых людей.

Порою он прямо говорит от их имени. Так, рассказывая о Рахметове, он пишет, что о его богатстве «никто не знал, пока он жил между нами. Это мы узнали после»... «...каждый из нас, мало заботившийся о подобных справках...» (203). «Какие дела у него, этого кружок не знал» (210). «Тогда-то узнал наш кружок...» (211).

Так проявляется место автора-повествователя в системе образов романа: он вместе с новыми людьми, он член кружка людей, близких к Рахметову.

Тон рассказа о новых людях проникнут сочувствием и уважением. Это разговор о единомышленниках и с единомышленниками. Автор не сомневается, что они поймут его так же легко, как и он их понимает, потому что они образуют один кружок, потому что их объединяет передовое мировоззрение. Отсюда подчеркивание общности автора с его любимыми героями, постоянная демонстрация сходства их взглядов и оценок: «А вот что в самом деле странно, Верочка, — только не нам с тобою, — что ты так спокойна» (59).

Особый интерес представляет соотношение в романе повествователя и Рахметова. Давно уже замечена руководящая роль Рахметова в какой-то тайной революционной организации. Однако подобную (а, может быть, и более ответственную) роль играет и повествователь, о чем в романе есть совершенно ясные намеки. Не случайно у Рахметова существовала настоятельная потребность знакомства с рассказчиком (как известно, Рахметов делал только то, что считал совершенно необходимым). И хотя автор-повествователь по каким-то (возможно, конспиративным) соображениям не захотел откровенно говорить с гостем («я тогда не любил новых знакомств...» — 209), Рахметов все же имел основания сохранить к нему «прежнее доверие и, пожалуй, уважение» (210). В дальнейшем же они встречались и беседовали с полной откровенностью, причем отношения между ними, сколько можно судить из текста романа, приняли характер отношений старшего и младшего, может быть, даже учителя и ученика: «...он, через несколько времени после первого нашего разговора, полюбил меня за то, что я смеялся (наедине с ним) над ним...» (213).

Эта насмешливость повествователя относилась не только к Рахметову, но и к другим *особенным* людям: «Над теми из них, с которыми я был близок, я смеялся, когда бывал с ними наедине; они сердились или не сердились, но тоже смеялись над собою» (202).

А. А. Лебедев утверждал, что на Рахметова автор «смотрел в какой-то мере снизу вверх»¹⁴. На самом деле это не так. Уровень рассказчика и Рахметова одинаков, или, скорее, уро-

¹⁴ Лебедев А. А. Герои Чернышевского. М., 1962, с. 73.

вень рассказчика выше. Об этом и свидетельствует та мягкая ирония, с которой в романе говорится об особенных людях.

В принципе повествователь — человек того же круга, что и Рахметов. Что же заставляет его смеяться над своими соратниками и единомышленниками (хотя бы и наедине с ними)? Может быть, подчеркнутый аскетизм особенных людей, излишнее теоретизирование? Стремление представить свою жизнь, свою борьбу как нечто очень легкое, желание приуменьшить трудности, которые стояли перед ними? Может быть, насмешку вызывало отрицание сложности жизни, излишний рационализм? Трудно с точностью ответить на эти вопросы, но не может не обратить на себя внимание такое, например, суждение автора: «Я часто ... хохотал среди их патетических уверений, что, дескать, это для меня было совершенно ничего, очень легко...» (249).

Правда, повествователь тут же спешит напомнить, что сам он принадлежит к кругу этих же людей, что его смех предназначен лишь для своих, что его любовная ирония вызвана только некоторыми странностями и преувеличениями в личном поведении его соратников. Поэтому автор-повествователь считает необходимым даже оговорить свое несогласие с некоторыми действиями «новых людей». Он опирается при этом на правду самой жизни — но с точки зрения проницательного читателя автор тогда выглядит еще «хуже» героев романа: «Я тут многое не одобряю. Пожалуй, даже все не одобряю, если тебе сказать по правде. Все это слишком еще мудро, восторженно, жизнь гораздо проще.

— Так ты, значит, еще безнравственнее? ...

— Гораздо безнравственнее, — говорю я, неизвестно, вправду ли, насмех ли над проницательным читателем» (249).

Характерно, что Рахметов, например, признавал правомерность иронии повествователя: «...в ответ на мои насмешки вырывались у него такого рода слова: «Да, жалейте меня, вы правы, жалейте: ведь и я тоже не отвлеченная идея, а человек, которому хотелось бы жить. Ну, да это ничего, пройдет», прибавлял он. И точно, прошло. Только однажды, когда уже я слишком много расшевелил его насмешками, даже поздней осенью, все еще вызвал я из него эти слова» (213).

Но Чернышевский не желал, чтобы авторская ирония бросала какую бы то ни было тень на то, что было основным в мыслях и деятельности особенных людей. Поэтому он считал совершенно необходимым уточнить свое отношение к ним. Так возникают в романе знаменитые слова автора-повествователя, передающие чувство глубокого преклонения перед этими людьми — честными, смелыми, самоотверженными революционерами: «Так видишь ли, проницательный читатель, это я не

для тебя, а для другой части публики говорю, что такие люди, как Рахметов, не смешны ... Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы» (215). Здесь речь повествователя уже отнюдь не иронична, но, напротив, проникнута ораторским пафосом. Повествователь выступает в данном случае как проповедник, провозглашающий неминуемое торжество правды новых людей и призывающий всех людей всемерно способствовать приближению этого торжества.

Таким образом, роль повествователя в романе Чернышевского «Что делать?» огромна. Именно он является одной из основных форм выражения авторского сознания в произведении. Но повествователь вместе с тем в определенной мере — художественный образ, одно из действующих лиц, взгляды и высказывания которого, естественно, очень важны для восприятия идейного смысла романа.

Из всех действующих лиц повествователь наиболее близок к автору. В этом отношении особое значение приобретают его воспоминания о пожаре, который он наблюдал в детстве в большом провинциальном городе, стоящем на реке (Саратов?): «С той поры я уж и знал, что если страшно от сильного пожара, то надобно бежать туда и работать, и вовсе не будет страшно» (265).

Символическое значение этого эпизода несомненно. И принципиально важно, что эпизод связан не с кем-либо из других персонажей, а именно с повествователем. Здесь явственно ощутимы автобиографические нотки, заставляющие помнить о том, что за повествователем все время стоит Н. Г. Чернышевский, хотя и не сливается с ним.

УТОПИЧЕСКИЕ ИДЕИ РОМАНА «ЧТО ДЕЛАТЬ?» В ОЦЕНКАХ «СОВРЕМЕННОКА»

Роман Чернышевского «Что делать?» вызвал разноречивые отклики не только в кругу идейных противников, но и среди соредакторов или сотрудников «Современника» — М. Салтыкова, М. Антоновича, Г. Елисеева, А. Пыпина, Ю. Жуковского.

Отношение Салтыкова-Щедрина к роману и идеям утопического социализма изучено в современном щедриноведении достаточно хорошо. Можно сослаться на статьи и монографии В. Я. Кирпотина, Я. Е. Эльсберга, С. А. Макашина, Е. И. Покусаева, А. С. Бушмина и других исследователей.

Что же касается позиций журнальных соратников Салтыкова, то они остались до сих пор почти невыясненными¹.

Напомним некоторые главные направления выступлений писателя в связи с обсуждением в печати 1860-х гг. проблемы будущих форм социального устройства и разного рода ассоциаций в современном обществе.

Теоретически обоснованная критика Салтыковым утопических построений содержалась в запрещенной цензурой ста-

¹ Отдельные наблюдения по этому вопросу содержатся в работе: Самосюк Г. Ф. М. Е. Салтыков-Щедрин в «Современнике» (к истории внутри-редакционных отношений 1862—1864 гг.). Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саратов, 1971, с. 188—207. А. М. Гаркави предложил (вслед за автором диссертации) учесть в анализе глав о «мастерских» в романе «Что делать?» ту полемику по поводу производственных ассоциаций, которая развернулась на страницах русских журналов и в частности «Современника» 60-х гг. См.: Гаркави А. М. Главы о мастерских Веры Павловны и журнальная полемика о производственных ассоциациях. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 7. Изд-во Саратов. ун-та, 1975, с. 178—179.

ть «Современные призраки»². Это было первое его сочинение после выхода в свет романа Чернышевского, критически осмыслявшее многочисленные на Западе и в России попытки «практического воплощения идеала» среди «не подготовленного» к их восприятию общества. Но в то же время в статье содержался и несомненный отклик на художественно-публицистическую разработку проблемы будущих форм жизни в романе³. Poleмический подтекст ощущался в рассуждениях о действительности и социалистическом идеале, о путях и средствах его достижения, в страстной критике образного воплощения отдельных элементов нового общества и практики немедленного осуществления утопий.

Признавая здесь возможность постижения теоретических основ утопического социализма «в отвлечении», Салтыков полагал, что художественное претворение логических построений в живые, действующие образы покажется «неловким, режущим глаза», «приторным, идилическим, почти пошлым», а реализация в современных условиях мысли о свободных трудовых ассоциациях может дискредитировать самую идею этих объединений (6, 401)⁴. Важно также указание автора на психологическую неподготовленность общества к новому «жизненному строю» («мы все-таки не в состоянии будем побороть в себе некоторого чувства недоверия» — 6, 400).

Поскольку «Современные призраки» не удалось опубликовать, Салтыков еще не раз обращался к роману Чернышевского, чтобы высказать свое отношение к произведению в целом и

² В. Э. Боград вслед за В. Е. Евгеньевым-Максимовым (см.: Евгеньев-Максимов В. Е. Последние годы «Современника». 1863—1866. Л., 1939, с. 61) и С. Л. Белевицким (см.: Щедрин Н. (Салтыков М. Е.). Полн. собр. соч. Т. VI. М., 1941, с. 566) справедливо отнес время написания философско-исторических рассуждений Салтыкова к 1863 г. (см.: Салтыков М. Е. Собр. соч. Т. 6. М., 1968, с. 676. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы). В качестве дополнительных аргументов в пользу 1863 г. можно привести следующие: 1. Толкование понятия «общество» в «Современных призраках» совпадает с его содержанием в ноябрьской хронике Щедрина за 1863 г. (см. 6, 382 и 162). В февральском обозрении «Наша общественная жизнь» за 1864 г. происходит переосмысление этого понятия (см. 6, 286, 287). 2. В «Современных призраках» Салтыков упоминает должность «начальника акционных сборов» (6, 382). Это упоминание могло возникнуть после 12 апреля 1863 г., когда специальным указом были учреждены департаменты окладных и неокладных сборов, в последнем из которых было сосредоточено главное управление акционными сборами во главе с начальником или главным начальником.

³ Как редактор Салтыков был знаком с романом Чернышевского еще в рукописи, над которой автор работал в 1862 — начале 1863 гг. (роман опубликован в «Современнике», 1863 г., №№ 3, 4 и 5).

⁴ Об отрицательном отношении Салтыкова к существовавшим тогда «увлечениям по части коммунизма» писал в своих мемуарах П. Д. Боборыкин: <...> В «Современнике» <...> сам тогдашний первый радикальный сатирик — М. Е. Салтыков — весьма жестоко «прохаживался» над этими увлечениями (Боборыкин П. Д. Воспоминания. В 2-х тт. Т. I. М., 1965, с. 349).

к чрезвычайно важной для него в 60-е г. проблеме социалистического идеала и его художественного воплощения.

В известной январской хронике «Наша общественная жизнь» (1864) Салтыков подверг иронической трансформации представления критиков «Русского слова» об абсолютном значении в будущей жизни провозглашенных в романе Чернышевского подробностей новых социально-этических и бытовых отношений (см. 6, 232). Не видя или не желая видеть истинный смысл щедринской иронии, критик «Русского слова» В. Зайцев в статье «Глуповцы, попавшие в «Современник» обвинил Салтыкова в глумлении над романом Чернышевского⁵.

В связи с выступлением «Русского слова» обозреватель «Современника» вынужден был дать специальное разъяснение относительно своих взглядов на это произведение. «<...> в прошлом году, — писал Салтыков в мартовской хронике 1864 г., — вышел роман «Что делать?» — роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он <...> представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных» (6, 324). Солидаризируясь с основной идеей романа и тем самым опровергая измышления журналистов об измене традициям «Современника», Салтыков, однако, по-прежнему не принимал некоторые из сторон художественно-эстетической концепции Чернышевского. Он считал, что «живая и разумная идея» произведения сильнее и величественнее «сочиненных и только портящих дело подробностей» и что «всякий разумный человек» сумеет отличить в нем главное, объективное от второстепенного, субъективного (6, 324).

Отношение к произведению Чернышевского Салтыков выразил и в статье «Гг. «Семейству М. М. Достоевского», издающему журнал «Эпоха»⁶, но не прямо, а косвенно. Это отношение он включил в контекст своих представлений об идеале и допустимых законами эстетики и общественного сознания подробностях его художественного воплощения, о социальной утопии и искусстве, о путях достижения общественного идеа-

⁵ «Русское слово», 1864, № 2, с. 34.

⁶ Эта статья, предназначавшаяся, вероятно, для ноябрьско-декабрьского номера «Современника» 1864 г., явилась итоговой в его полемике с «Эпохой», обвинявшей, в частности, сатирика в нападках на роман Чернышевского: «<...> Когда в одно прекрасное утро ему «попался на глаза или на мысль роман «Что делать?», он царпнул <...> этот роман <...> Зачем он напал на роман «Что делать?» («Эпоха», 1864, № 10, с. 9).

ла. «Собственное мнение» о романе «Что делать?» Салтыков здесь высказал своеобразно, сославшись на свое сочинение «Как кому угодно». Смысл его, как и статьи «Гг. «Семейству М. М. Достоевского»...», сводился к тому, что движение к идеалам нужно начинать не с провозглашения несбыточных общественных целей («не с теории страстей, положенной в основание универсальной ассоциации»), а с дискредитации основ («краеугольных камней») существующего социального устройства и с предельного упрощения «мысли», т. е. идеалов борьбы⁷.

«Автор романа «Что делать?», — отвечал Салтыков своим оппонентам из «Эпохи», — полагал иначе, но из чего же следует, что мои отношения к этому роману враждебны? Не следует ли, напротив того, заключить, что тут идет речь единственно о практических путях?» (6, 527—528).

Для Чернышевского (как и для Антоновича) первостепенное значение в распространении и утверждении социалистической концепции имели провозглашение и теоретическая защита идеалов, отчетливое обозначение их социально-экономических очертаний (именно поэтому в романе такое большое место отведено картинам будущей гармонии). С точки зрения Салтыкова, задача общественного деятеля и художника слова должна сводиться к практической подготовке в современной действительности условий для осуществления в будущем социалистического идеала. Кроме того, как справедливо полагает С. А. Макашин, отрицательное отношение Салтыкова к подробностям в четвертом сне Веры Павловны было связано с верностью писателя «современной теме, которую разрабатывал в нерасторжимом единстве художественного обобщения и злободневно-публицистической конкретности»⁸.

Характерно, что спустя два десятилетия Салтыков останется верен своим оценкам романа и своему представлению о так называемой «прикладной части» учения Фурье и Чернышевского. «Читая роман Чернышевского «Что делать?», — вспоминал он в 1881 г. в письме к Е. И. Утину, — я пришел к заключению, что ошибка его заключалась именно в том, что он чересчур задался практическими идеалами. Кто знает, будет ли оно так! И можно ли назвать указываемые в романе формы жизни окончательными?» (19, кн. I, 194). Салтыков вновь настаивал на том, что приблизить идеал можно не конкретными воплощениями утопических учений, а пропагандой их «неумирающих общих положений» (там же). Ошибку «ста-

⁷ Об отношении Салтыкова к «конструктивной стороне учения утопических социалистов» см.: Бушмин А. С. Социалистические идеалы Салтыкова-Щедрина. — В кн.: Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969, с. 279—285. См. также примечания В. А. Мыслякова к очеркам «Как кому угодно» (6, 682—684).

⁸ Макашин С. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. Биография. М., 1972, с. 97—98.

ринных» утопистов и в 80-е годы он видел в том, что «они <...> усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями». Большинство же их последователей, к которым писатель относил, по-видимому, и Чернышевского, «придерживалось именно буквы учения и в особенности настаивало на его подробностях». В результате «великие основные идеи о привлекательности труда, о гармонии страстей, об общедоступности жизненных благ и проч. были заслонены провидениями, регламентацией» (16, кн. 2, 39—40).

В обсуждении развернутых в романе «Что делать?» утопических сцен будущей жизни и картин производственных объединений приняло участие большинство редакционных деятелей «Современника». Щедринские оценки произведения не совпадали с мнением значительной части соредакторов. Некоторые грани соприкосновения наметились у него с Ю. Жуковским в отрицательном восприятии попыток практического воплощения в современных условиях отдельных форм организации будущего общества. Выступая с критикой тех, кто считал, что средством для изменения положения женщины должен послужить «путь ассоциаций», Жуковский утверждал, что ассоциация может «устроить» положение ее участника лишь в том случае, если она будет не только «производительной», но и «потребительной». Иронизируя над практическими начинаниями Веры Павловны, экономист «Современника» заключал: «Теперь должно быть ясно, насколько могут помочь ассоциации женскому делу <...> стало быть, и мастерские Веры Павловны, и общества женского труда, хотя очень милые сами по себе вещи, но плохие средства для устройства женского дела»⁹.

Иных взглядов относительно роли женских артелей придерживался Елисеев. Полемизируя с защитниками лишь юридического равноправия женщин, он еще задолго до статьи Жуковского писал о целесообразности «основать такие женские ассоциации, которые соединенными усилиями могли бы вступить в борьбу с монополизирующимся капиталом и малопомалу выбивать из его рук разные роды промышленности»¹⁰. Естественно, что Елисеев не мог сочувственно отнестись к статье Жуковского «Затруднения женского дела», развенчивающей идею ассоциаций. В мартовском обозрении за 1864 г. (в комментариях к Уставу нового женского общества) Елисеев высказал свое неодобрительное отношение к позиции, занятой Жуковским и его единомышленниками. «Я <...> не

⁹ Жуковский Ю. Затруднения женского дела. — «Современник», 1863, № 12, с. 294. Об отрицательном отношении Жуковского к рабочим ассоциациям см. в его статье «Историческое развитие вопроса о рабочих ассоциациях во Франции» («Современник», 1864, № 4, 6).

¹⁰ Елисеев Г. З. Внутреннее обозрение. — «Современник», 1863, № 5, с. 203.

вижу, почему мастерские В. П. надобно было называть нелепостью или фантазией, как думают некоторые прогрессисты. Мастерская В. П., конечно, положения швей в Европе и человечества не улучшила бы, но в Петербурге она была очень полезна для всех: и для общества, и для швей, в ней работающих, и даже отчасти для швей, в ней не работающих...»¹¹ «Мое мнение, — вспоминал он позже, — было некоторою поправкою или оговоркою редакции, делаемого *facito modo* по поводу статьи <...>, стоявшей вразрез с основным стремлением «Современника» вообще будить сонное общество, и с романом Чернышевского, в частности». Публикацию статьи Жуковского Елисеев считал серьезной ошибкой редакции. Он писал в этих же мемуарах, что, «находясь во главе «Современника», никак не дал бы ей места» и что вообще «помещение ее было прямо бестактно после романа Чернышевского»¹². Очевидно, что во внутриредакционных спорах вокруг проблемы женских ассоциаций, возникшей в связи с романом «Что делать?», Елисеев не поддержал Салтыкова. Он мог быть солидарен с ним лишь в общей отрицательной оценке утопических картин будущей жизни. Утопию в снах Веры Павловны Елисеев называл «дерзкой игрой воображения, рисующего по своей прихоти и произволу отдаленное от нас целыми веками будущее»¹³. Он несколько раз возвращался к мысли о нереальности, фантастичности «четвертого сна», о его практической бесполезности в условиях русской жизни. В одном из «Внутренних обозрений» он, например, писал: «Конечно, все это в абстракте мысли, в идеале фантазии прекрасно, но покорнейше прошу вас отыскать что-нибудь похожее на все это в действительности? <...> Конечно, г. Чернышевский с своей точки зрения прав. Он пишет роман будущего <...> Теперь же <...>. Да что теперь! Мы можем только махнуть рукой и сказать, что автор позволил себе самую чудовищную идеализацию для настоящего времени. Крепкому смыслу, трезвому взгляду она, конечно, и теперь может доставить большую пользу. Но мы, россияне, склонные к идеальничанью от нашей юности, не извлечем из нее ничего поучительного для себя, напротив, будем почерпать здесь истинную пагубу для наших нравов и для нашей жизни»¹⁴.

Каждый из публицистов отвергал утопические сцены по разным причинам. Салтыков, не отрицая социалистического идеала, самой идеи социализма, возражал лишь против преждевременной и произвольной регламентации подробностей будущей жизни, излишней ее детализации. Критика Елисеевым

¹¹ Внутреннее обозрение. — «Современник», 1864, № 3, с. 110.

¹² Шестидесятые годы. Антонович М. А. Воспоминания. Елисеев Г. З. Воспоминания, с. 307, 301—302, 305.

¹³ Там же, с. 490.

¹⁴ «Современник», 1863, № 10, с. 403.

«четвертого сна» определялась практицистскими установками его мировоззрения. «Аскет текущей жизни и непосредственных практических результатов»¹⁵, он неизменно противопоставлял социальным утопиям артели как наиболее приемлемое в современных условиях средство «лечения» социального зла. Елисеев писал, что «в делах, где <...> радикальных средств «целения» общества «еще не найдено, не надобно пренебрегать и полезными паллиативами»¹⁶, к числу которых он относил разного рода ассоциации. Салтыков же, как уже отмечалось, весьма скептически воспринимал любые «попытки практического воплощения идеалов среды общества, к принятию их не подготовленного», находя, что подобные предприятия всегда «были неудачны и рушились очень скоро» (6, 401)¹⁷.

Как же реагировал Антонович на те оценки романа, которые предлагал Салтыков?

К сожалению, не известны прямые отклики Антоновича на соответствующие выступления сатирика. Но можно определенно сказать, что когда «Эпоха» потребовала ответить, «согласен ли «Современник» с тем, что говорил г. Щедрин против романа «Что делать?», то Антонович не дал развернутого и обстоятельного объяснения¹⁸ не только потому, что считал несвоевременным обсуждение внутренней жизни журнала, но и потому главным образом, что его отношение к проблеме изображения общественного идеала в произведении искусства было иным, чем у Салтыкова.

Антонович не был согласен с щедринской интерпретацией идейно-эстетической функции утопических деталей в художе-

¹⁵ Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. Т. I. СПб., 1905, с. 503.

¹⁶ Внутреннее обозрение. — «Современник», 1864, № 3, с. 109. Елисеев даже практически участвовал в организации ассоциации рабочих Мальцевского завода (см.: Покушение Каракозова. Т. I. М., 1928, с. 305).

¹⁷ Взгляды Салтыкова на роман Чернышевского, особенно на художественное воплощение утопических сцен, соответствовали оценкам, принадлежащим некоторым группам разночинно-демократической молодежи. Л. Г. Дейч, например, вспоминал, что студенты-кружковцы Киевского университета, признавая себя «истинными последователями Чернышевского и Добролюбова», глубоко уважая их, не разделяли однако «того беспредельного восторга, с каким прогрессивная часть нашей интеллигенции относилась ко всем без различия произведениям этих наших знаменитых просветителей <...>» Он писал, что в его памяти особенно запечатлелись «горячие их споры по поводу романа «Что делать?». «Как я вскоре после знакомства с произведениями Щедрина узнал, — замечал Дейч, — в своем отрицательном отношении к этому знаменитому роману члены киевского кружка вполне сходились со взглядами на него Салтыкова», в частности «в отрицательном отношении к картинам жизни в фаланстерах» («Литературное наследство», т. 11—12. М., 1933, с. 495, 497).

¹⁸ Отвечая «Эпохе», Антонович уклончиво писал: «Эти вопросы в высшей степени щекотливы, касаются предметов тоже очень щекотливых и потому отвечать на них в категорической форме неудобно и даже невозможно» («Современник», 1864, № 9, с. 119).

ственном произведении. В статье «Первая четверть 19 века», определяя возможности исторической науки в изображении будущих общественных форм, он подчеркивал, что предсказания истории «будут указывать только общий вид и направление событий, без точного определения времени и подробностей событий». Этим, по его мнению, ограничивается значение исторических гипотез для современности, поскольку «для живущего человека значение события зависит от времени его совершения и от подробностей»¹⁹. Антонович здесь пока не ставит вопрос об отношении литературы к конкретно-образным формам воплощения социальных утопий, но можно думать, что свои суждения о роли «подробностей» в жизни современного общества он полемически адресует автору «Современных призраков», в которых тот выразил свое отрицательное отношение к художественной конкретизации и детализации общественного организма будущего.

Позже, в 1865 году, когда Салтыков уже оставил редакцию «Современника», Антонович, излагая эстетическую теорию Чернышевского, тщательно прокомментировал свою точку зрения на возможности обращения науки и искусства к подробностям «будущего идеального положения людей». Наука, рассуждал он, «предвидит и определяет» будущее «только в общих чертах, она воздерживается от подробностей, которых нельзя преуказывать точным научным образом, оттого идеалы в научном изложении выходят бледны, не закончены, не осязательны. Искусство может действовать свободнее, оно дополняет фантазией подробности, на которые не отваживается наука, оно может рисовать отдельные черты, быть может, не точные с научной точки зрения, но соответствующие общему характеру целого; вследствие этого идеалы в художественном изображении выходят ярче, живее и нагляднее, поэтому сильнее и увлекательнее действуют на воображение, — чем и достигается задача искусства, т. е. возбуждение недовольства настоящим и страстного стремления к будущему»²⁰.

Антонович, таким образом, доказывал, что детализация и художественная конкретизация будущего общественного организма не дискредитирует идеал. Салтыков, как мы видели, использовал все аргументы, чтобы раскрыть неуместность и эстетическую нецелесообразность излишне «регламентированных» подробностей, созданных исключительно авторским воображением и потому далеких от «возможной действительности».

Не обозначенный прямо спор об эстетической и идейной целесообразности введения в художественную ткань произве-

¹⁹ «Современник», 1864, № 6, с. 167.

²⁰ Современная эстетическая теория. — «Современник», 1865, № 3, с. 81—82.

дения «живых образов» будущего и предельной детализации социальных утопий отражал по сути дела несходные взгляды публицистов «Современника» на пути достижения общественного идеала и формы его пропаганды.

Пыпин не принял участия в обсуждении романа Чернышевского, сославшись на то, что «о литературных вкусах спорить нечего»²¹. Однако в целом ряде статей он высказал свое положительное отношение к таким формам «реакции против» «господствующей действительности»²², как «артели», «кооперативные учреждения», «ассоциации», «фаланстеры», заслуживающие, по его мнению, «самого полного внимания»²³. При этом он считал, что артель, как явление очень «любопытное» «в истории экономических понятий», проигрывает, однако, перед некоторыми западными объединениями, в частности, перед английскими «рабочими ассоциациями», которые «вместе с обеспечением материального быта <...> рано начали заботиться об улучшении нравственном, о средствах поднять умственный уровень и образование рабочего населения»²⁴. Это последнее возводилось Пыпиным в качестве главных положительных свойств «коопераций», представляющих «обширный и весьма законный интерес» и для России — как по своему «теоретическому значению», так и по их связям с «артельным началом, которое теперь <после появления романа Чернышевского, а также попыток практического насаждения социалистических форм организации труда. — Г. С.> опять становится предметом газетных и журнальных толков»²⁵.

Пыпин сочувственно отнесся и к рассказу английского социолога Конвейя об общине реформаторов в Нью-Йорке, представляющей, по его определению, «любопытное явление общественной жизни», одну из «практических попыток основания нового общества на новых принципах и понятиях»²⁶. Можно думать, что и в 1863 году, когда вышел роман «Что делать?», с его развернутыми картинами социалистических объединений, Пыпин приветствовал подобные практические начинания. Излагая программу английских реформаторов, охватывающую «не только экономические отношения», но и «улучшение» нравственных и социальных сторон жизни, Пыпин оговаривался, что «до нас эти идеи никакого касательства не имеют»²⁷. В данном случае он, видимо, учитывал возможность

²¹ Premiers Moscou газеты «День». — «Современник», 1863, № 10, с. 229.

²² «Новые времена». Община реформаторов в Нью-Йорке. — «Современник», 1865, № 8, с. 368.

²³ Общество рабочих в Англии с целями образования. — «Современник», 1865, № 2, с. 515.

²⁴ Там же, с. 516.

²⁵ Там же, с. 514.

²⁶ «Современник», 1865, № 8, с. 367.

²⁷ Там же, с. 370.

обвинений в симпатиях к социалистическим формам жизни. Позже в «Моих заметках» Пыпин повторил эту же мысль: «<...> смешно было бы думать, чтобы эти ужасные вещи <«социализм», «сен-симонизм», «фурьеризм». — Г. С.> могли получить у нас какое-нибудь практическое осуществление»²⁸. Но это было уже не оговоркой, а следствием пересмотра старых идей.

Что касается утопических подробностей будущей жизни, которыми уснащали свои построения и Фурье, и Чернышевский, то к ним Пыпин относился скорее всего отрицательно. В тех же «Заметках», рассказывая о своем раннем восприятии утопистов, он писал, что ему казалась «неинтересной» слишком <...> произвольная фантастика» Фурье и других социалистов²⁹.

В то время как для Чернышевского «мастерские» и другие практические формы воплощения социализма были лишь средством пробуждения умов в период относительного затишья общественного движения, для Пыпина «кооперативные учреждения» и «ассоциации» представляли интерес как явления, свидетельствующие о принципиальных возможностях именно «спокойного развития» общества, такого его изменения, при котором «элементы для лучшего экономического <...> устройства» отыскиваются «в нем самом», без его коренной «переработки»³⁰.

В оценке трудовых ассоциаций и их социальной роли Салтыков, таким образом, расходился и с Пыпиным. Пыпин, сочувственно говоря о новых формах организации «экономического устройства», видел в них реальный и наиболее приемлемый путь «улучшения» общественных отношений. Салтыков, не отвергая «попыток» «практического воплощения идеалов» будущего, считал наивным стремление насадить эти ростки прямо на почве старого общества, над которым тяготели «порочности и предрассудки» (6, 401) и которое «не приготовлено» к этому не только социально-экономически, но и нравственно-психологически.

Специфика позиций Салтыкова в отношении к проблеме регламентации и художественной детализации социальных утопий приобретает особый интерес при сопоставлении с ленинскими оценками сильных и слабых сторон теоретиков утопического социализма. Ленин выразил свое несогласие с ними как раз по вопросу о перспективах будущего, о подробностях нового социального устройства. В работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» он сочувственно ссылается на «Капитал» как на «главное и

²⁸ Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910, с. 57.

²⁹ Там же, с. 68.

³⁰ «Современник», 1865, № 8, с. 370.

основное сочинение, излагающее научный социализм», которое «ограничивается самыми общими намеками насчет будущего, прослеживая только те <...> элементы, из которых вырастает будущий строй». И хотя «прежние социалисты», замечал Ленин, «по части перспектив будущего» давали «неизмеримо больше», чем Маркс, «со всеми подробностями» разрисовывая «будущее общество, желая увлечь человечество картиной» новых порядков, однако «их теории оставались в стороне от жизни»³¹.

В свете этих ленинских суждений становится особенно значительной та роль, которую сыграл Салтыков-Щедрин в литературно-теоретическом, а по сути дела философско-политическом споре вокруг романа Чернышевского «Что делать?»

В щедринских оценках произведения присутствовала достаточная трезвость мысли, тонкая пронизательность социолога и экономиста. Критика Салтыковым утопических иллюзий объективно имела прогрессивный характер. В исторической перспективе именно она оказалась наиболее плодотворной, хотя с точки зрения момента, в условиях преследования Чернышевского и иных деятелей социалистической мысли выглядела несвоевременно и вызвала противодействие внутри той самой «партии», к которой справедливо относил себя Салтыков.

³¹ Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов. — Полн. собр. соч., т. I, с. 187.

Н. Н. СТРАХОВ О РОМАНЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

1

Среди отзывов современной Чернышевскому критики о романе «Что делать?» статья Н. Страхова «Счастливые люди» еще не получила достаточно объективной оценки. Чаще всего эта статья именуется «клеветнической»¹ и упоминается в одном ряду с такими реакционными нападками на роман, как выступления Каткова, Аскоченского, Фета и В. Боткина². Нередко отзыв Н. Страхова обходят молчанием даже в специальных обзорах литературно-критической борьбы вокруг «Что делать?»³ или в исследованиях, посвященных анализу литературной деятельности «почвеннического» критика⁴.

А. П. Скафтымов в комментариях к роману Чернышевского назвал статью Страхова «Счастливые люди» рядом с «Записками из подполья» Достоевского в числе высказываний, полемически направленных против «Что делать?»⁵ Но в силу специфики самого жанра комментария проблематика и

¹ Крамаренко-Невельштейн М. П. Борьба вокруг романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в литературной критике 60-х гг. — «Уч. зап. Даугавпилсского пед. ин-та», т. 4, вып. 3, 1959, с. 164.

² «Лит. наследство», 1936, т. 25—26, с. 480; Николаев М. П. Н. Г. Чернышевский. Семинарий. Л., 1959, с. 9—10. Ср.: Кирпетин В. Я. Достоевский, Страхов и Евгений Павлович Радомский. — «Знамя», 1972, № 10, с. 229.

³ Тамарченко Гр. Романы Н. Г. Чернышевского. Саратов. кн. изд-во, 1954, с. 131—152.

⁴ Долинин А. С. Достоевский и Страхов. — В кн.: Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.—Л., 1963. Гуральник У. Н. Н. Страхов — литературный критик. — «Вопросы литературы», 1972, № 7.

⁵ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. XI. М., 1939, с. 708. Ср.: Скафтымов А. Художественные произведения Чернышевского, написанные в Петропавловской крепости. — В кн.: Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М., 1972, с. 274—275.

значение названной статьи и здесь не были охарактеризованы с достаточной полнотой.

Внешняя история статьи Страхова прослежена в книге В. С. Нечаевой «Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865» (1975). На основании новонайденного архивного материала, в частности протокола заседания цензурного комитета от 14 октября 1864 г. (когда проходила августовская книжка «Эпохи»), В. Нечаева установила, что статья Страхова (Н. Косицы) предназначалась именно для этого номера журнала и была пропущена цензурой, «которая потребовала сокращения похвал автору романа». «Надо думать, — пишет исследователь, — что Страхов выполнил это требование, но Достоевский колебался, опубликовать ли статью»⁶.

Известно, что «Счастливые люди» Н. Страхова увидели свет не в «Эпохе», а в «Библиотеке для чтения» (1865, № 4). Н. Страхов, включив в 1890 г. эту статью в сборник своих работ «Из истории литературного нигилизма. 1861—1865», снабдил ее следующим примечанием: «Счастливые люди» были написаны для «Эпохи», но Ф. М. Достоевский не решился напечатать эту статью, и только года через два после написания она явилась в «Библиотеке для чтения»⁷.

Каковы причины колебания Достоевского, вследствие которых статья была им отвергнута? Связаны ли эти причины только с цензурными требованиями? На эти вопросы В. С. Нечаева не дает достаточно ясного ответа. Осложняющим моментом в истории страховской статьи является и другое обстоятельство. В 1873 г. в статье «Нечто личное» из «Дневника писателя» Достоевский назвал разбор Страхова⁸ «замечательной статьей», «в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением». Но почему, отказавшись напечатать статью Н. Косицы в 1864 г., Достоевский столь похвально отзываясь о ней позднее? И почему он пишет: «В одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала «Эпоха» (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о «знаменитом» романе Чернышевского «Что делать?»⁹.

Обращение к анализу статьи «Счастливые люди» позволит осветить в какой-то мере поставленные вопросы, внести некоторые уточнения в существующие традиционные пред-

⁶ Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975, с. 210.

⁷ Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. 1861—1865. СПб., 1890, с. 342.

⁸ О том, что Достоевский имел в виду статью Страхова, а не отдельные высказывания Н. Соловьева о романе «Что делать?», как предполагали некоторые исследователи, см. соображения В. С. Нечаевой. (Указ. соч., с. 209).

⁹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произведений, т. XI. М.—Л., 1929, с. 29.

ставления об идейно-творческих связях Достоевского и Страхова в 60-х гг.¹⁰, тем самым полнее охарактеризовать картину литературно-критической борьбы вокруг романа Чернышевского.

2

Определяя метод своей литературной критики, Страхов неоднократно подчеркивал, что он всегда стремился к объективности в истолковании литературных и общественных явлений: «...Я строжайшим образом держался логики и стремился к действительности», старался «употреблять строгие научные приемы, делать точные выводы». «Я <...> логик, и, следовательно, во всем ищущий сущности»¹¹.

В этой связи, отвергая всякую преднамеренность в оценке художественных произведений, Страхов так характеризовал задачи литературной критики: «Критик не есть учитель писателей, который дает им правила, как писать, и обличает всякое уклонение от этих правил. Критик должен быть *толкователем* художников, должен в отвлеченной форме указывать другим то, что художники выражают в картинах и образах»¹².

Стремление постичь самое существо авторской мысли составляло сильную сторону литературной критики Страхова, что в 60—70-е гг. неоднократно отмечал Достоевский. «...За Вами, прежде всего, этот строгий и философский взгляд на критику, чего у других нет», — писал он Страхову 28 мая (9 июня) 1870 г.¹³. Исходные теоретические посылки, которые выдвигал Страхов, во многом предопределили содержательность его статей, посвященных таким писателям, как Тургенев («Отцы и дети»), Лев Толстой («Война и мир»), Достоевский («Преступление и наказание»).

Попытка понять авторскую концепцию романа Чернышевского «Что делать?» (другое дело, что посылки и выводы не всегда у Страхова совпадали!) выгодно отличает статью критика среди отзывов других современников, враждебно настроенных по отношению к революционно-демократическому лагерю.

¹⁰ До сих пор существо этих связей разъяснялось слишком общо: то подчеркивалась враждебность позиций Достоевского и Страхова в 60-е гг. (см. напр.: Розенблюм Л. Творческие дневники Достоевского. — «Лит. наследство», т. 83, с. 19), то преимущественно акцентировалось их единомыслие (Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.—Л., 1963, с. 307—343).

¹¹ Страхов Н. Тяжелое время. «Время», 1862, № 10. — Ср.: Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 150—151, 157.

¹² Страхов Н. Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского, т. I—II, 1865—1866. «Преступление и наказание». — «Отечественные записки», 1867, № 2, кн. 1, отд. «Наша изящная словесность», с. 547—548.

¹³ Достоевский Ф. М. Письма в 4-х тт., т. 2. М.—Л., 1930, с. 270.

Например, Фет (в соавторстве с В. Боткиным) в статье, предназначенной для «Русского вестника» Каткова, клеветнически искажал мысль Чернышевского: «Весь роман написан <...> на тему, что нет ничего бесчестного отбивать жену у самого близкого человека. Что совестьливость в таком деле не есть честность, а непростительная глупость». «Величающаяся наглость, охорашивающееся бесстыдство — догматы нового учения»¹⁴. Другие критики всячески подчеркивали неправдоподобие изображенных в романе героев и ситуаций. Так, реальность Рахметова подвергалась сомнению на том основании, что автор «знал таких восьмерых». «Вот как! — иронизировал критик «Отечественных записок». — Значит, идеал несомненный <...> Значит, идеал — такое воздушное представление, которое можно бы построить, зная одного человека! А то восьмеро!»¹⁵

Часто обе тенденции — отрицание правдивости характеров и событий в «Что делать?» и клеветническое искажение смысла романа — объединялись, например, в высказываниях Н. Соловьева, не раз упоминавшего произведение Чернышевского в своих статьях на страницах «Эпохи». Н. Соловьев видел в романе «картину развращения благородной женской натуры хитрыми теоретическими умствованиями», «пропаганду безграничной свободы любви» как «условия женского труда». «Сочинение это было, — по мнению критика, — явным, наглым нарушением правды и искусства», Рахметов же — «кабинетный миф, путешествующий так же легко по факультетам, как и по Европе»¹⁶.

Н. Страхов в отличие от названных критиков рассматривает «Что делать?» Чернышевского как крупное литературно-общественное явление, которое «останется в литературе». «Ибо он <роман. — Г. А. > вовсе не производит смешного впечатления»¹⁷. Основной задачей своей статьи Страхов считает разъяснение авторской «концепции характеров, проведенной до многих тонких подробностей». Смысл этой концепции в понимании критика и излагается в первой части статьи¹⁸, опубликованной в «Библиотеке для чтения».

Н. Страхов подходит к роману Чернышевского как к целостному единству, в котором идея и форма находятся в необходимом соответствии: «Этот роман и написан с удивитель-

¹⁴ «Лит. наследство», т. 25—26. М., 1936, с. 491, 510.

¹⁵ «Отечественные записки», 1863, № 11—12, отд. «Литературная летопись», с. 98.

¹⁶ Соловьев Н. Женщинам. — «Эпоха», 1864, № 12, с. 21—22; «Теория безобразия». — «Эпоха», 1864, № 7, с. 14.

¹⁷ Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 313.

¹⁸ В 1890 г. в послесловии к статье Н. Страхов писал: «Продолжения, т. е. второй и последней статьи, в которой предполагалось анализировать радости фаланстера, вовсе не было написано» (Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 342).

ным жаром и удивительно верен самому себе»¹⁹. При этом Страхов сосредоточивает свое внимание преимущественно на этической проблематике романа и лежащей в основе ее теории разумного эгоизма. Критик раскрывает просветительский рационалистический смысл этой теории, тесно связанной с материалистической философией антропологизма.

Рассудочность — главный принцип поведения «новых людей» и вытекающую отсюда «безошибочность» их действий («Мы заранее знаем, как нужно действовать и какие книжки читать») ²⁰ Страхов определяет как «отвлеченность, аскетичность», а сам тип, к которому принадлежат герои Чернышевского, называет «скудным и сухим». Признавая в этом типе людей «некоторую силу», критик в то же время убежден, что разумное начало вовсе не исключает «заблуждений ума» и увлечений «сердца».

Применительно к образу Рахметова Страхов справедливо подметил некоторую односторонность, действительно свойственную позиции Чернышевского: условием подлинного счастья автор «Что делать?» считал высокую степень совершенства «натуры» человека. Такая антропологическая точка зрения, чуждая диалектике, вела к обедненному представлению о личности и ее общественных связях ²¹.

Ограниченность просветительской рационалистической концепции жизни отразилась, по Страхову, и в трактовке трагического в романе. «Вообще несчастий и неудач в романе не полагается, — пишет он. — Неудачи бывают только временные, которые в конце концов завершаются полнейшею удачею» ²². Иными словами, в трактовке критика «страдания», т. е. трагические коллизии, либо вовсе выпадают из поля зрения автора, либо «несчастья» сводятся лишь к «временным» случайностям. В этом смысле само наименование героев Чернышевского «счастливыми людьми» имело явно иронический подтекст.

Известно, что Чернышевский и в публицистике, и в литературно-критических статьях выступал против фаталистической концепции трагического, предопределенного развитием «идеи». Так было и в романе «Что делать?», где неотвратимости «несчастья» противопоставлялась волевая активность и разум личности. В данном случае мысль Страхова не охватывала всей полноты художественного мира романа. По сути дела Н. Страхов игнорирует конфликт между старым и новым миром в «Что делать?» как художественное отражение реальной закономерности русской жизни и как источник страдания героев произведения. Кроме того, «почвеннический» критик

¹⁹ Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 318.

²⁰ Там же, с. 338.

²¹ Подробнее об этом см.: Лебедев А. Герои Чернышевского. М., 1962, с. 110—117 и др.

²² Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 319.

отвергал рационализм Чернышевского не с позиций диалектики, но с точки зрения идеалистической антропологии. Противоречия, вызывающие трагические коллизии, он видел не в объективном развитии жизни, но прежде всего в неизменных, «вечных» свойствах человеческой природы. Даже если встать на позицию физиологов, человек оказывается несовершенным: в нем «много темных черт», — рассуждает Страхов, иронически приводя цитаты из соответствующих сочинений немецких «натуралистов», «думавших, что они так хорошо знают человеческую природу». Эта позиция, по мнению Страхова, явно недостаточна. В качестве главного аргумента в полемике с Чернышевским он выдвигает тезис о сложности психической природы человека, всегда склонного к ошибкам и «самообольщению», так как сознание и «самопознание» составляют лишь одну из сторон всякой индивидуальности и «проясняются только постепенно».

Суждения Страхова представляют собою дальнейшее развитие прежних его высказываний на страницах «Времени» и «Эпохи» об ограниченности «теоретизма» нигилистов, т. е. «Современника» во главе с Чернышевским и Добролюбовым, а затем и «Русского слова». В статье об «Отцах и детях» Тургенева («Время», 1862, № 4) конфликт, который несет в себе нигилист Базаров, характеризовался критиком как борьба теории с жизнью, убеждений с живой непосредственностью «натуры», не подчиняющейся голосу рассудка. «...Тень тоски, которая и в самом начале лежала на этом железном человеке, под конец становится гуще», — замечал Н. Страхов, — объясняя эту «тоску» тем, что «Базаров не есть отвлеченный теоретик, порешивший все вопросы и совершенно успокоившийся на этом решении»²³.

В этом же смысле назвал Базарова «беспокойным и тоскующим» и Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях», опубликованных через год после статьи Страхова об «Отцах и детях» («Время», 1863, № 3—4). Опровержение «теоретизма и фантастизма теоретиков (Современника)», в частности учения о «разумном эгоизме» Чернышевского в «Что делать?» и его публицистических статьях, развернуто, как известно, и в «Записках из подполья»²⁴ («Эпоха», 1864,

²³ Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. 1862—1885. Т. I, изд. 4. Киев, 1901, с. 26, 30, 31. В содержательной статье Батюто А. И. «Признаки великого сердца...» выявляется лишь различие оценок Базарова в высказываниях Страхова и Достоевского, а сам Страхов традиционно именуется «эмпириком, не сумевшим под оболочкой внешне грубых форм выражения нигилистических идей распознать их подлинную сущность» («Русская литература», 1977, № 2, с. 22, 37).

²⁴ См.: Скафтымов А. «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского. — В кн.: Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. Тамарченко Г. Е. Чернышевский — романист. Л., 1976, с. 297—338.

№ 1—2, 4), к которым примыкает по своему содержанию статья Страхова «Счастливые люди». Вообще борьба с «теорией пользы и выгоды» была постоянной в «Эпохе». Здесь статья Страхова о романе Чернышевского выражает общую линию журнала, отчетливо проявившуюся в выступлениях не только Достоевского, но и Д. Аверкиева²⁵, А. Григорьева²⁶, Н. Соловьева²⁷.

Новизна статьи Страхова обнаруживается в самом подходе к роману Чернышевского. Критик характеризует утопизм и как особенность мировоззрения автора «Что делать?», и как основу его художественного метода, предполагавшего принцип «идеализации» в качестве главного способа изображения новых людей. «Роман <...> написан сказочно, написан для прославления своих героев». «Самый добродушный оптимизм господствует в нем с начала до конца»²⁸.

Отсюда, по мнению Страхова, вытекают и другие признаки поэтики романа. Отсутствие индивидуализации характеров «новых людей», считает критик, вполне закономерно обусловлено авторским стремлением раскрыть «одинаковость» мировоззрения и общность их идеала: «Все понимают друг друга с полуслова и все так одинаково смотрят на вещи, что никто никого не раздражает и не задевает ни речами, ни поступками»²⁹.

Критик верно замечает, что через поведение своих героев писателю важно было показать ценность некоей идеальной этической нормы. Вот почему характеры «новых людей» в романе «Что делать?» даны не в эволюции, но уже сложившимися: «Они являются так сказать совершенно готовыми, вполне окрепшими и установившимися», «являются в жизнь во всеоружии, как Минерва из головы Юпитера; недаром они представители новой мудрости»³⁰.

Важно отметить, что названные черты поэтики «Что делать?» Н. Страхов считал не столько свидетельством художественной беспомощности автора, о чем чаще всего писали другие критики, сколько следствием сознательной установки Чернышевского создать особый жанр просветительского романа. Ко времени выступления Страхова на страницах журнала «Эпоха» уже была предпринята попытка охарактеризовать жанр романа Чернышевского. Н. Соловьев в статье «Теория безобразия» упомянул о «Что делать?» как о «лирическо-фи-

²⁵ Аверкиев Д. Университетские отцы и дети.— «Эпоха», 1864, № 3.

²⁶ Григорьев А. Парадоксы органической критики.— «Эпоха», 1864, № 5—6.

²⁷ Соловьев Н. Теория безобразия.— «Эпоха», 1864, № 7; Теория пользы и выгоды.— «Эпоха», 1864, № 11.

²⁸ Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 336, 339.

²⁹ Там же, с. 327.

³⁰ Там же, с. 328, 332.

лософском романе», где «более всего говорит сам автор»³¹. Но смысл этого определения не охватывал жанрового содержания «Что делать?» и даже искажал его. Справедливо отмечая пропагандистскую публицистическую направленность романа Чернышевского, в структуре которого голос автора имел первостепенное значение³², критик «Эпохи» отвергал в «Что делать?» «правду искусства», т. е. реальное изображение конкретных сторон русской жизни.

В отличие от Н. Соловьева Н. Страхов полагал, что «преднамеренность» вовсе не исключала у Чернышевского правдивого воспроизведения действительности: «Прямые заявления романа о существовании новых людей невозможно подвергать никакому сомнению. <...> Эти новые люди существуют. <...> Разве не слышна в этом типе частица русской силы?»³³. Не случайно именно Н. Страхов в статье «О женском труде» одним из первых публицистов «Эпохи» признал известную плодотворность «принципа женского труда», о котором «пространно и серьезно» трактовал роман Чернышевского. В названной статье были опубликованы фрагменты из проекта устава «Общества женского труда», создающегося в Петербурге³⁴. Развивая мысль о том, что достоинство женщин измеряется в первую очередь нравственными «мерками», Страхов в то же время не отвергал и необходимости для женщин «самостоятельной работы, независимого экономического положения».

В «теоретиках», которых наблюдал Страхов, например, в Добролюбове, он видел такие психологические черты, какие отмечал впоследствии и в героях Чернышевского. В статье «Добролюбов. По поводу первого тома его сочинений» Страхов писал: это «крепкие силы», с «чертами народного духа». Причем рационализм «теоретиков» рассматривался в названной статье как следствие «оторванности» их от «жизненных корней»³⁵.

В статье «Счастливые люди» Страхов, размышляя о причинах появления типа «новых людей», снова писал: «В нем отзывается та глубокая и странная оторванность от истории, от

³¹ «Эпоха», 1864, № 7, с. 15

³² О поэтике «Что делать?» см. подробнее: Скафтымов А. Роман «Что делать?» (его идеологический состав и общественное воздействие).— В кн.: Н. Г. Чернышевский. Неизданные тексты, статьи, материалы, воспоминания. Саратов, 1926. Лазерсон Б. И. Чернышевский — беллетрист.— В кн.: Спецкурсы кафедры русской литературы. Вып. I. Изд-во Сарат. ун-та, 1974, с. 36—37; Покусаев Е. И. Н. Г. Чернышевский. Очерк жизни и творчества. Изд. 5. М., 1976, с. 154—155.

³³ Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 339—340.

³⁴ «Эпоха», 1864, № 4.— См. также: Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 390—401.

³⁵ «Время», 1862, № 3.— См.: Страхов Н. Н. Критические статьи, т. 2, Киев, 1902, с. 300.

временной жизни, которая дает такой необычайный характер нашему историческому росту»³⁶. «Оторванность от истории» Страхов в духе «почвеннических» идей считал результатом усвоения образованной интеллигенцией европейских «готовых взглядов», в том числе теории общественного прогресса, основанной на просветительской вере в разум личности. Эта антропологическая в своей основе теория не учитывала, по Страхову, «живых противоречий живой жизни». Вот почему, начиная со статьи «Еще о петербургской литературе» («Время», 1861, № 6), и в примыкающих к ней других своих статьях (например, в «Письме в редакцию «Эпохи»)³⁷ Страхов иронически называл Чернышевского «отрицателем истории», имея в виду антропологизм не только этических, но и исторических воззрений революционера-демократа. В этом смысле основные положения работы Чернышевского «О причинах падения Рима» Страхов считал противоположными гегелевской исторической концепции, признающей закономерность прогресса³⁸.

В критике «теоретиков», в разъяснении беспочвенности идей рационализма Достоевский в эти годы во многом разделял точку зрения Страхова. Европейские теории общественного прогресса, проповедуемые Чернышевским, противоречат, по мнению Достоевского, натуре человека и ходу развития русской жизни. «У г. Чернышевского все значат книжки и прежде всего книжки. Он сам признает. Об жизни он понятия не имеет», — пишет Достоевский в «Записных книжках» в начале 60-х гг. По поводу статьи Чернышевского «О причинах падения Рима» Достоевский в 1861 г. замечает: «Ну что это за тон. Падение Западной Римской. Мы, впрочем, написали пародию»³⁹. Под пародией здесь явно подразумевалась статья Страхова «Еще о петербургской литературе», где, как говорилось, иронически характеризовался антропологизм в исторических воззрениях Чернышевского⁴⁰.

³⁶ Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 341.

³⁷ «Эпоха», 1864, № 1.

³⁸ Н. Страхов односторонне истолковал позицию Чернышевского. В целом Чернышевский не отвергал закономерного движения истории, но верно констатировал отсутствие непрерывности прогресса свободы. Страхов же придавал исторической концепции Гегеля черты фатализма, критикуемые Чернышевским.

³⁹ Неизданный Достоевский. «Лит. наследство», т. 83. М., 1971, с. 152.

⁴⁰ В примечаниях к приведенным записям Достоевского, опубликованным в «Литературном наследстве», не указывается, о какой «пародии» идет речь (См. «Лит. наследство», т. 83, с. 167). Вряд ли можно согласиться в этой связи с категорическим утверждением Л. Розенблюм, которая полагает, что в 1862 г. «Страхов, спокойно прокламирующий презрение к человеку, был идейным антагонистом Достоевского в гораздо большей мере, чем революционные демократы, хотя и выступал в качестве его союзника». («Лит. наследство», т. 83, с. 19).

Почему же, несмотря на известную общность позиций Страхова и Достоевского в их отношении к роману «Что делать?» и другим сочинениям Чернышевского, статья «Счастливые люди» не была напечатана в «Эпохе»?

Одна из возможных причин заключалась, очевидно, в том, что между сотрудниками «Эпохи» — Достоевским и Ап. Григорьевым, Страховым и Ап. Григорьевым, Достоевским и Н. Страховым существовали некоторые идейные разногласия. Эти разногласия, возникшие еще в первой половине 60-х гг., касались, в частности, оценки «идеала Чернышевского» и теорий «Современника», по отношению к которым самую нетерпимую позицию занял Ап. Григорьев. По мнению Ап. Григорьева, не только Достоевский, но в какой-то мере и Страхов преувеличивали значение этих «теорий» в идеологической борьбе 60-х гг. «Что ты *несешь* о торжестве теорий «Современника»? В чем эти теории? Допрашивал ли ты себя хорошенько о концах концов этих теорий?» — гневно восклицал А. Григорьев в письме к Н. Страхову от 17 сентября 1860 г.⁴¹

Что же касается идейных взаимоотношений Страхова и Достоевского, то здесь многое еще остается неясным. Как это следует из предыдущего изложения, Страхов нередко писал в «Эпохе» «в духе» Достоевского, но вовсе не потому, что «уступал» редактору журнала, а по глубокому убеждению. В то же время Достоевский отмечал во взглядах Страхова некоторый схематизм, известную узость, проявившуюся в частности в оценке общественных направлений 60-х гг. Об этом свидетельствовал сам Н. Страхов в незаконченной рукописи 1862 г. «Наблюдения. (Посв<ячается> Ф. М. Д<остоевско>му)». «Вы находили во мне несносным и противным мое пристрастие к тому роду доказательств, который называется в логике непрямым доказательством или доведением до нелепости»⁴², — писал он, обращаясь к Достоевскому. В письме Н. Страхова к брату П. Н. Страхову от 25 июня 1864 г. читаем и такие строки: «С Достоевскими я чем дальше, тем больше расхожусь. Федор ужасно самолюбив и себялюбив, хотя не замечает этого»⁴³.

Если в 1862 г. разногласия между Достоевским и Страховым обуславливались некоторой неодинаковостью их отношения к Белинскому и в этой связи к «свистящему» направлению «Современника»⁴⁴, то теперь расхождения касались оценки и

⁴¹ См. письма А. Григорьева Н. Страхову от 17 сентября 1860 г., 26 июля 1864 г., 3 сентября 1864 г. — «Учен. зап. Тартусского ун-та», вып. 167, 1965, с. 164—165, с. 168—170.

⁴² «Лит. наследство», т. 86, с. 560.

⁴³ Там же, с. 396.

⁴⁴ Подробнее об этом см.: Антонова Г. Н. Чернышевский и Достоевский о принципах литературной критики. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 7. Изд-во Саратов. ун-та, 1975.

других общественных лагерей. Известно, что в 1864 г. в связи с созданием нового журнала после запрещения «Времени» Достоевский был крайне озабочен необходимостью ясного определения его программы. С этой целью он задумал написать для первого номера журнала (первоначально задуманного под названием «Правда») передовую статью и еще две статьи, смысл которых он разъяснял так: «Разбор Чернышевского романа и Писемского произвел бы большой эффект и главное подходил бы к делу. Две противоположные идеи и обем по носу»⁴⁵.

Замысел Достоевского не осуществился. Но примечательно здесь то обстоятельство, что направление нового журнала писатель считал нужным противопоставить не только идеям автора «Что делать?», но и концепции «Взбаламученного моря» Писемского. Очевидно, Достоевскому чужда была предвзятость, с какой Писемский подошел к изображению молодого поколения — нигилистов и других общественных сословий в России. Не случайно писатель еще в 1862 г. упрекал Писемского в том, что в его произведениях подчас обнаруживается «задняя мысль, которая в иное время бывает слишком некстати»⁴⁶.

Сам факт публикации романа Писемского в «Русском вестнике» (1863, № 3—8) свидетельствовал о том, что Достоевскому представлялось важным активно противодействовать реакционному направлению этого журнала.

Между тем Страхов с начала сотрудничества в «Эпохе» сосредоточился главным образом на критике «нигилизма» как учения, как одного из наших литературных направлений». Нападки Страхова на реакционные «Московские ведомости» или «Русский вестник» Каткова носили эпизодический характер⁴⁷. Симптоматично, что «Взбаламученное море» Писемского критик «Эпохи» впоследствии упоминал в одном ряду с совершенно разными по содержанию романами о «новых людях», в том числе «Что делать?» Чернышевского, «Некуда» Лескова, «Мудреное дело» Н. Ахшарумова, словно не замечая противоположной идейной направленности этих произведений⁴⁸.

Очевидно, такая позиция Страхова представлялась Достоевскому односторонней. Характерен в этом отношении отзыв писателя о статье Страхова «Письмо в редакцию «Эпохи». Это «Письмо» за подписью Н. Косицы было опубликовано в «Эпохе» (1864, № 1—2) и направлено против этических и исторических взглядов «теоретиков» «Современника». Прочитав первую

⁴⁵ Достоевский Ф. М. Письма в 4-х тт., т. I. 1928, с. 341.

⁴⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произн-ий, т. XIII, с. 238, 248.

⁴⁷ См.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865, с. 176—183.

⁴⁸ Страхов Н. «Новые люди». — «Эпоха», 1865, № 1.

книгу журнала, Достоевский с неудовольствием писал брату М. М. Достоевскому 26 марта 1864 г.: «...Ни одной руководящей, вводной, хотя бы намекающей на направление статьи, кроме статьи Косицы (хотя и хорошей, даже очень, но для 1-го номера нового журнала — недостаточной)». «Одного жаль, — сетовал Достоевский, — что никак не разберешь, какого мы направления и что именно мы хотим говорить»⁴⁹.

Все сказанное позволяет выдвинуть такое предположение: в 1864 г. Достоевский не решился напечатать статью Страхова «Счастливые люди» не по цензурным соображениям, не вследствие того, что в ней содержались «излишние» похвалы роману Чернышевского. Очевидно, по мнению Достоевского, позиция Страхова недостаточно полно отражала направление «Эпохи». Критику теорий Чернышевского следовало бы дополнить, как полагал Достоевский, и отрицанием литературно-общественной программы реакционного лагеря. Кроме того, в «Эпохе» уже были опубликованы «Записки из подполья» с развернутой полемикой против идей автора «Что делать?». Тем самым могло создаться впечатление о некоторой односторонности платформы журнала, чего старался избежать Достоевский.

Но в 1873 г., в новых общественных условиях, когда «Эпохи» давно уже не существовало, писатель дал статье «Счастливые люди» сочувственную и вполне объективную оценку, забыв даже о том, что статья Страхова была опубликована не в «Эпохе», а в «Библиотеке для чтения»: «В ней именно отдается все должное уму и таланту Чернышевского. <...> Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора»⁵⁰. Приведенная оценка содержится в статье «Нечто личное», в которой Достоевский свидетельствовал о том, что, борясь с Чернышевским, он осознавал идеи «нигилистов» — революционных демократов как серьезное явление в литературно-общественном движении 60-х гг. Таким образом, разные акценты в отношении Достоевского к статье Страхова «Счастливые люди» во многом обуславливались задачами изменяющейся тактической борьбы, которые возникали перед писателем в 1864 и в 1873 годы.

Впрочем, высказанное предположение не претендует на исчерпывающую полноту. Необходимы, безусловно, новые дополнительные материалы, в том числе и такие, которые проливали бы свет на внутривыдавецкие отношения, а также

⁴⁹ Достоевский Ф. М. Письма в 4-х тт., т. I, с. 352—353.

⁵⁰ Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произведений, т. XI, с. 29. О том, что Достоевскому иногда изменяла память, свидетельствует тот же Н. Страхов в письме от 2 декабря 1863 г. к брату Павлу Страхову: «Ф. Достоевский очень жаловался, что у него пропадает память и что вообще она разрушается». («Лит. наследство», т. 86, с. 393).

на отношения между сотрудниками «Эпохи» — фактор, имевший, по всей вероятности, немаловажное значение в отклонении статьи «Счастливые люди» в журнале братьев Достоевских.

Проделанный анализ убеждает в том, что статью Страхова, посвященную «Что делать?», нельзя оценивать односторонне — отрицательно. Метод объективной литературной критики, который в качестве теоретической посылки выдвигал в 60-е гг. Страхов, позволил ему глубже, чем другим публицистам «Эпохи», например, Н. Соловьеву, проникнуть в существо «концепции характеров» романа Чернышевского. Не принимая эту концепцию, а порою искажая ее в духе «почвеннических» идей, Страхов тем не менее высказал некоторые интересные суждения о поэтике «Что делать?». Мнения Страхова о жанровом своеобразии просветительского социально-философского романа Чернышевского и вытекающем отсюда принципе «идеализации» героев должны быть, несомненно, учтены в характеристике изменяющихся эстетических представлений в русской критике 60-х гг., которые стимулировало развитие русской «интеллектуальной прозы» этих лет.

**ШКОЛА РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ЖУРНАЛА***(Н. Г. Чернышевский и А. Н. Пыпин)*

А. Н. Пыпин «в отличие от других крупных филологов... рано проникся духом демократического движения середины XIX века», отмечает современный исследователь¹. Ближайшие родственные связи, дружба с Н. Г. Чернышевским предопределили умственные и нравственные ориентиры молодого Пыпина. В пору становления научных интересов, идейных пристрастий он прошел замечательную школу «Современника» сначала в качестве постоянного сотрудника, а затем — и одного из ответственных редакторов. Эти уроки, в первую очередь уроки Чернышевского, не могли пройти бесследно.

Школа сотрудничества в передовом журнале, сама логика участия всегда поучительны. Последующей полувекковой деятельности ученого в русской литературной науке сообщалась энергия из мощного идеологического источника, каким стал «Современник» в шестидесятые годы. Какими же жизненными обстоятельствами вызывался на важное общественно полезное дело талант молодого филолога, начинающего публициста, будущего историка русской общественной мысли?

Выход на ту или иную ступеньку научной, либо служебной «лестницы» стоил разночинцу (как и выходцу из обедневшего и служилого дворянства, каким был Пыпин) огромного, напряженнейшего и поневоле систематического труда, прежде всего учебного. С образованием связывались основные надеж-

¹ Гришунин А. Л. Культурно-историческая школа. — В кн.: Академические школы в русском литературоведении. М., 1975, с. 109. Характеризуя научное наследие А. Н. Пыпина, Гришунин пишет: «Ни у Тэна, ни у какого бы то ни было другого представителя зарубежной культурно-исторической школы нельзя наблюдать такой окрашенности метода гражданственностью и общественно-политическим идеалом... Талант Пыпина соответствовал самому характеру русской литературы его времени; да он и вызван был к жизни, взращен и воспитан, конечно, этой литературой» (там же, с. 128).

ды. К 1853 г., блестяще закончив филологический факультет Петербургского университета, Пыпин определил свои исследовательские симпатии: это, конечно, — русская литература, «древняя и новая — и так называемые «славянские наречия», т. е. славянская литература, на первый раз древняя, церковно-славянская, по связи ее с начатками русской письменности»². Одновременно он готовился занять кафедру европейских литератур. Это не представлялось лишним. Система научных понятий в русском литературоведении была зыбкой, неустановившейся. Кропотливое изучение методологии западноевропейского литературоведения помогало Пыпину постигать приемы и «ухватки» зарубежных исследователей: позже он творчески применит их к неисследованным пластам русской письменности, памятникам славянской литературы, истории общественной мысли.

Первые публикации Пыпина в «Ученых записках императорской Академии наук», «Известиях императорской Академии наук», «Отечественных записках», «Атенее» ныне кажутся кирпичиками грандиозного здания, большого жизненного труда, задуманного и спланированного заранее. Это, впрочем, ретроспективное впечатление, когда сознаешь окончательный объем научного наследия ученого — около 1200 работ по фольклористике, истории славянских литератур, русской литературе, «древней и новой», методологии науки, педагогике, палеографии, этнографии, русской истории, истории религии, общественных учений, политической мысли. Шестидесятники, как правило, искали дела, умели находить его и умели делать. Многое было впервые. Открытие памятников древней письменности, скрупулезное обследование того или иного документа, комментирование, полемика с учеными коллегами по этому поводу, библиографические обзоры и заметки... Шло рабочее накопление и систематизация историографического материала. Кроме названных изданий, молодой исследователь помещал такого рода информационные и библиографические статьи в журнале «Современник», в котором стал сотрудничать с конца 1854 года.

Особенностью, важным достоинством «Современника» всех последующих лет, когда журнал становился трибуной различинно-демократической общественности и где первую скрипку уже играл Чернышевский, было полное отсутствие тех своеобразных пустот, какими грешил журнал раньше. Даже небольшая библиографическая заметка имела смысл, несла нужное содержание. Пересказ нового исторического исследования становился энергичнее и политически целеустремленнее первоисточника, рецензия проникалась острой публицистичностью, статья приобретала значение общественного события.

² Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910, с. 61.

Твердая редакторская рука Чернышевского явно сказалась на новых журнальных опытах двадцатидвухлетнего автора. Совместно писались «Заметки о журналах. Сентябрь 1856 г.» Неожиданна для пера молодого ученого серия статей «Китайская империя по описанию миссионера Гюка» и «Заграничные известия» — работы по преимуществу компилятивные (в первом случае — изложение путевых записок³, во втором — обзор общественной и культурной жизни Запада по страницам европейских периодических изданий)⁴. Изложение путевых записок Гюка предпринято Пыпиным перед предполагаемым собственным путешествием в Европу. И не о сознательном ли усвоении навыков журналистского письма свидетельствует любопытный и, по-видимому, единственный беллетристический (также переводный) опыт ученого «Черный и белый. Сцены в штате Миссури», опубликованный в мартовской книжке «Современника» за 1857 г.?

Ко времени первой заграничной командировки (с целью подготовки к чтению курса западноевропейских литератур в Петербургском университете) Пыпин достаточно политически ориентирован и профессионально подготовлен как журналист. Беглый штрих оставила в своих мемуарах Н. А. Тучкова-Огарева: по ее словам, Герцен, которого в те годы навещил Пыпин, знал молодого профессора по статьям и был «приятно поражен» «высоко нравственной чистотой» его облика⁵.

Журнал, в котором после смены рубрик большое место занимал отдел «Современное обозрение», нуждался в живых корреспонденциях непосредственно с театра политической жизни Запада. Слишком велика была прямая (информационная, образовательная) и служебная (сопоставления, параллели с российской действительностью) роль подобных материалов, и есть свидетельства, что Пыпин во время своих заграничных поездок получал задания из редакции. Обстоятельства появления «пражских» писем в журнале и чешские общественно-политические связи «молодого профессора» документированно исследовал К. И. Ровда⁶. В Чехии Пыпин попал под надзор австрийской полиции.

В статьях «Два месяца в Праге» корреспондент сочувственными штрихами рисует время «конституционной свободы», вызвавшей сильное патриотическое движение в чешском обществе, образование шумных политических клубов, новых периодических изданий. Им предстояла необходимая и трудная задача — дать обществу и широким слоям народных масс политическое образование, объяснить смысл революционных со-

³ См.: «Современник» 1857, № 3, отд. V, с. 123.

⁴ См.: там же, № 2, отд. V, с. 278.

⁵ Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М., 1959, с. 118—119.

⁶ См.: Ровда К. И. По следам 1848 г. (Пыпин в Праге). — «Русская литература», 1970, № 1, с. 171—183.

бытий, указать, к идеалу какого общественного устройства надо стремиться и чего требовать. Подробно пишет Пыпин о мертвой хватке грянувшей реакции, подорвавшей энергию общественных деятелей, лишившей многочисленных приверженцев демократии веры и целеустремленности.

Кроме этих писем, в «Современнике», за 1859 г. помещены корреспонденции «Из Флоренции» и «Из Венеции». Прозорливо изображен адресатом спад национально-освободительного («мацинистского») движения в Италии: «является на сцену новая политическая сила — благоразумный класс пропетьеров, людей осторожных вообще, наконец, аристократия, наклонная к извечному консерватизму, который не так легко вяжется с республикой»⁷. Для множества итальянцев эмиграция и изгнанничество стали обычным состоянием.

Вероятно, эти наблюдения и подогрели интерес Пыпина к проблематике возникновения, формирования и смен общественных настроений, мнений, учений. Можно выделить целую систему влияний, которые питали крепнущую мысль молодого сорудника «Современника».

Пыпин внимательно изучает Г. Гетнера, одного из главных идеологов немецкой «культурно-исторической школы». Накапливая и сопоставляя факты, полемизирует с автором: отмечает, например, что немецкий исследователь так и не сумел освободиться от представления о «величии эпохи Людовика XIV», приписывая единовластному властителю творческий гений, а его деятельность считая «несказанным благом» для страны. Ссылаясь на другие мнения, Пыпин подчеркивает, что в этот, казалось бы, «блестящий век остановилось, наконец, великое развитие, и покровительствуемая литература обратилась в умиленное восхваление двора и его владык»⁸. Обличительная литература того времени должна была начать общественно необходимую очистительную работу именно с разоблачения этого культа, устремив внимание на те стороны диктатуры, какие отличались крайними злоупотреблениями. Казалось бы, эта ассоциация не имеет никакого отношения к современности. Но далее Пыпин подводит читателя к нужным параллелям, говоря, что такие же процессы наблюдаются и в другие эпохи: «сначала литература решает вопрос отвлеченно, затем переходит на действительную почву ... сводит под общий взгляд все разрозненные явления общественной мысли, которые идут из разных источников, не сознавая своего единства. Она помогает доискаться до общих принципов, найти корень общественного зла»⁹. И заканчивает автор свою научную студию, посвященную новейшим исследованиям по истории француз-

⁷ «Современник», 1859, № 10, отд. III, с. 391.

⁸ «Современник», 1861, № 12, отд. I, с. 349.

⁹ Там же, с. 386.

ской литературы XVIII века, совершенно в духе публицистических инвектив «Современника»: «Новое литературное направление считает своим назначением противопоставлять гнусной действительности непреклонную мысль и спасительный идеал; оно не пугается работы там, где противоречие идеала с действительностью вызывает его на тяжелую борьбу»¹⁰. Что борьба эта действительно нелегкая, мы увидим в статье «Народное образование во Франции», опубликованной в февральской книжке журнала за 1862 г.

Каково же это народное образование и в каких исторических обстоятельствах спустя шестидесятилетие приходится действовать передовой части общества? Хищная тень реставрационного режима Наполеона Малого пала на все проявления общественной жизни. Это не могло не вызвать протеста: «вся более образованная часть Франции привыкла думать, что общественные реформы, народное благо, усовершенствование гражданской жизни, — словом, все существенные отправления в жизни нации должны совершаться на основании или с участием общественного мнения»¹¹, но именно этого быть не может, ибо противоречит самому духу диктатуры. Чтобы существовать, ей необходимо иметь широкий объем влияния на массы. Обеспечить это влияние она сможет только с помощью системы многочисленных рычагов. Иначе она не в состоянии не только функционировать, но и просто удержаться у власти. Если, например, первый источник национального просвещения и формирования убеждений молодежи — воспитание в средней школе, то, естественно, эта система хлопочет, чтобы снизить уровень образования, «без шума окинув... сетью монашеского воспитания, по всей Франции, обучение низшего класса»¹². В высших учебных заведениях ей необходимо «по возможности искоренить предметы; внушающие уму общие понятия, как например, философию, историю и всеобщую литературу... заменить образованных людей дрессированными специалистами, лишенными всякого знакомства с предметами, касающимися нравственных и политических вопросов»¹³. Послушным и полезным инструментом становится пресса: здесь действует система правительственных назначений, временных приостановок или запрещения издания (если оно выходит из-под контроля), мелочной регламентации обязанностей, слежки за неудобными людьми, доносов и т. п. Взяв всю заботу о благосостоянии народа на себя, диктатура густой паутиной несвободы обволакивает все источники творчества, самодеятельности, инициативы, лишая их, таким образом, самой сущности. Впрочем, всякая палка о двух концах. Ирония положения заключается в

¹⁰ Там же, с. 388.

¹¹ «Современник», 1862, № 2, отд. I, с. 575.

¹² Там же, с. 590.

¹³ Там же, с. 591.

том, что подобное злоупотребление властью стесняют подлинные средства развития: «...кроме той нравственной лжи, падающей обвинением на систему, она не достигает и той политической цели, во имя которой действует, — итоговые раздумья автора оптимистичны: «Останавливая народное развитие, можно, конечно, довести общество до известной степени отупения, подорвать энергию деятельных личностей; можно запугать людей, но запугать целую общественную жизнь невозможно, особенно там, где она уже работала прежде и продолжает работать при всех трудностях своего существования»¹⁴.

Нужно сказать, что публикации Пыпина в «Современнике» (почти до 1863 г.) составляли периферию журнала. Неяркие по публицистическому темпераменту, касающиеся больше специфически научных проблем, нежели текущие политических, они сильно уступали зрелым и мастерски исполненным выступлениям Чернышевского, Добролюбова, а позже — и активно начавшего сотрудничать Салтыкова-Щедрина. Пыпин по-прежнему писал много библиографических обзоров и заметок по русской историографии. Но это несколько не означает, что его журнальные опыты не проникались достаточно глубоко и основательно злобой дня. К сожалению, мы мало знаем о степени редакторского участия в подготовке этих статей самого Чернышевского, умевшего, как известно, и направлять тематику, и придавать чужим публикациям больший публицистический градус. Но уверенно можно говорить о том, что сама логика сотрудничества в передовом демократическом журнале воспитывала и направляла.

Остановимся на статьях цикла «Процессы о печати в Австралии», так как их проблематика волей обстоятельств тесно переплеталась с центральной драматической коллизией русского революционно-демократического движения шестидесятых годов. Во вступлении Пыпин ссылается на то, что проблема «законов по печати» стала предметом обсуждения в «Современнике» еще в прошедшем, 1862 г. Тем самым ставит статью в ряд публикаций по традиционной и злободневной для журнала теме¹⁵. Ситуация уже изменилась. Правительство утвердило новые правила о цензуре, стеснившие возможности передовой прессы. «Современник» выходил в свет после восьмимесячного запрещения. Чернышевский с 7 июля 1862 г. находился в Петропавловской крепости. Конкретно-сравнительный материал о преследованиях печати в Австрии (в ее состав входила и Чехия) приобретал русскую актуальность. В центре

¹⁴ «Современник», 1861, № 12, отд. с. 599.

¹⁵ В мартовской книжке «Современника» за 1862 г. были опубликованы статьи: Н. Г. Чернышевского «Французские законы по делам книгопечатания», П. П. Пекарского «Журналистика во Франции во время консульства и империи» и Н. Л. Тиблена «По делу преобразования цензуры».

внимания Пыпина — перипетии политического процесса над редактором газеты «Народни Листы», органа чешской национальной партии, Юлиусом Грегром. Гонения на печать в Австрии начались сразу же, как только некоторые периодические издания воспользовались конституционным правом обсуждать общественные и политические вопросы. Государственная система не могла не спохватиться. В Праге «...самовластие полиции и чиновничества стало господствующим законом, завелась целая система шпионства, следившего за каждым шагом людей, выступавших за политическую деятельность и имевших влияние в обществе»¹⁶. Новое австрийское правительство, хотя в его составе было немало либерально настроенных министров, в основном только жонглировало словами о свободе совести и печати. Процесс либерализации был неглубок. Общество, по выражению Пыпина, «...не привыкли к самостоятельности, ...тупо смотрит на то, что делается кругом, и редко представляет даже пассивное сопротивление»¹⁷. Автор делает фехтовальный выпад в сторону российских дел, не без яда упомянул «господина Чичерина», который считает, что Австрия, мол, нужна для мирового порядка, а свобода в Чехии и Австрии должна-де быть «австрийской». Точно так же, по-видимому, завершает его мысль Пыпин, свобода в Турции должна быть «турецкой, а в Китае китайской и т. д.»¹⁸ Что означают эти разновидности, теоретически никто не знает, а практически каждый ощущает на своей судьбе.

Ранее, в так называемый нелиберальный период жизни Австрии, когда собственно и не придерживались никаких законов, неугодного литератора даже не судили, его просто убрали с дороги, как враждебный строю элемент. Так было с чешским журналистом Гавличком — отправили в ссылку без суда и следствия. В более усовершенствованной государственной системе, замечает Пыпин, литератора подводят под параграфы уголовного кодекса, карающего «за нарушения общественного спокойствия и возбуждения против установленных властей... клеветы, насмешек и т. д.»¹⁹. Каким же может быть поведение литератора в этих условиях? Это в первую очередь интересует корреспондента «Современника». Конечно, подследственный не будет отказываться ни от своих статей, ни от своих мнений. Защищаясь, он будет ссылаться на собственные работы, прошедшие до публикации через цензуру, и на правительственные первоисточники, обратит внимание на свои мнения и сами факты. В конце концов, конституцией предоставлено право обсуждать внутренние дела своего отечества. Литератор пишет о них, оперируя цифрами и фактами, преследуя

¹⁶ «Современник», 1863, № 1—2; отд. I, с. 415.

¹⁷ Там же, с. 437.

¹⁸ Там же, с. 439.

¹⁹ «Современник», 1863, № 4, отд. I, с. 591.

не личную выгоду, а исключительно общественную пользу. Суд в данном случае ставится, говорит Пыпин, в весьма щекотливое положение ради одного стремления обвинить лишь бы осудить, придирается к мелочам, оборотам речи, отдельным фразам, тону высказывания и т. п. До поры, до времени судилище не может прийти ни к какому четко сформулированному заключению: подсудимый действовал как любой гражданин в конституционном государстве, где само правительство заявляет о своем либерализме. Но именно до поры, до времени. Как едко замечает Пыпин, общественный деятель, находящийся под судом, может только доказать, что как раз конституционной почвы нет ни у него, ни у всех других граждан: то, что называется в Австрии конституцией, «самим обитателям кажется некоторой шуткой»²⁰. По существу, суд не признает права гражданина высказывать свои убеждения, иными словами — преследует направление мысли, взгляд на вещи, тенденцию. Руководствуясь таким принципом, легко обвинить не только демократически настроенного деятеля, но и консерватора. Уголовный кодекс отнесется к обоим как к уголовным преступникам, т. е. важность преступления будет измеряться количеством случаев и рангом правительственных учреждений, мнения которых они противоречат. Здесь важно подчеркнуть нравственный аспект: общественное сознание оставляет за членами общества право иметь тот или иной образ мыслей, это пытается оспорить юридический кодекс; «...для кодекса и судьи фраза остается пунктом преступления, средством доказательства, как сломанный замок в воровстве со взломом»²¹.

Естественно, считает Пыпин, преследования мысли вызовут негодование общества. Вокруг подсудимого появится ореол мученика за идею. Сотрудник «Современника» снова делает экскурс в русскую историю, приводя традиционный вариант, когда судом изыскивается предлог, далекий от существа дела: «Любопытно, например, что когда у нас начались преследования раскольников, — а в то время не знали особой деликатности относительно убеждений, ...Петр в собственноручной инструкции Ржевскому говорил, буде возможно явную вину сыскать кроме раскола»²². Такой предлог был сыскан и в деле чешского литератора.

Не было бы основания столь подробно проследивать логику рассуждений Пыпина, если бы в те месяцы, когда выходили книжки «Современника», проблема положения писателя под следствием кровно не волновала редакцию. Не будет большим преувеличением предположить, что цикл статей «Процессы о печати в Австрии» были легальной попыткой обсуждения

²⁰ «Современник», 1863, № 1—2, отд. I, с. 437.

²¹ «Современник», 1863, № 5, отд. I, с. 232.

²² Там же, с. 234.

«дела Чернышевского». И попыткой обсуждения на традиционном для «Современника» языке. Как говорил о подобных случаях Н. В. Шелгунов, «Австрия, явившаяся на выручку писателей, учила и читателей проницательности и уменью понимать иносказания»²³.

Обсуждалась в последней статье цикла и тактика поведения подследственного литератора: ни в коем случае не говорить откровенно, не выдавать судьям свой идеал, оставаться «хладнокровным свидетелем извращения собственного дела»: «...здесь неуместны вспышки негодования, испорченное судебское воображение перетолкует их только в дурную сторону»²⁴. На что же, в конце концов, может рассчитывать преследуемый правительством литератор, спрашивает Пыпин. Во-первых, всеми легальными способами ему нужно доказать, что следствие, изыскивая способ расправы, сошло с законной почвы. (Кстати, возможность такой тактики учитывал и Чернышевский²⁵). Нравственная победа над судом — это уже немало. Во-вторых, опора на силу общественного мнения. Пыпин приводит несколько хрестоматийных эпизодов, когда между «юридическим преданием» и уровнем общественного самосознания возникала целая пропасть. Это приводило к почти анекдотическим случаям. В критической ситуации одно высокопоставленное лицо уговаривало Жан-Жака Руссо бежать от грозящего ареста, что тот и сделал: выезжая из дома, Руссо встретил полицейских, которые шли его арестовывать, вежливо раскланялся с ними и удалился восвояси. Сходный эпизод был и в биографии Дидро.

Нерв статей «Процессы о печати в Австрии» — апелляция к общественности: «...писатель будет по-прежнему один становиться жертвой своего убеждения, которые разделяют с ним тысячи людей», «по своему таланту и доброму намерению он остается истолкователем потребностей и желаний целого общества»²⁶.

В этом стремлении привлечь мысль читателя к злободневному вопросу сказался, на наш взгляд, один из вариантов тактики журнала. В номере, где заканчивался цикл пыпинских статей, завершалось и печатание романа «Что делать?». Обратим внимание на своеобразную переключку концовки выступления Пыпина со словами Чернышевского: «Если вам не угод-

²³ Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. Т. 1, М., 1967, с. 197.

²⁴ «Современник», 1863, № 5, отд. 1, с. 238.

²⁵ Ориентировку Н. Г. Чернышевского в первые месяцы заключения на легальность подчеркивал еще А. П. Скафтымов (см.: Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972, с. 250—253). В целом, эту особенность тактики Чернышевского во время следствия отметил в ряду других прецедентов Н. А. Троицкий. (См.: Троицкий Н. А. «Народная воля» перед царским судом. Изд-во Сарат. ун-та, 1971, с. 49).

²⁶ «Современник», 1863, № 5, отд. 1, с. 239.

но слушать, я, разумеется, должен отложить продолжение моего рассказа до того времени, когда вам угодно его слушать. Надеюсь дожидаться этого довольно скоро».

Последние годы «Современника» были порой плодотворной работы Пыпина в журнале. На эти годы приходится и демонстративный отказ от профессуры в Петербургском университете, и судебное преследование, завершившееся трехнедельным арестом, за помещение статьи Ю. Жуковского «Вопрос молодого поколения». Приход зрелости совпадал со временем все усиливавшейся реакции²⁷. Журнальная выучка скажется на всех позднейших трудах историка: в них наблюдается необычайное разнообразие историкографических и литературоведческих жанровых форм (своеобразных памфлетов, фельетонов и т. п. на научно-литературные темы). Отражится этот опыт и на стиле работ ученого. В статьях появится немало хлестких характеристик: Погодина, например, он назовет «начальником отделения по русской истории», в пору реакции упомянет о появлении сонмища «доносчиков по общественным вопросам», о беллетристах реакционного лагеря скажет, что те научились «перекладывать в драмы и романы содержание и мораль «Московских Ведомостей» и т. д.

В 1863—1866 гг. он пишет о женском вопросе и «женских артелях, воскресных школах и учительских съездах. Зачастую эти страницы окрашены бойцовским темпераментом. Учительские съезды, отметит Пыпин, нам нужны, но совершенно в ином виде, когда они будут не просто «почтительным донесением начальству», а «самостоятельно войдут здоровым элементом в преподавание и дисциплину»²⁸. Полемизируя с «Днем», иронически отзовется о горластой группе квасных патриотов, сплотившихся вокруг редакции: «...история начала противоречить их ожиданиям... «День» несколько иначе начинает смотреть на «наших славянских братьев», которые прежде пользовались полной славянофильской симпатией, а теперь начинают терять ее, потому что оказывают некоторое упорство в повиновении и склонность к европейским заблуждениям»²⁹.

Трудно найти среди рецензий, библиографических обзоров Пыпина поры «Современника» такие работы, в которых так или иначе не сказалось бы влияние «Очерков гоголевского периода русской литературы». Концепция, положенная в их ос-

²⁷ В. Е. Евгеньев-Максимов бегло охарактеризовал пыпинские статьи в «Современнике» как компилятивные и чисто информационные (см.: Евгеньев-Максимов В. Е., Тизенгаузен Г. Последние годы «Современника». Л., 1939, с. 17, 18, 97). Эта оценка явно нуждается в пересмотре. Более внимательный взгляд обнаружит в работах Пыпина этой поры и злободневность, и самостоятельность разработок, завершившихся, в конце концов, созданием оригинальной концепции историко-литературного процесса.

²⁸ «Современник», 1863, № 5, отд. II, с. 72.

²⁹ Там же, № 10, отд. II, с. 219.

нову, по-видимому, всегда волновала его. Об этом говорят все позднейшие признания историка русской литературы³⁰. Даже опуская свой исследовательский зонд достаточно глубоко, изучая древнейшие художественные памятники, он обязательно задастся вопросом, какое влияние они оказали на образование сегодняшних народных представлений, подчеркнет, что эстетической оценки недостаточно для определения культурного значения того или иного литературного явления.

Вслед за автором «Очерков гоголевского периода» Пыпин повторял, что насущная забота времени, — доподлинно знать, что сделано прежде, освободиться от деспотизма предрассудков, дутых понятий, фальшивых представлений, пугал и призраков прошлого. Вглядываясь в многослойный пласт пыпинских рецензий, культурно-информационных и библиографических обзоров и заметок 1854—1866 гг., можно заметить, какой именно материал шел в дело. Архивные документы, материалы к биографиям замечательных людей, судебные дела, путевые журналы путешествий и военных походов, письма, дневники, мемуары — все подлежало ревизии с благой целью поиска «фактов для объяснения народного характера», выводов и контрвыводов для характеристики действительности. Отдавался отчет о том, что официальные источники, либо те или иные исторические памятники дают современнику весьма ложную картину века минувшего и нынешней эпохи. Отсюда специфический подход к художественным произведениям как фактам прежде всего историческим, сближение их с явлениями другого ряда, хотя не однажды Пыпин эту свою «принципиальную односторонность» оговаривает.

Такой подход диктовался логикой борьбы и столь же часто реализовывался в отношении явлений современного литературного процесса. В статье «Сочинения Помяловского» автор противопоставляет творчество писателя всей литературе «догоголевского» периода. По его мнению, беллетристы «старой школы» смогли найти свой нравственно-исторический идеал только в «лишних людях». Новая эпоха выдвинула новые общественные требования, мыслящая молодежь стала искать дела в самой гуще действительности. «Новые люди» (именно этим термином пользуется Пыпин) не приняли на веру прежних мнений: «...понимая жизнь положительнее и беспристрастнее, они не подкрашивали ее чувствительным идеальничаньем, не портили ее выдуманными страданиями, но зато, находя предмет сочувствия, отдавались ему серьезнее...»³¹

³⁰ Например, такая мемуарная запись: «Очерки гоголевского периода определяли исторический момент, к которому привело предшествующее развитие нашей литературы... приобретено как великий результат, обязательный для дальнейших деятелей русской литературы, которые сумели бы понять свой истинный долг, лично нравственный и общественный» (Пыпин А. Н. Н. А. Некрасов. СПб., 1905, с. 23).

³¹ «Современник», 1864, № 11—12, отд. II, с. 65.

Новые общественные явления, новые умственные и нравственные понятия, по логике размышлений Пыпина, вызвали к жизни талант Помяловского. Правда, главный герой обеих повестей («Молотов» и «Мещанское счастье») — это пока еще не идеал, но уже «одна сторона идеала». Из обстоятельств происхождения, учения, становления характера, взаимоотношений со средой Пыпин воспроизводит социально-психологический портрет героя времени, «не лишнего» в гуще настоящего и грядущего общественного бытия. Этот герой сбросил с плеч своих часть гнета, который давил его с детства и юности; наперекор обстоятельствам, решил свой «личный вопрос, устроил себя, в будущем он в состоянии решить вопрос общественный: «...гордый своим осознанным человеческим правом... не уступит, когда дело дойдет до спора»³².

Так Пыпин проецировал на героя Помяловского симпатичный ему нравственный склад личности человека шестидесятых годов.

В статье «Литература переводов» автор утверждает, что новая литература, хотя пока и состоит из мелких очерков, имеет значение потому, что обратилась именно к народному быту, не выдумывая идиллий там, где их нет, а изображает народную жизнь реалистически, раскрывая не только ее «поэтическую сторону», но и общественный смысл. Тонко понимает Пыпин диалектику концепции «Очерков гоголевского периода», напоминая о значении читателя в литературном процессе: «...чем больше общественный интерес будет склоняться к известным предметам, тем больше... ухо будет привыкать к ним, и тем больше будет возможно и для литературы останавливаться на них», само литературное направление зависит от того же общества, «потому что литература служит ему только отражением»³³. В условиях, когда «наша собственная производительность» невелика, педагогическое значение приобретает европейская литература: «у нас еще много людей, которые в русской книге и в применении к русским предметам еще не могут переварить тех вещей, которые уже начинают понимать и допускать в книге иностранной»³⁴.

Одним из последних выступлений Пыпина в журнале были «Советы графа Жозефа де Местра» — статья, яркая по публицистическому качеству, посвященная характеристике злобствующего и живучего типа реакционера, статья, по-своему предупреждавшая о темной полосе реакции, которая выверит крепость идеалов шестидесятников. Пыпин, прошедший школу передового русского журнала, уже определил свой выбор. Именно идейно-нравственные мускулы, которые он вытрениро-

³² «Современник», 1864, № 11—12, отд. II, с. 82.

³³ «Современник», 1866, № 3, отд. II, с. 103.

³⁴ Там же, с. 98.

вал в эти годы, позволили ему стать среди историков литературы и всех причастных к педагогической и исторической науке «властителем дум», как справедливо назвал его Н. К. Пиксанов³⁵.

Не будучи общественным деятелем типа ведущих работников журнала, Пыпин в меру своего призвания и научных склонностей стал энергичным защитником прогрессивного в русском обществе. Без оговорок называл историка русской литературы «человеком «Современника» Салтыков-Щедрин в семидесятые годы³⁶.

Уроки Чернышевского не прошли напрасно. Одна из нравственных идей «Очерков гоголевского периода», близко воспринятая Пыпиным, формулировалась кратко и обязывающе: нужно сильно любить общество, развитию которого споспешествуешь; помогать, улучшать, развивать — дело медленное и трудное, дело на всю жизнь. Пыпин понимал, что современники плохо знают историю своей страны, и чем прошедшее было ближе, тем менее оно изучено. Право на исследование добывалось трудом и потом: «само собой разумеется, — отдавал отчет ученый, — мы говорим о серьезном изучении, а не о тех исторических послужных списках и панегириках, которых у нас довольно»³⁷. Подлинно научное изучение истории должно подвергать анализу и критике общественные и другие принципы, которые повлияли на развитие страны, и те предрассудки, которые задерживали его, но «наша непривычка к серьезной критике такова, что исследователь может быть уверен, что если бы даже он ограничился одним XVI веком, он найдет истолкователей, которые снабдят его такими комментариями, от которых может не поздоровиться»³⁸.

Мы, живущие во второй половине XIX века, заканчивал свою мысль Пыпин, еще сталкиваемся с живыми и имеющими общественную силу принципами и предрассудками XVI и XVII столетий.

Работа предстояла огромная, и историк, литературовед, социолог и этнограф принялся за нее со всей страстью и энергией шестидесятника.

³⁵ Пиксанов Н. К. Творческая история «Горя от ума». Л., 1971, с. 13.

³⁶ См.: Письмо М. Е. Салтыкова к А. Н. Пыпину 1876 г. — Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч., т. 19, кн. первая. М., 1976, с. 32.

³⁷ «Современник», 1866, № 2, отд. 1, с. 541.

³⁸ Там же.

**ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА
«ДЫМ» И «СОВРЕМЕННОК» 60-х ГОДОВ**

1

Критика многих политических, экономических, культурных сторон русской жизни в романе «Дым», разоблачительные характеристики Губарева и «губаревщины» в прямой, публицистической форме включены в высказывания Потугина. Ему же доверены многие важные суждения, близкие к взглядам самого Тургенева и как бы входящие в тот положительный идеал, который отстаивает автор на страницах романа.

Считая, что «с высоты европейской цивилизации можно еще обозревать всю Россию», Тургенев защищался от обвинений Д. И. Писарева в ограниченности авторской позиции¹, отмечая большое идейное значение образа Потугина: «Быть может, мне одному это лицо дорого; но я радуюсь тому, что оно появилось, что его ругают наповал в самое время этого всеславянского опьянения, которому предаются именно теперь, у нас. Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово: «цивилизация» — на моем знамени, — и пусть в него швыряют грязью со всех сторон. Si etiam omnes, ego non»².

¹ Д. И. Писарев писал И. С. Тургеневу: «Чтобы осмотреться и ориентироваться, вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьию кочку, между тем, как в Вашем распоряжении находится настоящая каланча <т. е. Базаров.—И. В.>, которую Вы же сами открыли и описали». (Писарев Д. И. Соч., т. 4, М., 1956, с. 424).

² Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми тт. Письма, т. VI, М.—Л., 1963, с. 261. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома (римской цифрой) и страницы (арабской цифрой). При ссылке на письма: Письма, том, страница.

Та же мысль проводится в предисловии к отдельному изданию «Дыма» (апрель 1868 г.): «Притом никакие доводы не убедят тех из его читателей, которые не захотят или не сумеют признать мысль, положенную в основание характера Потугина — лица, по-видимому, более всех других оскорбившего патристическое чувство публики; пускай же это лицо само говорит за себя. Автор ограничился тем, что придал ему несколько новых черт, еще определеннее высказывающих его значение, сущность и мысль» (IX, 329).

Идейные истоки западнической проповеди Потугина многообразны. Прежде всего, в речах Потугина звучат суждения самого автора романа, прослеживаются отголоски его полемики с Герценом в 1862—1863 гг. о единстве исторических путей развития России и Европы, о роли образованной части русского общества, о значении цивилизации и прогресса.

В 1862 г. Тургенев писал Герцену о своих убеждениях: «Я все-таки европеус — и люблю знамя, верую в знамя, под которое я стал с молодости». (Письма, V, 73).

В том же плане говорит и Потугин о своей жизненной позиции: «Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, — цивилизации, — да, да, это слово еще лучше, — я люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет» (IX, 173).

Отмечая остроту и верность герценовской критической мысли, подвергавшей разоблачению в «Концах и началах» уродливые явления буржуазной цивилизации, Тургенев и здесь не отделяет Россию от Европы, считая, что русские принадлежат «и по языку, и по природе к европейской семье». Поэтому критику Герцена Тургенев относит ко всему современному человечеству. «Ты с необыкновенной тонкостью и чуткостью произносишь диагноз современного человечества — но почему же это непременно *западное* человечество — а не *bipèdes* вообще?» (Письма, V, 67). Та же мысль, выраженная фразеологически сходно, введена в высказывание Потугина: «но зачем навязывать именно Западу то, что, быть может, коренится в самой нашей человеческой сути? Этот игорный дом безобразен, точно; ну, а доморощенное наше шулерство небось красивее?» (IX, 175)³.

В письмах Тургенева 1862—1863 гг. к Герцену и В. Ф. Лукину неоднократно говорится о том, что важнейшей силой прогресса является дворянская интеллигенция, «меньшинство образованного класса», которое должно нести народу просвещение, «революционные и реформаторские» начала. «Роль *образованного* класса в России — быть передателем цивилизации народу, с тем чтобы он сам уже решил, что ему отвергать или принимать — эта, в сущности, скромная роль — хотя в ней подвизались Петр Великий и Ломоносов, хотя ее приводит в действие революция⁴ — эта роль, по-моему, еще не кончена»

³ Ср. также критику Тургеневым «антитезы Запада, прекрасного снаружи и безобразного внутри — и Востока, безобразного снаружи и прекрасного внутри» (Письма, V, 64) и ироническое замечание Потугина о «гнилом Западе» (IX, 167).

⁴ Революцию Тургенев понимал как постепеновский прогресс.

(Письма, V, 51), — писал Тургенев Герцену 26 сентября (8 октября) 1862 года.

На тех же позициях Тургенев оставался и в пору создания «Дыма». Прощаясь с Литвиновым, Потугин напутствует его на будущую деятельность в деревне, которая обязательно должна иметь «педагогический, европейский характер», служить цивилизации. Потугин уверен, что в своем труде Литвинов не окажется одиноким: «Вы не одни теперь. Вы не будете «сеятелем пустынным», завелись уже и у нас труженики... пионеры» (IX, 313). Писатель остался верен своим надеждам на образованное меньшинство, несущее положительные знания и гуманные начала в пореформенную русскую деревню⁵.

Как установлено М. К. Азадовским⁶ и Е. И. Кийко⁷, Тургенев, формулируя западническую программу Потугина, широко использовал высказывания Белинского о цивилизации, заимствовании у Запада, роли Петра I в европеизации России, значении образованного общества для передачи культуры народу, о народной поэзии. Особенно важным представляется тот факт, что Тургенев использовал с наибольшими изменениями рассуждения из статей Белинского 1847—1848 гг. в тех монологах Потугина, которые отсутствовали в журнальной редакции романа и были дополнительно введены в отдельное издание «Дыма» 1868 года. Это было связано, по-видимому, с необходимостью более твердого обоснования западнической теории цивилизации, которая уже в первых отзывах о романе оценивалась резко критически.

Так, например, Герцен сосредоточил свою критику романа «Дым» на Потугине, которого он считал надуманной, нежизненной фигурой, а его высказывания — устарелыми. В статье «Отцы сделали дедами» Герцен писал: «Но нельзя же взять совсем безличные и не очень новые меха да в них налить продымленную воду, назвать их Натугиным или Потугиным, заставить постоянно сочиться, как каучуковую грушу, и выдавать их за живых людей, да еще будто за таких, которые в министерстве финансов служили и отличья получали...»⁸

⁵ Тургенев вводит в высказывания Потугина не только элементы полемики с Герценом, но и другие материалы своей переписки. См.: Комментарии к «Дыму» (IX, 524), а также: Батюто А. И. Тургенев в работе над романом «Дым». — «Русская литература», 1960, № 3, с. 156—160.

⁶ См.: Азадовский М. К. «Певцы» И. С. Тургенева. — «Известия АН СССР», отдел литературы и языка, т. XIII, вып. 2, 1954.

⁷ Кийко Е. И. Комментарии к роману «Дым» (IX, 527—528).

⁸ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти тт., т. XIX, с. 261, см. также т. XXIX, с. 102. На критику Герцена Тургенев отвечал: «Тебе наскучил Потугин и ты сожалешь, что я не выкинул половину его речей. Но представь: я нахожу, что он еще не довольно говорит, и в этом мнении утверждает меня всеобщая ярость, которое возбудило против меня это лицо». (Письма, VI, 252).

Отрицательно отнеслись к проповеди Потугина и другие критики романа⁹.

Тургенев всегда считал себя учеником Белинского, а свои общественно-политические взгляды связывал с теорией великого критика, как он ее себе представлял.

Разъясняя Литвинову, что перенимать у «старших братьев» на Западе нужно только то, что будет пригодно для русских условий, Потугин говорит: «Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок ее переварит по-своему; и со временем, когда организм окрепнет, он даст *свой сок*» (IX, 171).

Размышляя о развитии русской литературы по аналогии с развитием России после реформ Петра I, Белинский писал в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года»: «Чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить ни в литературе, ни в жизни отсутствия своего собственного, национального содержания; но оно может переродиться в него со временем, как пища, извне принимаемая человеком, перерождается в его кровь и плоть и поддерживает в нем силу, здоровье и жизнь»¹⁰. Тургенев следует за Белинским в своем понимании заимствования не как рабского, слепого подражания, а разумного, естественного усвоения и переработывания европейских начал.

Взгляды авторов, казалось бы, почти полностью совпадают. Но это не совсем так, что выясняется из дальнейших рассуждений Белинского. Прежде всего, отношение критика к реформе Петра I было значительно сложнее, диалектичнее, чем это выразилось позднее в выступлениях Потугина. По-прежнему признавая положительное влияние на русскую жизнь деятельности Петра I, который «бросил в плодovitую землю русского духа семена науки и образования», Белинский считал «европеизм России, созданный реформой Петра Великого», «поддельным, искусственным», имеющим только временное, преходящее, а не абсолютное значение. Россия как бы воспользовалась толчком, который ей дали реформы Петра I, а затем пошла своим, самобытным путем. Пафос исторической и историко-литературной концепции статьи Белинского состоит в том, что он доказывает самобытность, оригинальность развития России, и это в значительной мере противоречит убеждению Тургенева в единстве исторического движения России и Европы. Белинский утверждал: «Но один из величайших умствен-

⁹ Д. И. Писарев вообще не обратил внимания на образ Потугина (См.: Писарев Д. И. Соч., т. 4, с. 423—425). Автору статьи о «Дыме» в газете «Гласный суд» западнические взгляды Потугина показались устаревшими. (См.: «Гласный суд», 1867, 30 мая/11 июня, № 221). Г. Е. Благовостлов назвал высказывания Потугина «копеечными обличениями», лишенными какого-либо серьезного значения и социального смысла. (Благовостлов Г. Е. Старые романисты и новые Чичиковы. — «Дело», 1868, № 1, с. 7).

¹⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X, М., 1956, с. 9.

ных успехов нашего времени в том и состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, несколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с нею общего, европейских народов. То же и в отношении к истории русской литературы»¹¹.

Убедая Литвинова, что народ усвоит только те понятия и формы европейской цивилизации, которые ему необходимы, Потугин ссылается по аналогии на тот процесс, который происходил в русском языке в связи с реформами Петра I: «Возьмите пример хоть с нашего языка. Петр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов, голландских, французских, немецких: слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ <...>».

Сперва — точно вышло нечто чудовищное, а потом — началось именно то перевариванье, о котором я вам докладывал. Понятия принялись и усвоились; чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел чем их заменить <...> Что произошло с языком, то, должно надеяться, произойдет и в других сферах» (IX, 171—172).

Это рассуждение Потугина, введенное Тургеневым в отдельное издание романа, несомненно, связано с мотивами статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Отстаивая исторический прогресс, прослеживая его проявление и в русской жизни и литературе, Белинский полемизирует с его врагами, всевозможными защитниками старого. Высмеивая пуристов, противников введения в русский язык иноязычных слов, таких, например, как *прогресс*, Белинский имел в виду не только и не столько чисто языковые понятия, сколько отстаивал прогресс исторический, как неизбежное движение и развитие, где «каждое явление есть необходимый результат предыдущего и им объясняется». Языковые заимствования Белинский понимает диалектически, их корень «глубоко лежит в реформе Петра Великого, познакомившей нас со множеством до того совершенно чуждых нам понятий, для выражения которых у нас не было своих слов»¹². «Дух», «гений языка» помешал образованию чудовищного смешения иноязычных слов — «вот почему из множества вводимых иностранных слов удерживаются только немногие, а остальные сами собою исчезают»¹³. В данном случае Тургенев в речи Потугина использует не только фразеологию Белинского, но логику его рассуждений и доказательств, в которых исторический пример языковых заимствований в эпоху Петра I приобретает значительно более широкое содержание.

¹¹ Там же, с. 10. См. также с. 13, 29, 30.

¹² Там же, с. 281.

¹³ Там же, с. 282.

Понимание Тургеневым роли и значения образованного меньшинства, т. е. дворянской интеллигенции в России, сложилось также под влиянием Белинского, который неоднократно указывал, что просвещение и образование народа должны осуществлять представители «высших сословий»¹⁴.

2

Тургенев чувствовал свое одиночество в либеральном лагере, выступая с защитой прогресса и европейских свобод.

Помимо несомненных отголосков полемики Тургенева с Герценом в 1862—1863 гг. по этому вопросу, представляется правомерным предположить, что в данном случае Тургенев отвечал и другим защитникам теории самобытного развития России. Это был, скорее всего, Кавелин, который в 1862—1866 гг. вслед за Чичериным доказывал коренное отличие русской истории и дальнейшего пореформенного развития страны от путей Западной Европы¹⁵. Кавелин утверждал: «Наше движение историческое — совершенно обратное с европейским»¹⁶. Он доказывал своим читателям: «Мы всеми путями порываемся выйти из того периода русской истории — периода заимствований у Европы, — который он <т. е. Петр I, И. В.> открыл и начал»¹⁷.

В своей защите европейских путей развития, в отстаивании идей «цивилизации» Тургенев находился на более передовых позициях, чем Чичерин и Кавелин. Их обращение к «самобытности», отказ от европейских норм жизни объяснялись страхом перед передовыми революционными и социалистическими идеями, которые связывались в представлении либералов с влиянием западноевропейской культуры. Именно поэтому Кавелин так настойчиво призывал «наконец выйти из духовной кабалы» Запада, не быть «идолопоклонниками», радостно отмечал, что «пристрастие к иностранному, к чужому видимо сменяет-

¹⁴ См.: там же, с. 368, 369, 370.

Рассуждения Потугина настолько точно передавали некоторые положения западной теории Белинского, что Тургенев повторил их позднее с небольшими изменениями в «Воспоминаниях о Белинском», когда излагал свое понимание идей критика (См.: IX, 527).

¹⁵ Кавелин принял мысль Чичерина о «противоположности» европейской и русской истории в 1856 г. (См.: Кавелин К. Д. О книге г. Чичерина «Областные учреждения России в XVII в. — Кавелин К. Д. Собр. соч. т. 1. Спб., с. 507—570).

Ранее он стоял на точке зрения единства развития России и Западной Европы. (См.: Взгляд на юридический быт древней России (1846 г.), т. 1, с. 66; также: Кавелин К. Д. Краткий взгляд на русскую историю (Чтение в профессорском клубе в Бонне в 1863—1864 гг.); Мысли и заметки о русской истории. — «Вестник Европы», 1866, № 2, с. 325—404.

¹⁶ Кавелин К. Д. Собр. соч., т. 1, с. 581.

¹⁷ Там же, с. 587.

ся в образованных слоях нашего общества охлаждением к Европе»¹⁸.

Весьма знаменательно, что проповедь на страницах романа «Дым» западной цивилизации, гуманности и образованности, борьба за европейский путь развития России не противоречили позиции «Современника» по этому вопросу.

В целом ряде статей, критических заметок, библиографических обзоров, наконец, в хронике текущих событий — «Внутреннем обозрении» — «Современник» защищал идеи европейской цивилизации и свободы от нападок ее противников, славянофилов и почвенников¹⁹.

Критикуя почвенническую теорию «Времени», М. Антонович писал: «Напротив, нас можно было бы назвать счастливыми, если бы нам удалось вкусить хоть половину тех благ, которые выработаны европейской цивилизацией. Она, например, проповедует слово и дело гуманности. Но пользуемся ли мы, пользуемся ли вся наша почва плодами гуманности?»²⁰

Конечно, само понятие «цивилизации» в статьях «Современника» было иным, чем у Тургенева. Имелось в виду не только «слово и дело гуманности», но делался особый акцент на требовании повышения «всего материального благосостояния»²¹ народа, который только при этом условии сможет пользоваться «плодами цивилизации».

Публицисты «Современника» в силу цензурных условий могли только в самой общей форме обозначить свое понимание общественного прогресса, лишь намекнуть на передовые социалистические идеи, которые входили в революционно-демократическое понятие европейской цивилизации. В то же время Тургенев в «Дыме» прямо отвергает эти представления, считая их окончательно устаревшими и чуждыми русской жизни. Еще в 1862 г. в письме к Герцену Тургенев называл «социалистические идеи об общей собственности» «старинными» (Письма, V, 74); в «Дыме» та же мысль звучит более резко. Потугин, отстаивая положительные, технические достижения Запада, высмеивает тех русских публицистов, которые понимают цивилизацию прежде всего в социальном и революционном духе: «Вот поднять старый, стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурье, и, почтительно возложив его на голову, носиться с ним, как со

¹⁸ Кавелин К. Д. Мысли и заметки о русской истории. — «Вестник Европы», 1866, кн. 2, с. 593, 650.

¹⁹ См.: «Современник», 1861, февраль, с. 283—290; 1862, апрель, с. 259—288, 1864, февраль, с. 92—112; 1864, сентябрь, с. 117—122 и др.

²⁰ Антонович М. О духе времени и г. Косиц, как наилучшем его выражении. — «Современник», 1862, февраль, с. 260—261, и далее. См. также: «Современник», 1864, январь, с. 213, февраль, 92—112, март, с. 111—112 и др.

²¹ «Современник», 1862, № 4, с. 288—289.

святыней, — это мы в состоянии; или статейку настроичить об историческом и современном значении пролетариата в главных городах Франции — это тоже мы можем; а попробовал я как-то предложить одному такому сочинителю и политико-эконому, вроде нашего господина Ворошилова, назвать мне двадцать городов в этой самой Франции, так знаете ли, что из этого вышло? Вышло то, что политико-эконом, с отчаяния, в числе французских городов назвал наконец Монфермель, вспомнив, вероятно, польдекоковский роман» (IX, 234).

Имея в виду Н. П. Огарева, а также Н. В. Шелгунова²² и, видимо, некоторых других публицистов «Современника», Тургенев высмеивал их, как ему казалось, за полузнайство, политическое легкомыслие и отсталость, в то время как Россия, по представлениям писателя, нуждалась прежде всего в самых простых и элементарных технических усовершенствованиях и улучшениях.

Такое противопоставление передовым социальным идеям хозяйственных улучшений в пореформенной деревне становится особенно наглядным оттого, что язвительной тираде Потугина о «стоптанном башмаке» Сен-Симона или Фурье предшествует не менее гневная филиппика российской технической и экономической отсталости, подражательности всех русских хозяйственных достижений, отсутствии инициативы и изобретательности.

Против надежд на революционное переустройство русской жизни, несомненно, направлено ядовитое замечание Потугина о легковерной молодежи: «В том-то и штука, что нынешняя молодежь ошиблась в расчете. Она вообразила, что время прежней, темной, подземной работы прошло, что хорошо было старичкам-отцам рыться наподобие кротов, а для нас-де эта роль унизительна, мы на открытом воздухе действовать будем, мы будем действовать... Голубчики! и ваши детки еще действовать не будут, а вам не угодно ли в норку, в норку опять по следам старичков?» (IX, 235—236)²³.

Под «цивилизацией» Тургенев, прежде всего, понимал «образованность», просвещение. В нарисованной Потугиным картине «мужик» кланяется «образованному человеку»: «научи, мол, меня, батюшка барин, я пропадаю от темноты» (IX, 170).

²² См.: Тургенев И. С. Собр. соч. в 12-ти тт., т. 4. М., 1956, с. 498, также: Муратов А. Б. И. С. Тургенев, Н. В. Шелгунов, и Л. П. Блюммер, с. 69—71; Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми тт., т. IX, с. 555; Шелгунов Н. В. Люди сороковых годов. — «Дело», 1869, № 12, с. 16.

²³ Здесь ощущается также и известная перекличка с «Отцами и детьми» — иронически переосмысливаются оптимистические прогнозы Базарова на судьбу следующего поколения, когда он говорил Аркадию о его будущих детях («Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся: не то, что мы с тобой». — VIII, 381). По мнению Тургенева, предсказание Базарова не сбылось.

Защита просвещения, народного образования была одной из основных тем «Современника» в 1861—1866 гг.²⁴

Просвещение народа «Современник» понимал как необходимое условие дальнейшего умственного развития русского мужика: «Просветите народ, и он станет заниматься всем, что интересуется образованных людей и что вы называете ненародным»²⁵, — пишет М. Антонович, полемизируя со славянофилами, которые ссылались на равнодушие народа к политическим вопросам. М. Антонович считает причиной народной отсталости духовную неразвитость, связанную с особенностями и условиями жизни и быта народа.

Отстаивая просвещение народа, «Современник» имел в виду «распространение знаний (но знаний действительных, а не одних азбучных) <...> Так как у нас самих до сих пор было еще крайне мало собственных средств образования, то мы по необходимости обращаемся к народам Западной Европы, которые гораздо богаче нас в этом отношении»²⁶.

Такое обращение к достижениям культуры и цивилизации вовсе не означало, что «Современник» призывал переносить на русскую почву все особенности западной жизни. Напротив, в журнале отмечалось, что современная европейская цивилизация, кроме достижений науки, «снабжает нас» также и «своими испорченными общественными нравами и политической рутиной»²⁷.

Для Тургенева также одним из основных недостатков современного ему Запада представлялось падение буржуазных нравов. Именно на это явление обращает внимание Потугина Литвинов: «Он указал на двух проходивших лореток, около которых кривлялось и картавило несколько членов Жокей-клуба, и на игорную залу, набитую битком, несмотря на позднее время дня» (IX, 174).

Выступая с защитой западной цивилизации, Тургенев имел в виду всех ее противников, в том числе обновившееся в 60-е годы славянофильство и почвенников.

Западническая проповедь Потугина оценивалась Тургеневым как очень своевременная, так как именно в 1867 г. происходит активизация реакционной деятельности славянофилов во главе с М. П. Погодиным, связанная с устройством этнографической выставки и Славянским съездом в Москве. По этому поводу автор «Дыма» писал Герцену 23 мая (4 июня) 1867 г.:

²⁴ См.: «Современник», 1861, январь, с. 39. Там же, 1861, февраль, с. 353; 1861, сентябрь, с. 1—28; 1862, апрель, с. 259—289, 1864, январь, с. 213; 1865; октябрь, с. 204 и др.

²⁵ Антонович М. Суемудрие «Дня». — «Современник», 1865, октябрь, с. 204.

²⁶ Пыпин А. Н. Несколько слов о «народных началах» и о «цивилизации». — «Современник», 1865, июнь, с. 159—160.

²⁷ Там же, с. 160.

«Я даже радуюсь, что мой ограниченный западник Потугин появился в самое время этой всеславянской пляски с присядкой, где Погодин так лихо вывертывает пá с гармоникой под осеняющей десницей Филарета». (Письма, VI, 260).

Против почвенников, на наш взгляд, была направлена гневная тирада Потугина об инстинкте: «Лезут мне в глаза с даровитостью русской природы, с гениальным инстинктом, с Кулибиным <...> Инстинкт! Нашли чем хвастаться <...> Инстинкт, будь он распрегениальный, не достоин человека; рассудок, простой, здравый, дюжинный рассудок — вот наше прямое достояние, наша гордость» (IX, 231).

Проповедь «инстинктов», абсолютизация псевдонародных начал и отказ от западной цивилизации, которая якобы уже совершила свою историческую задачу, а теперь должна уступить дорогу новому племени, со свежими, нетронутыми силами, т. е. славянам во главе с русским народом, — такая проповедь велась со страниц журналов почвенников, «Времени» и «Эпохи». Против нее выступил и «Современник»: «...связывая себя вперед выполнением одних мнимонародных начал, т. е. бессознательных *инстинктов* и весьма не широкой опытности «народа», мы осуждаем себя на повторение исторических задов и порчу собственного дела»²⁸.

С понятием «инстинкта» Тургенев связывал представление о полусознательном патриархальном быте, об отказе от просвещения, науки, от всякого положительного знания.

Как символ патриархальной отсталости, косности, заскорузлого невежества, которое, в конечном итоге, защищали славянофилы, в речах Потугина фигурирует «армяк»: «Видите этот армяк? вот откуда все пойдет. Все другие идолы разрушены: будемте же верить в армяк. Ну, а коли армяк выдаст? Нет, он не выдаст, прочтите Кохановскую, и очи в потолочки!» (IX, 170).

В 1862 г. Тургенев обвинял Герцена в преклонении перед «идолом», «das absolute», «русским тулупом», т. е. перед особенностями русской общины, в которой Герцен обнаружил зачатки будущего социалистического быта, а Тургенев видел только остатки патриархального рабства. В контексте романа «Дым» «армяк» уже не только связывается с социалистической теорией Герцена, а относится и к той проповеди патриархальности, архаических начал, которую вели славянофилы. В этом отношении Тургенев был близок общей направленностью своей критики к «Современнику». В журнале отмечалось, что славянофилы под народностью понимают «народность археологическую», которую «нужно реставрировать по старым образцам»²⁹, а под «именем свободы они проповедают крайнее стес-

²⁸ «Современник», 1864, январь, с. 213. <Курсив наш. — И. В.>

²⁹ Антонович Н. А. Суемудрие «Дня». — «Современник», 1865, октябрь, с. 183.

нение, <...> под именем русского духа — возвращение к отжившей старине и обскурантизму»³⁰.

Сама фразеология обличения славянофильства в речах Потугина также близка выступлениям «Современника».

Отстаивая подлинный патриотизм и истинную народность, «Современник» писал о славянофилах: «Впрочем, «День» соображает это плохо; поддевка и вера в леших все еще кажутся ему необходимым свойством русского человека...»³¹.

«Армяк», «тулуп», «поддевка» — применение этих близких слов, обозначающих одно понятие — народную отсталость — у Тургенева и в «Современнике» представляется нам не случайным.

Защита патриархального «армяка» связывается в сознании Тургенева с псевдорусскими, охранительными повестями Кохановской.

В номере «Современника», предшествующем тому, где говорилось о «поддевке» и вере в леших как символе народной отсталости, — была помещена рецензия на повести Кохановской, в которой идеалы писательницы характеризовались как «те самые идеалы, которые лежат в основе славянофильского учения, которое, как известно, всю русскую историю объясняет смирением, с одной стороны, и прощением, с другой»³².

С отношением к славянофильству связана и оценка Тургеневым народной поэзии.

Доказывая, что «без цивилизации нет и поэзии», Потугин обрушивается на поэтический идеал, отразившийся в некоторых русских былинах. В данном случае Тургенев использует те мотивы фольклорных произведений, где отразились нравы и понятия о любви, красоте, свойственные патриархальным и раннефеодальным временам. Отбор эпизодов и сюжетов явно тенденциозен — в речах Потугина подчеркивается грубость, примитивность, неразвитость художественного вкуса, отразившиеся в приведенных эпизодах из былин и песен³³.

Тургенев вовсе не был противником народной поэзии. Напротив, ему был свойствен глубокий интерес к русскому фольклору, который отразился во многих произведениях писателя³⁴.

В данном случае суждения Потугина имеют полемический характер. Выступая против народной отсталости, патриархальных пережитков и привычек, как они отразились в некоторых былинах и песнях, Тургенев выступает против славянофилов и славянофильского понимания народной поэзии.

³⁰ Там же, с. 210.

³¹ «Современник», 1863, октябрь, с. 231.

³² Там же, сентябрь, с. 71.

³³ О соотношении взглядов Тургенева и высказываний Потугина о народной поэзии см.: Азадовский М. К. «Певцы» И. С. Тургенева. — «Известия АН СССР», отдел литературы и языка, т. XIII, вып. 2, 1954.

³⁴ Там же, с. 148 и др.

Близкие к Тургеневу позиции по отношению к народному поэтическому творчеству занимал «Современник». Революционно-демократический журнал не отрывал вопрос о народной поэзии от вопроса о народном благе, цивилизации и прогрессе. «Современник» рассматривал фольклорные произведения как явления исторические, признавая их поэтическую ценность, но резко отрицательно относился к попыткам славянофилов представить эти произведения как нестареющий политический и моральный идеал: «<...> но когда исследователь скажет мне, что мне самому лично полезно и даже обязательно было бы позаимствоваться мудрости из «калик перехожих», представляющих якобы последнее слово русской национальной мудрости и поэзии, я не колеблюсь назвать их только «лохмотьями» русской народности»³⁵.

Иную позицию занимал «Русский вестник». Журнал Каткова допускал для мужика только элементарную грамотность, считал единственной литературой для народа духовные книги, которые будто бы только и нужны народу»³⁶.

В своей защите цивилизации Тургенев находился на более передовых позициях, чем Кавелин и Чичерин, во многом сближаясь с «Современником», используя некоторые материалы революционно-демократического журнала как источник отдельных мотивов и эпизодов «Дыма».

Что касается либералов западнического толка, то с их взглядами Тургенев порою солидаризировался не только внешне, но и по существу. Как доказал А. Б. Муратов, рассуждения Потугина о цивилизации, об общности исторического пути России и Европы, о необходимости просвещения были близки к положительной программе либерала Л. Блюммера, издававшего в начале 60-х годов журнал «Свободное слово», а в 1864 г. начавшего издавать в Женеве журнал «Европеец»³⁷.

В понимании Л. Блюммера принципы «европеизма» и «просвещения» были совершенно тождественны и, соединенные вместе, означали истинную «свободу»³⁸.

Однако отличие позиций Тургенева от конституционно-либеральных устремлений Блюммера и других либеральных публицистов, проповедовавших западнические идеи в 60-е годы, определяется уже тем обстоятельством, что между рассуждениями Потугина и взглядами его автора нельзя поставить знак равенства.

³⁵ Пыпин А. Н. Несколько слов о «народных началах» и о «цивилизации». — «Современник», 1865, июнь, с. 163.

³⁶ См.: Щербань Н. Ф. О народной грамотности и распространении просвещения в народе. — «Русский вестник», 1863, май, с. 831—858.

³⁷ См.: Муратов А. Б. И. С. Тургенев, Н. В. Шелгунов и Л. П. Блюммер. (Об идейном смысле образа Потугина в романе «Дым»). — «Вестник Ленинград. ун-та», № 20; серия истории, языка и литературы, вып. 4, Л., 1964, с. 72—76.

³⁸ См.: там же, с. 72.

В разговоре со Стасовым Тургенев отделял свои убеждения от речей Потугина, в котором он хотел «представить совершенного западника», отметив, что герой получился поэтому несколько шаржированным³⁹. Замечание Тургенева относилось прежде всего к суждениям Потугина о русском искусстве, но, думается, его можно понимать и в более широком плане.

3

Потугин, единственный герой романа, не имевший реально-го прототипа, — был задуман, по-видимому, как выразитель авторской положительной программы.

Сюжетно Потугин связывается с Ириной: безнадежно влюбленный в нее, выполняет ее поручения, берет на себя воспитание дочери Элизы Бельской, служит посредником между Ириной и Литвиновым. Но пафос образа определяется не этой сюжетной ролью героя (ее с успехом мог бы выполнять и другой персонаж), а, конечно, проповедью цивилизации, просвещения, критикой российской отсталости и недостатков пореформенных форм жизни.

Тургеневу было важно отметить демократизм Потугина, его глубокие внутренние связи с народной жизнью, с исконными, национальными корнями. По своему происхождению Потугин является не только разночинцем, но и выходцем из среды духовенства, что должно было подчеркнуть чисто «русскую» точку зрения Потугина, усилить убедительность западнической теории прогресса, выдвигаемой как бы самими потребностями пореформенной действительности.

Истоки речей Потугина многообразны: здесь и высказывания самого автора, и выступления Белинского, и журнальная полемика по важнейшим вопросам современности и, наконец, суждения и наблюдения многочисленных корреспондентов Тургенева, дающие писателю живые, непосредственные черты пореформенной русской действительности.

Весь этот разнообразный жизненный и литературный материал был тщательно отобран и переосмыслен автором в соответствии с идейно-художественным замыслом произведения. И все же Потугин не предстает в романе цельным художественным образом, в котором его политические убеждения и общественные взгляды оказались бы органически слиты с его биографией и жизненной судьбой. Этот отставной надворный советник, двадцать лет прослуживший в пыльном департаменте под началом своего дядюшки действительного статского советника Иринарха Потугина, а теперь проживающий в Бадене с приемной дочерью, происхождение которой связано со «страшной, темной» историей, — оказывается идеологом и

³⁹ См.: «Северный вестник», 1888, № 10, с. 148.

проповедником западнического развития России. Он произносит длинные, тщательно аргументированные речи, напоминающие журнальные статьи, касается в своих высказываниях многих важнейших, злободневных политических и общественных вопросов.

Разговоры Потугина с Литвиновым — это не диалог-спор, а длинные монологи Потугина, перемежаемые короткими репликами его собеседника, которые лишь заостряют внимание читателя на наиболее существенных моментах развиваемой мысли.

Публицистичность, известная «заданность» образа Потугина была сразу отмечена наиболее внимательными и чуткими критиками. По мнению П. В. Анненкова, важное идейное значение в романе «Дым» имеет «Потугин, играющий роль древнего хора и подобно ему ведущий речь отчасти за себя, весьма часто за автора и постоянно и неуклонно за литературную партию, олицетворением которой он и должен считаться»⁴⁰.

Позиция Тургенева нам представляется значительно шире и многограннее, чем только проповедь западной «цивилизации» в речах Потугина.

Конечно, Тургенев был с ней солидарен: он отстаивал путь западноевропейского развития для России. Но авторская точка зрения выражается не только декларативно, в западнических высказываниях одного из героев, а представляет собою единую и в то же время многообразную систему, включающую понимание современных политических вопросов, отношение писателя к общественным группировкам (баденские генералы и кружок Губарева) с их различными программами и жизненным поведением и авторское решение более глубоких, философских проблем.

А. Б. Муратов полагает, что двойственность образа Потугина, который, с одной стороны, выражает взгляды автора, а с другой — изображен «бездеятельным говоруном», объясняется известной неопределенностью и неуверенностью авторской позиции. «Хотя он (Тургенев. — *И. В.*) и считал эту силу, эту западническую программу полезной, может быть, даже вполне своевременной в 60-х годах, однако не возлагал на нее очень уж больших надежд. Он видел, что ее значение как практически действующей силы весьма ограничено, — пишет исследователь и далее замечает, — автор «Дыма» с грустью чувствовал ограниченность своей западнической программы»⁴¹.

Точка зрения А. Б. Муратова нам представляется необоснованной. Тургенев очень твердо был уверен в необходимости,

⁴⁰ Анненков П. В. Русская современная история в романе И. С. Тургенева «Дым». — «Вестник Европы», 1867, июнь, с. 103.

⁴¹ Муратов А. Б. И. С. Тургенев, Н. В. Шелгунов и Л. П. Блюммер. (Об идейном смысле образа Потугина в романе «Дым»). — «Вестник Ленинград. ун-та», № 20, вып. 4, с. 76.

полезности и исторической оправданности европейского пути развития для России, в благотворности цивилизации и образованности для народа. Ему не совсем было ясно, как и в каких формах пойдет это развитие, но он и не ставил перед собою задач дать конкретные рецепты претворения своих душевных идей в жизнь, так как писал роман, а не политическое воззвание или статью.

Известный же скептицизм Тургенева, его сомнение в полезности всех и всевозможных политических направлений и идей, которые представляются уезжающему из Бадена Литвинову (в том числе и речи Потугина!) «дымом», связано было с общим, глубоко пессимистическим взглядом Тургенева на жизнь отдельного человека и человечества в целом, так полно и ярко выраженные автором незадолго до «Дыма» в «Призраках» и «Довольно».

Сомневаясь в возможности счастья для отдельного человека и не будучи убежден в достижимости социальной гармонии и процветания всего человечества, ощущая быстротечность жизни и гибель личности как неразрешимую трагедию, Тургенев не мог быть уверен и в претворении дорогих ему идей во всей их полноте в ближайшее время. Поэтому в романе звучит мысль автора о необходимости отказа от слишком больших требований и в личной и в общественной жизни человека. Но это не приводит писателя к выводу «Довольно», где человеку оставалось одно: скрестить «на пустой груди ненужные руки». Тургенев в полном соответствии со своими представлениями предлагает тот возможный вариант жизненного поведения, который он и выразил в образе Литвинова, — «культурного» помещика, вводящего в деревне буржуазные формы хозяйствования.

**ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ КРИТИКИ**

Постигая наследие Чернышевского и других классиков, важно не только исторически достоверно понять первоосновы и содержание творческих свершений, но и уловить таящиеся в них внутренние возможности дальнейшего движения исследовательской мысли, прежде всего в области новых и злободневных проблем теории критики. По-видимому, такая установка должна быть неременным слагаемым историко-функционального подхода, плодотворность которого в литературоведении в общем вполне осознана (уже в трудах А. В. Луначарского, а в последнее время — в работах М. Б. Храпченко) и опыты которого применительно к художественным произведениям предпринимались не раз (например, в сборниках «Лермонтов и литература народов Советского Союза», Ереван, 1974; «Русская классическая литература и современность», Ставрополь, 1975). Нетрудно предвидеть закономерность: чем значительнее критик, чем выше творческий потенциал его наблюдений и размышлений, тем более перспективно историко-функциональное изучение его наследия, в частности теоретических концепций.

В ряду основных, на наш взгляд, исходных предпосылок подобного исследования необходимо раньше всего назвать следующие:

1. Исторически конкретное уяснение генезиса и изначального смысла изучаемых теоретических построений, их роли и места в общественно-литературном движении породившей их эпохи.

2. Воссоздавая идеи и концепции критика, опираться не на отдельные цитаты, не только на прямые авторские формулировки и обобщения, не на одни лишь конечные выводы и итоговые тезисы, а на все «пространство» статьи и творческого наследия в целом, на все исторически (и, разумеется, лично) доступное объективное их содержание, постепенно раскрывае-

мое с нарастающей полнотой. Данная предпосылка — условие не только объемности, но и содержательности, точности и динамичности истины, — строго говоря, вообще важнейшее условие применимости и результативности историко-функционального подхода.

3. Анализ объективно зафиксированного содержания теоретико-критических идей и концепций в свете последующего исторического опыта и в связи с ним, вплоть до запросов и опыта нашего времени, а также изучение прямого участия этих идей и концепций в судьбах русской (и не только русской) критики на различных этапах ее теории и истории. Формой такого анализа и вместе с тем организующим началом его нередко становятся научные категории, которые еще не были выработаны в пору деятельности того или иного критика (критический метод, идейно-образная концепция, творческий метод писателя, структура художественного произведения или статьи, модель и др.), но которым и тогда в практике искусства и суждений о нем объективно соответствовали определенные свойства и качества художественного и критического творчества. Это объективное соответствие и делает в принципе правомерным использование в подобных случаях позднейшего понятийного аппарата, если (важное ограничение) не отождествлять представления критиков прошлого с современным нам содержанием опорных теоретико- и критико-эстетических категорий и использовать последние только как общий ориентир¹.

В предлагаемой статье стремимся выделить в наблюдениях и рассуждениях Чернышевского некоторые и поныне актуальные проблемы теории критики, осознать современное содержание этих проблем и творческие импульсы для их решения, заключенные в работах автора «Очерков гоголевского периода русской литературы»².

Такой подход тем более естествен и необходим, что теория критики предстает в работах Чернышевского во многих — и едва ли не самых интересных — случаях в форме *истории* критики, в анализах критических *статей*, а не теоретических *проблем*³. Проблемы еще надо «опознать», а теории — «воссоз-

¹ Ср. оправданные и трезвые предупреждения Е. Н. Купряевой в статье «В. И. Ленин о диалектике и понятие историко-литературного процесса» (см.: Наследие Ленина и наука о литературе. Л., 1969, с. 164—166).

² Опираемся при этом на свою книгу «Чернышевский и проблемы критики» (Изд-во Харьков. ун-та, 1968), в которой дается историко-генетическая в основном характеристика вопросов теории и методологии критики в «Очерках» и других произведениях Чернышевского. См. также: **Тойбин И. М.** Белинский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского. В кн.: Белинский. Статьи и материалы. Изд-во Ленингр. ун-та, 1949.

³ Критическая практика Чернышевского и проблемы теории критики — тоже, разумеется, тема значительная и перспективная, но она в главном остается за рамками этой статьи.

дать», как известный скульптор-антрополог М. Герасимов воссоздавал лицо человека по его черепу.

1

Суждения Чернышевского по теории критики обладают достоинством прямой ориентированности на запросы современного ему литературного развития, пронизаны стремлением к «одействоворению» (слово Герцена) вырабатываемых обобщений и рекомендаций. Эта идейно-творческая позиция, общая формулировка которой, естественно, не раскрывает конкретной сути ее своеобразия, проявилась оригинальным образом и в усиленном интересе Чернышевского к отдельной, но, разумеется, не изолированно взятой, статье. Причем в «Очерках гоголевского периода» наблюдается выразительная закономерность: по мере приближения к современности интерес этот нарастает, а при появлении Белинского как центральной фигуры в судьбах русской критики второй половины 30—40-х гг. отдельная статья становится как бы особым звеном в подробном и целенаправленном анализе идейно-творческой эволюции «неистового Виссариона», и мысль Чернышевского движется буквально от статьи к статье, с подробным анализом и щедрой цитацией.

Такого рода установка определялась прежде всего уверенностью Чернышевского в том, что «способность каждого критика с наибольшим блеском выказывается именно в суждениях его об отдельных писателях и об отдельных произведениях литературы» (III, 106)⁴. Целостно уяснить эти высказывания, проследить логику их развития, «сцепления» компонентов, эволюцию оценок можно самым лучшим и доказательным образом, сосредоточиваясь на произведении критика как относительно замкнутом единстве, законченном слагаемом его творческого развития. Недаром Чернышевский программно обосновывает свою установку, объясняя избранный им подход к работам Шевырева как следствие общего (даже философского по своей сути!) принципа.

На доводы общетеоретического характера наслонились соображения конкретно-исторического толка, полемические и конструктивные. И спор с хулителями Гоголя, и демонстрация, осмысление творческих завоеваний Белинского, а также некоторых его предшественников, — важнейшие задачи Чернышевского, — были невозможны без предметного анализа их суждений в логико-композиционной целостности статьи.

Ныне воззрения Чернышевского, сам его подход к статье

⁴ Произведения Чернышевского цитируются по изданию: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт. М., 1939—1953; римская цифра обозначает том, арабская — страницу.

(в широком, не специфическом жанровом значении) как «единице» критического творчества приобретают более широкий, а в чем-то и новый, непредвиденный смысл, подводя к предельно актуальной сегодня проблеме своеобразие критики и как бы подсказывая один из перспективных путей ее изучения.

Главная особенность дискуссий о природе, а следовательно — и о творческих возможностях, общественной роли критики заключается, на наш взгляд, в стремлении к системности изучения этого сложного, «многомерного» явления⁵. Не следует ли, однако, сразу же вести анализ не на одном, а на нескольких соотносительных и взаимодействующих уровнях, обладающих свойством системности? И, в частности, — на уровне критической статьи, к чему побуждают и уроки литературоведения, путь которого к реальности художественного произведения оказался и долгим и трудным. Ведь было же недавно признано: «Поместив литературное произведение в фокусе своего внимания, литературная наука тем самым сделала в своем развитии очень важный, имеющий эпохальное значение шаг»⁶.

На нынешней стадии изучения теории критики было бы целесообразно сосредоточиться прежде всего на основных «измерениях», параметрах критической статьи как свойствах достаточно определенных, поддающихся конкретной характеристике и вместе с тем охватывающих целостность критического произведения.

Параметры критической статьи можно определить как устойчивые, хотя и вариативные по своей значимости, удельному весу, структурной организации и роли, существенные особенности самих компонентов и их внутренней соотносительности в пределах целостного по своей природе критического произведения. Особенности, выражающие своеобразие критики и так или иначе характеризующие (но отнюдь не однозначно, не механически!) и уровень, значительность творческих завоеваний автора — в зависимости от меры и искусства осуществления родовых возможностей критики⁷.

Рассматривая критическую статью как воплощение сложно взаимодействующих социально-исторических и литературно-

⁵ См., в частности: Суровцев Ю. О научно-публицистической природе критики. — «Звезда», 1975, № 4; Проблемы современной критики. — «Вопросы литературы», 1976, № 4 (статьи В. Ковского, Вл. Гусева, В. Камянова); Методологические проблемы современной литературной критики. М., «Мысль», 1976.

⁶ Нире Лайош. Значение литературного произведения и внетекстовая сфера. — В кн.: Современные проблемы литературоведения и языкознания. К 70-летию со дня рождения академика М. Б. Храпченко. М., 1974, с. 85—86.

⁷ Ср. Уемов А. Системы и системные параметры. — В кн.: Проблемы формального анализа систем. М., 1968, с. 15—35; Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973, с. 60.

эстетических факторов, самую эту целостность оправданно трактовать и анализировать по крайней мере в двух плоскостях, в двух системах координат (причем каждая допускает множество углов зрения и подходов к статье). Как *целостность семантическую*, что означает необходимость исследовать и движение мысли критика, ее внутреннюю логику, взаимосвязи и взаимопереходы, завоевания и на промежуточных рубежах, и в конечном итоге. Вместе с тем критическую статью необходимо рассматривать как *целостность структурную*, то есть как систему взаимодействующих и создающих качественно новое единство многообразных элементов (без этого семантическая целостность статьи тоже не будет постигнута)⁸.

Изучение параметров статьи означает и попытку «прочсть» ее структуру, увидеть взаимовлияние, динамику различных «измерений», различие, иерархию и единство их функций (одно дело — метод, другое, скажем, — жанр по степени и значительности их влияния на характер и направленность критической статьи). А это — одна из важных предпосылок историзма, последовательной диалектичности в суждениях и об отдельной статье, и об общих проблемах истории и теории критики.

Поучительно, что основоположником такого подхода в России был не кто иной, как Чернышевский: таким образом конкретизировался его интерес к отдельной статье. И как раз для решения коренных вопросов развития русской критики в переломный для нее момент. Знаменательно и то, что различие некоторых компонентов структуры критического произведения возникает в «Очерках» Чернышевского при исследовании идейно-творческой эволюции Белинского и захватывает соотношение в его статьях начал публицистического и собственно литературного. Напомним: начала эти рассматриваются не просто как композиционные слагаемые статьи, а в их внутренней природе и взаимодействии, от которого зависит, в частности, качественная определенность и значительность публицистического начала (к этой теме мы еще вернемся).

Параметры критической статьи как сложного многосоставного целого диалектически взаимосвязаны и взаимозависимы. Но поскольку связи и зависимости бывают более или менее тесными, прямыми и опосредованными, образуются группы параметров, объединяющие в относительно обособленный комплекс те из них, которые наиболее близки друг к другу в прямом активном взаимодействии. В результате система параметров критической статьи делится на ряд подсистем, между которыми также осуществляются связи и зависимости. Сложная система связей и взаимодействий как между подсистема-

⁸ О соотношении понятий структура, система, целостность, см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 229.

ми, так и внутри них, не означает, естественно, однопорядковости параметров, равной меры их значимости, влиятельности, активности. Здесь также существует своя иерархия, несомненное (хотя и не всегда одинаковое) различие уровней.

Намечая в специальной работе основные параметры критической статьи, характеризуя сущность каждого и взаимодействия между ними, опираемся и на высказывания Чернышевского, прежде всего, о программности критики по отношению к литературному процессу, о теории критики как «предвидения» ее практики, о роли читающей публики в судьбах художественного и критического творчества, о «концепции произведения» (II, 794—795): автор «Очерков» не только подводит к параметрам критической статьи, но и многое дает для их постижения. Здесь же, ограничиваясь постановкой исследовательской задачи, подчеркнем: параметры критической статьи в своем большинстве обращены одновременно и к самой статье, в которой они материализуются, и к внетекстовым сферам, соединяя критику с важнейшими областями общественной жизни, идеологии, политики, культуры: так заявляет о себе открытость критики заботам и тревогам мира.

2

При всей подвижности, историчности связей критики и эстетики⁹ соотношения между ними формируются и проявляются на различных уровнях (что совсем не исключает одновременности этих соотношений на определенном — достаточно высоком — этапе развития критической мысли), из которых главными справедливо считать уровень идейно-эстетических критериев и уровень критического метода.

Общественно-литературные обстоятельства эпохи Чернышевского обострили его заинтересованность как проблемой критериев, так и проблемой метода. Причем и в их «раздельности», и в их взаимосвязи. Это создавало благоприятные условия для важных теоретических выводов.

Борьба за подъем литературы и критики начиналась для Чернышевского с утверждения системы критериев, обращенных к обоим сферам творчества, и последовательного осуществления их на практике. Обращаясь к прошлому русской критики, Чернышевский прослеживает «характер эстетических убеждений» (III, 25) различных ее представителей, воплощаемый в литературно-эстетических критериях, в них усматривает объяснение конкретных суждений и оценок, то есть внутреннюю логичность и закономерность даже на первый взгляд случайных или нелепых высказываний (например, Н. Полевого или С. Шевырева о Гоголе). Без этого, по Черны-

⁹ См. об этом: Гром'як Р. Т. Эстетика і критика. Київ. 1975, с. 185.

шевскому, вообще невозможно постичь идейно-эстетическую позицию критика.

При всей важности данного вывода, мы недалеко продвинемся вперед, если не увидим примечательных различий в трактовке самого характера критериев в работах Чернышевского различного типа и конкретной направленности. В аналитических статьях и раннем программном выступлении «Об искренности в критике» (1853—1854) Чернышевский приспособляет свои требования к состоянию и ближайшим возможностям современной литературы и потому формулирует критерии сугубо практически, в известном смысле даже элементарно. «Прежде, — напоминает критик, — постоянно требовалось от поэтических произведений «содержание»; наши нынешние требования, к сожалению, должны быть гораздо умереннее, и потому мы готовы удовлетвориться даже и «мыслью», т. е. самым стремлением к содержанию, веянием в книге того субъективного начала, из которого возникает содержание» (II, 260)¹⁰.

«Пропуск» привычного критерия (нечто вроде «минус-приема», по терминологии структуральной поэтики) осознан и даже декларирован Чернышевским, хотя его эстетический трактат, в котором обосновывалась система философских параметров искусства, был уже завершен, и он заменен в данном конкретном случае критерием частно-прикладным. Для этого потребовалось общеэстетический критерий «расщепить», актуализировать одну из граней его, касающуюся предпосылок содержания, а тем самым стать в создавшихся условиях ближе к реальности современного литературного процесса и собственно творческого процесса писателя в сложившихся обстоятельствах.

Иного типа критерии характерны для «Эстетических отношений искусства к действительности» как трактата программно-философского и именно в таком плане решавшего фундаментальные, «стратегические» задачи развития искусства и критико-эстетической мысли. Аналитически исследуя природу искусства, его предмет, содержательное и формальное начала, цели и назначение, Чернышевский в сущности определяет и основополагающие идейно-художественные критерии, но на этот раз в общеэстетической форме (что, конечно, совсем не исключало их обращенности к актуальным проблемам современной русской литературы).

В рассуждениях и практике Чернышевского, и прежде всего в статье о Щедрина и «Очерках гоголевского периода», заявляет о себе и третий, условно говоря, промежуточный между

¹⁰ См.: Бурсов Б. Мастерство Чернышевского-критика. Л., 1956, — книгу, вообще много дающую и для понимания идей Чернышевского — теоретика критики и в этом плане еще вполне не оцененную.

двумя обозначенными выше, тип критериев. Он как бы материализует тенденцию взаимопереходов от одного «предельного» случая к противоположному, от философской интегрированности критерия к его конкретизации применительно к своеобразию предмета анализа, и наоборот. Проиллюстрируем это применительно к одному из центральных литературно-эстетических критериев. Всем смыслом своего трактата и множеством «прямых» формулировок Чернышевский ратует за последовательную правдивость искусства, за верность его правде существенного в жизненных отношениях. Украшательство угождает прихотям человека, правдивость — его потребностям, ибо «первейшая из этих потребностей — истина» (II, 74). При верности самому принципу правдивости, иной оказывается структура мысли Чернышевского, когда он анализирует понимание правдивости Белинским — критиком Лермонтова. Чернышевского не вполне удовлетворяет известная суммарность наблюдений Белинского, ограничившегося в характеристике правдивости образа Печорина тем, что он «порожден отношениями, в которых совершается развитие его характера, что он дитя нашего общества» (II, 240). Такая трактовка правдивости представляется автору «Очерков» только общен исторической, а значит — отвлеченной, между тем как он призывает к конкретно-историческому истолкованию этого критерия. Иначе говоря, Чернышевский и философско-эстетически обосновывает литературные критерии, и добивается такой их практической модификации, которая каждый раз отвечала бы своеобразию конкретных задач критика.

Исследовательский опыт Чернышевского привлекает внимание к структуре и реальному бытию критериев в деятельности критика как существенным граням теории критики. Обобщения и практика Чернышевского противостоят упрощенным представлениям, будто критика механически заимствует свои критерии из эстетической науки и «прилагает» их к художественному произведению¹¹.

Если эстетические критерии выражают всеобщие требования как эстетические отношения и закономерности, то критик сосредоточивается на отдельной вещи (даже когда судит о множестве явлений) и должен поэтому найти творческий переход от всеобщего к особенному. Здесь заявляют о себе уже категории теории литературы, которые по-своему раскрывают специфические составляющие общеэстетических критериев. Поскольку же критик воплощает критерии большей частью не столько теоретизируя, сколько анализируя, их конкретное содержание, их реальный смысл выражены во всем тексте статьи

¹¹ См., в частности: Кислов Б. А. Художественная критика как «движущаяся эстетика». — «Труды Иркутского института народного хозяйства», вып. I (VIII). 1966, с. 302.

и из него (а не из одних только «формул») должны «извлекаться» историком и теоретиком критической мысли. Конечной предпосылкой новой каждый раз конкретности критериев является общественно-литературная практика, преломленная творческой индивидуальностью критика и определившая социальную необходимость и возможность постичь, оценить произведение, больше того — определившая самую меру требований к нему.

Другая, более высокая форма взаимодействия эстетики и критики — на уровне эстетических убеждений (или, как говорится в «Очерках», эстетических принципов) и критического метода — также вызвала напряженный интерес Чернышевского. Он обуславливался двумя главными причинами и сообразно с этим вылился в две основные проблемы. Столь актуальная в начале деятельности Чернышевского задача, как оснащение современной критики надежной теоретической концепцией, определила необходимость показать на широком материале предшественников прямую зависимость «характера и содержания критики» не только от исторической ситуации в целом, но и ближайшим образом — от «научных понятий, служащих ей основанием, и отечественной литературы» (III, 182, 183). Эстетическая теория как предпосылка и фундамент критической практики — таков здесь угол зрения, такова основная идея, значение которой — не в отвлеченно понятой оригинальности, а в хорошо осознанной своевременности.

С другой стороны, тот же опыт предшественников, в первую очередь Надеждина, Белинского, и забота о последовательном и плодотворном осуществлении «эстетических принципов» в деятельности критика, в конкретных «разборах и размышлениях» помогли Чернышевскому усмотреть тонкие и сложные опосредования между эстетическими воззрениями и критической практикой.

Как ни велика роль литературно-эстетических концепций в деятельности критика, они для Чернышевского только теоретическая возможность, которую еще надо реализовать и которая может быть реализована по-разному. Не только с одинаковой мерой таланта и успеха, но и на разных творческих путях, с помощью различных принципов анализа художественного произведения, его многообразных литературных и жизненных отношений. Так заявляет о себе в работах Чернышевского проблема метода критики.

Нам сейчас важнее всего то обстоятельство, что, сопрягая эстетику с критикой, собственно с критическим методом, Чернышевский их и разграничивает как явления специфические. Так именно строится в «Очерках» характеристика Надеждина, развернутая в двух планах. Сперва говорится о нем как о пропагандисте передовых эстетических идей, впервые объяснившим, что такое поэзия, художественное произведение, какова

роль идеи, в чем заключается красота формы и пр. (III, 163—164). А затем творческие завоевания Надеждина рассматриваются в ином аспекте — от содержания его воззрений Чернышевский переходит к способу их осуществления в критической практике. «Он первый начал строго и верно рассматривать, понятна ли и прочувствована ли идея, выраженная в произведении, есть ли в нем художественное единство, выдержаны ли и верны ли человеческой природе, условиям времени и народности характеры действующих лиц, истекают ли подробности произведения из его идеи, естественно ли, по закону поэтической необходимости, развивается весь ход событий, воплощающих идею автора, из данных характеров и положений...» (III, 164). Надеждин первый осуществил исследования жизненного содержания художественного произведения «строго и верно», причем наметил и свой особый принцип соотношения литературы и жизни. С точки зрения литературы суть заключалась в том, что «единицей соотношения» был сделан характер действующего лица, т. е. в значительной мере уловлена специфика искусства слова как художественного исследования человека. С точки зрения жизни главное состояло в том, что, наряду с «человеческой природой», как таковой, в анализ вовлекались и становились критерием «условия времени и народности»: уяснение меры соответствия им характеров признано неотъемлемой задачей критики.

Развивая в последующих главах «Очерков» эту линию своих наблюдений, Чернышевский опирается также на идеи Белинского о взаимосвязи эстетической теории и критической практики и вместе с тем о различиях и опосредствованиях между ними. Больше того: Чернышевский содействовал упрочению и конкретизации выводов Белинского и по данной проблеме.

Сегодня позиция Чернышевского тоже не утратила актуальности. И в частности потому, что в работах многих современных авторов соотношение эстетики и критики, мысли Белинского на этот счет толкуются неглубоко, односторонне, в явном расхождении с творческой практикой. Опираясь крылатой формулой Белинского — «критика — это движущаяся эстетика», без серьезных оснований приписывая ей «статус» научного определения сущности критики, умозаключают, будто критика — это эстетика, приведенная в движение, своего рода прикладная, практическая эстетика, а метод критики — это метод эстетики. Между тем уже сам Белинский превосходно показал, что эстетическая теория определяет не только критерии оценки произведения, не прямолинейно-механистическое «приложение» этих критериев, — она воздействует на подход к произведению, на принципы его исследования и соотношения с действительностью. Когда же формула Белинского берется сама по себе и ради того, чтобы чрезмерно, едва ли не до отождествления «сблизить» критику и эстетику, «утрачивается»

или, во всяком случае, решительно недооценивается критический метод (ибо, разумеется, в широком контексте работ Белинского в данной связи речь идет о нем)¹².

Нет надобности доказывать, что пренебрежение методом противоречит его истинной роли в критической практике, задачам ее совершенствования. Наблюдения и обобщения Чернышевского обращают нас к проблеме критического метода и могут немало дать для конструктивных размышлений над ней.

3

Перед самым Чернышевским проблема метода возникла исторически и логически закономерно как важнейший способ воздействия на критику, а через нее и на литературу. Разработав и общие идейно-художественные и практически злободневные критерии, философско-эстетически обосновав позиции и устремления передовой критики, автор «Очерков» в творческом опыте предшественников, и прежде всего опять-таки Белинского, целеустремленно выделяет методологический аспект, выступает с прогнозами, ненавязчивыми, убедительно обоснованными рекомендациями. Категории, так или иначе связанные с методом (целостность художественного произведения, подход к оценке характера, сюжета, принципы соотношения их с жизнью, аналитически выраженная трактовка проблемы искусства и действительности), становятся предметом усиленного внимания. При этом Чернышевский строго разграничивает теоретические декларации, пусть новаторские и таящие в себе серьезные творческие возможности, от воплощенных убеждений Белинского, от реальности его статей. Метод в этом смысле предстает как реализованная в конкретном анализе сущность воззрений критика, как идеи, ставшие принципами разбора и оценки художественного произведения, принципами включения действительности в исследование литературы и собственно в критическую статью. Именно в таком ракурсе выдержаны наблюдения и суждения Чернышевского.

В наше время, наряду с упорочением и последовательным отстаиванием марксистско-ленинских идейно-эстетических позиций, проблема критического метода выдвигается в ряд наиболее актуальных — и как важнейшая предпосылка общественно-литературной *действенности критики*, и как ближайшее условие проявления и развития *таланта критика*.

Знаменательно, что если теоретическая разработка вопросов метода критики не может нас удовлетворить, то в самой критической практике, и в частности в дискуссиях последних

¹² Подробнее — в нашей статье «Про співвідношення естетичної теорії і критичного методу». — «Радянське літературознавство», 1973, № 3.

лет, проблема метода фактически, явочным порядком активно заявляет о себе.

Когда мы говорим о необходимости для критики соотносить явления литературы с жизнью, правильно интерпретировать результаты творческого труда писателя — на основе четких идейных и эстетических критериев, поднимаясь над эмпиричностью отдельных фактов, — то разве эти задачи (как, впрочем, и многие другие) незамедлительно не влекут за собою вопроса: каков же тут путь к истине, конкретные исследовательские принципы, проясняющие способ решения каждой из коренных задач критики?

И разве не этот же вопрос сам собою возникает, когда в качестве кардинального программного требования выдвигается глубина социального анализа, проникновенность эстетических характеристик, нераздельное единство социологического и эстетического начал в критике? Правда, в этих случаях говорят — и совершенно справедливо — об активном приобщении критики к завоеваниям современной науки, социологической в особенности. Но ведь это условие хотя и обязательное, но недостаточное. Ибо даже самые фундаментальные и новейшие знания критику еще предстоит творчески претворить в концепции статьи как ее органическую часть, естественным образом сопрягающуюся с эстетическим анализом, пронизывающим его и — по усмотрению автора — приобретающую и относительно самостоятельный характер философско-социологического размышления о современности в ее движении в будущее. А это опять-таки проблема методологическая.

Когда обоснованно возражают против произвольного толкования художественного произведения то ли в угоду предвзятой концепции критика, то ли в результате неспособности охватить внутреннюю целостность вещи в доказательном аналитическом разборе, то и в таких, притом крайне важных для литературного процесса, случаях речь идет в конечном счете о самом методе критики, о надежности не только общеэстетических критериев, но и исследовательских подходов к произведению.

Проблема метода заявляет о себе и в другом плане — как *фактическая реальность* критических «разборов и размышлений», как их творческая первооснова. Об этом крайне редко пишут, но это неизменно и властно дает себя знать в характере, мере убедительности и результативности критики. И те критические работы, которые мы относим к лучшим произведениям, выделяются не просто уровнем мастерства, не самой по себе изощренной методикой анализа, а прежде всего методом исследования, в котором претворяется их активная идейно-эстетическая позиция.

Пусть не поспело еще время для безукоризненно точной дефиниции метода, но рабочее определение его, думается, воз-

можно и может быть небезразличным для практики. Не в том, конечно, смысле, что оно способно стать «наставлением» (и вообще метод критики — отнюдь не предпосылка рассудочности, умозрительных конструкций, и уже хотя бы потому, что у настоящего критика, критика по призванию, и метод внутренне органичен для его идейно-эстетической позиции, для всей его творческой индивидуальности), а в том, что в состоянии показать, какой широкий круг жизненно важных проблем вбирает в себя категория критического метода, каков его творческий «заряд» и истинная роль — наряду с эстетической теорией и в диалектическом «содружестве» с нею — в деятельности критика.

Подход к художественному произведению, определяющий общую направленность его разбора; принципы и критерии анализа, истолкования и оценки произведения и их более широких единств; принципы соотнесения произведения с действительностью (или в предельном случае отсутствие такового как исследовательской установки); принципы и пути определения задач и перспектив литературного развития — вот что главным образом характеризует метод критики. В своем практическом осуществлении он неотделим от мастерства критика, в мастерстве реализуется и обретает конкретность, творчески преломляя и осуществляя идейно-эстетические устремления критика.

Критический метод выступает не только как некий результат, итог познания художественного творчества, но и как средство изменения литературы — разумеется, в меру своей объективности. В самом деле, метод не ограничивается простой выработкой критериев или даже их практическим применением к искусству. В результате того и другого с помощью метода провозглашается и утверждается определенная программа. И достигается это не только тем, что метод оценивает художественные явления, но и благодаря характеру требований и критериев, воплощенных в нем и реализуемых на его основе. Метод является активной, идейно-эстетически действенной, а в известном смысле и программной категорией.

При всем том нельзя однозначно сопрягать истинность или ложность метода — соответственно — с истинностью или ложностью результатов его применения, частных выводов, полученных на его основе в исследовании конкретного материала. Связь между методом и практикой его применения более сложна, подвижна, многообразна. Критикуя Дюринга и противопоставляя его новейшим писаниям прежние работы, Энгельс замечает: «Если он уже и тогда сделал промах, отождествив диалектику Маркса с диалектикой Гегеля, то все же он в то время не совсем еще потерял способность делать различие между методом и результатами, добытыми посредством этого метода, — он понимал тогда, что, нападая на метод в его об-

щей форме, этим еще не опровергают результатов в их частностях»¹³.

Речь идет, разумеется, не о том, чтобы противопоставлять «результаты» методу, а об учете диалектического характера их взаимосвязи. В особенности важно, что метод направлен на познание объективных фактов и явлений, которые именно в силу своей объективности способны в какой-то мере преодолеть препоны даже ложного в своей основе метода и вносить элементы истины в конечные частные результаты. Нельзя забывать и о таланте, эстетической чуткости критика, — ведь они открывают ему порою ценные частности в произведении даже вопреки его исходным установкам. Многие суждения Анненкова или Григорьева говорят в этом отношении сами за себя. Напомним и мнение Чернышевского на этот счет. Приступая к оценке работ Шевырева, он сразу же разграничивает «принципы критики» и конкретные суждения. И поясняет: «Пусть они (т. е. принципы критики. — М. З.) будут справедливы, — тем лучше, пусть они будут неудовлетворительны, — это не помешает нам отдать полную честь верности его суждений об отдельных фактах, тонкости и проницательности его вкуса» (III, 192). Вместе с тем, принципиальная истинность критического метода — это, конечно, не гарантия, а только возможность истинности конкретных результатов его практического применения.

4

В ряду методологических вопросов критики одним из центральных для Чернышевского было соотношение публицистического и эстетического начал. Обусловленная в своей актуальности и остроте своеобразием задач революционно-демократической критики и природой критики вообще, проблема эта организует широкий поток чрезвычайно важных наблюдений при анализе в «Очерках» творческого пути и вершинных завоеваний Белинского. В сущности, принципы включения действительности в исследование литературы и собственно в критическую статью выступают в трактовке Чернышевского как основополагающие для метода критика.

Преодоление «фантастичности и отвлеченности», пересоздание «всех своих понятий на основании действительности», а в связи с этим и преодоление «чисто художественной» точки зрения на литературу, прямое обращение к русской жизни (а не вообще действительности), которая становится и критерием оценки произведения и предметом сосредоточенных раздумий Белинского. Так можно в общих чертах определить, по Чернышевскому, направление и характер творческого развития Белинского в 40-е годы.

Но у Чернышевского в данном случае существует и другой

¹³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 126.

критерий, вне которого само сближение критика с действительностью лишается определенности своих специфических свойств и качеств. Имеется в виду *структура* мышления (и соответственно — статьи) критика, проявляющаяся характерным образом как раз в соотношении эстетического и публицистического начал. В наследии Белинского Чернышевский последовательно и скрупулезно разграничивает в этом плане типологически несходные варианты.

Когда проблемы жизни возникают в статье Белинского вне зависимости от своеобразия данной вещи как творения искусства с присущим ей реальным содержанием, то это еще не искомым путь для литературной критики как таковой, не способ полноценного решения сложных специфических задач. Или, иначе говоря, даже в наиболее обращенных к жизни работах Белинского начала 40-х годов еще не оформился тот критический метод, который Чернышевский мог бы признать выражением подлинного своеобразия критики как жанра и Белинского как творческой индивидуальности.

В статьях же пушкинского цикла прямое и все нарастающее по масштабам и интенсивности обращение Белинского к предметам жизни носило иной характер и, при всей самостоятельности связанных с ним рассуждений и выводов, органически вписывалось в критическую статью, в границы самого жанра критики. Одно дело, когда еще не достигнуто умение в литературе и через литературу видеть жизнь в ее реальности, судить о произведении в меру его жизненного содержания и поэтому литературный разбор и публицистические суждения всего лишь сосуществуют в рамках критической статьи. И совсем другое дело, когда на простор общественной действительности, в область публицистики выходят из области литературы, опираясь на целеустремленный анализ художественного произведения, когда самые источники публицистичности коренятся одновременно и в искусстве, и в жизни — в жизненном восприятии искусства и в человековедческом пафосе публицистики.

В оценках и выводах Чернышевского отражено различие двух этапов творческого развития Белинского, — таков их объективный смысл. Одновременно, однако, это и различие двух возможных подходов критика к проблемам жизни. Отдавая предпочтение одному из них, показывая неспецифичность или, во всяком случае, недостаточность другого, Чернышевский утверждает идею своеобразного монизма в критике, творческого единства в ней публицистического и эстетического начал¹⁴. Поскольку он это делает на основе определенной теоретической концепции, значение его рекомендаций и самой стоящей за ними — хотя аналитически и не заявленной — теории

¹⁴ Подробнее об этой проблеме мы говорим в книге «Уроки критической классики. Вопросы теории и методологии критики». Харьков, 1976.

выходит за границы эпохи Чернышевского и должно быть осмыслено и оценено в их общеметодологическом содержании. Тем более, что речь идет о проблеме жгучей злободневности и для современной нам критики.

В Постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (1972 г.) выдвинута программная задача: «Развивая традиции марксистско-ленинской эстетики, советская литературно-художественная критика должна сочетать точность идейных оценок, глубину социального анализа с эстетической взыскательностью, бережным отношением к таланту, к плодотворным творческим поискам». За последние годы наша критика все настойчивее и изощреннее, в различных направлениях и жанрово-стилевых формах ведет поиск путей и способов осуществления этих своих задач. Один из деятельных и авторитетных участников этого напряженного процесса свидетельствует, обобщая опыт «критического цеха»: «Мне всегда казалось, что настоящих класс мастеров современного критика, помнящего о традициях своих предшественников, проявляются тогда, когда в ходе анализа, осуществляемого с безупречной исследовательской точностью, он выходит за рамки чисто литературные, профессиональные (хотя важны, разумеется, и они) и делает выводы и заключения широкого «жизненного» плана — морального или педагогического, философского или социологического, общеэстетического или какого-то другого»¹⁵.

Красноречивое признание! Но за его пределами (что в данном случае естественно) остается едва ли не важнейшая грань проблемы: каким образом, с помощью каких исследовательских установок и приемов можно осуществить эту программу, какие принципы взаимодействия и структурные взаимосвязи литературного, «профессионального» и публицистического начал являются здесь наиболее органическими по своему характеру, оптимальными по эффективности?

Неверно было бы утверждать, будто над этими вопросами не задумывалась наша теоретическая мысль (к названным выше работам следует присоединить и статьи В. Ковского, Вл. Гусева в «Вопросах литературы», 1976, № 4), что их — тем более — не пытаются так или иначе решить практически талантливые представители нашей критики. И то и другое делается, но далеко не всегда выходит при этом на уровень творческих завоеваний критической классики. Поэтому и здесь актуален девиз, аналогичный тем, что не раз уже звучали в истории советской культуры, — «Вперед к Чернышевскому!».

Разумеется, речь идет не о догматическом повторении выводов Чернышевского, не об их канонизации, а о всестороннем исследовании диалектики эстетического и публицистического

¹⁵ Новиченко Л. Социальное, нравственное, художественное. — «Новый мир», 1976, № 6, с. 241.

В самой природе и творческих возможностях литературной критики как о серьезной и перспективной научно-творческой задаче. От Чернышевского наследуется прежде всего идея внутренне закономерной сопряженности и целостности единых в своем диалектическом противоборстве публицистического и эстетического начал. Что же касается реального многообразия их форм и соотношений, то здесь заявляет о себе и разноликий опыт современной критики, который должен быть осмыслен и обобщен. Разве нет у нас содержательных работ, притом именно критического, а не теоретического по своей доминанте плана, в которых средствами публицистическими осуществляется эстетическое обоснование социалистического реализма (вспомним хотя бы книгу Н. Шамоты «Гуманізм і соціалістичний реалізм», опубликованную и в виде серии статей)? Разве не предпринимаются попытки прямого соотнесения проблем, скажем, деревенской прозы с реальными процессами современной действительности, как они, эти процессы, осознаются экономистами, социологами, самими практиками сельского хозяйства (статья Е. Стариковой в «Вопросах литературы», 1972, № 7)? Разве не умножился интерес критики к нравственному смыслу идейно-эстетических свершений писателей, исканий и судеб героев, и критика не находит новые способы постижения и обсуждения этического потенциала искусства (например, в многочисленных публикациях Ф. Кузнецова)? И разве такая уж редкость критико-публицистические статьи как бы переходного, «промежуточного» типа, в которых автор идет от публицистики к литературе, от героев и конфликтов в жизни — к героям и конфликтам в искусстве, порою даже прогнозируя последние (см., напр., Баранов В. Новые дали творчества. — «Вопросы литературы», 1976, № 6)?

Почва для теории подготовлена и традициями классиков, и исканиями современников. Приходит пора теоретиков критики.

* * *

«Правда всегда правда, но не всякая правда везде и всегда равно важна и равно способна возбудить внимание: у каждого века, у каждого народа есть свои потребности...» (III, 225). *Своевременность истины* — одно из главных, неотъемлемых и неувядающих достоинств классики. Проясняя эту своевременность (пусть и в общей форме, как в данной статье, и то применительно лишь к Чернышевскому-теоретику, без специального обращения к его проникновенным конкретным разборам) и обращая идеи великого критика на пользу нашему нынешнему созидательному делу, убедительнее всяких слов тем самым подтверждаем жизненность и неисчерпанность творческого потенциала наследия Чернышевского.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ О «ВЕЛИКОМ ПРЕДШЕСТВЕННИКЕ»

Вряд ли кому-нибудь из русских классиков Луначарский уделял такое большое внимание, как Чернышевскому. И в этом отношении он следовал побудительному примеру В. И. Ленина. Пятьдесят лет тому назад на торжественном заседании, посвященном 100-летию со дня рождения Чернышевского, Н. К. Крупская говорила: «...все то, что сказано о Чернышевском Владимиром Ильичем, дышит особым уважением к его памяти... он любил весь облик Чернышевского».

Все это можно и справедливо отнести и к Луначарскому, он любил весь облик Чернышевского, относился к нему, его личности и деятельности с особым уважением.

Для Луначарского Чернышевский был не только наиболее близким по духу и по времени в плеяде революционных демократов, для него он был современником, активным участником борьбы за новую нравственность, новую литературу и искусство, за действенное их использование в созидании общества, о котором мечтал великий провидец. Обращаясь к различным сторонам наследия Чернышевского, Луначарский, так сказать, «повертывал» его к современникам, подчеркивая в нем те положения, которые не только сыграли выдающуюся роль в свое время, но не потеряли своего значения для советского общества 20-х годов и, как теперь можно, безусловно, признать, и для нас, людей, проживших почти сто лет после Чернышевского. В этом проявилась сила мысли Чернышевского, сила исторических предвидений, сила тех передовых идей русской революционной демократии, наилучшим выражением которых и был Чернышевский.

Перу Луначарского принадлежала книга статей о Чернышевском, шестнадцать специально посвященных ему работ и около сорока различных отзывов о нем.

Главные работы Луначарского о Чернышевском относятся

к 1928 году и последующим трем-четырем годам. Поводом к многочисленным обращениям Луначарского к Чернышевскому явилось столетие со дня рождения — 24 июля 1928 г.

Это событие совпало с другим юбилеем — столетием Л. Н. Толстого. В Большом театре Союза ССР в сентябре 1928 г. Луначарский выступил с докладом, посвященным Льву Толстому, а в ноябре того же года с докладом о Н. Г. Чернышевском. Такая хронологическая близость двух юбилеев естественно привела к сочетанию двух имен великих деятелей прошлого. Но не только хронология привела к тому, что, высказываясь о Толстом, Луначарский, как правило, не обходил Чернышевского, а в суждениях о нем чаще всего упоминается Л. Толстой. Это было два направления русской мысли, идеологические полюсы, две вершины разной формы и окраски. Без их взаимодействия невозможно представить себе облик 60-х годов и их деятелей. В суждениях Луначарского Толстой и Чернышевский оказались рядом в сопоставлении и противопоставлении.

Но к этим двум именам мы должны добавить еще и третье имя великого деятеля русской общественной мысли и освободительного движения, имя Георгия Валентиновича Плеханова, неизменно встречающееся в работах Луначарского о Чернышевском и довольно часто в его суждениях о Л. Н. Толстом.

Так и случилось, что и теперь, через полвека после этих знаменательных юбилеев, в преддверии 150-летия со дня рождения Н. Г. Чернышевского и Л. Н. Толстого в нашем сознании присутствуют четыре великих имени наших славных предшественников: Л. Толстого, Н. Чернышевского, Г. Плеханова, А. Луначарского. Люди разных эпох, разных проявлений творчества, ума и таланта, своей деятельностью по-разному приготавливающие будущее и вошедшие в наше сегодня — современники социалистического общества.

Простое перечисление названий статей Луначарского о Чернышевском уже дает представление об особенностях подхода к нему, оценке его деятельности, обращенности к ее многогранным проявлениям: «Великий мертвец или живой соратник?», «Великий предшественник Октября», «Учитель — революционер — борец», «Чернышевский как революционер и мыслитель», «Чернышевский-философ», «Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности», «Литературно-критическая деятельность Чернышевского», «Романы Чернышевского», «Чернышевский как писатель», «Чернышевский и Толстой», «Плеханов и Чернышевский».

Как видим, Луначарского в Чернышевском привлекали философия и эстетика, революционно-демократические взгляды и деятельность, этика и литературная критика, особенности художественного творчества, сущность романистики, роль в истории русской и мировой литературы, литературные связи и

взаимоотношения, сама личность и жизненный подвиг, значение Чернышевского для своего времени и для современности.

Это свидетельствует о «многослойности» интересов Луначарского применительно к тому, кого он именовал «русским Лессингом»¹, считал «идеологом крестьянской революции» (I, 426) и воспринимал как «великого предшественника нашего научного социализма» (I, 152).

Трудно с достаточной доказательностью определить, когда вошло имя Чернышевского в сознание Луначарского. В своей автобиографии он вспоминает, как «совсем еще крошечным мальчиком я сиживал, свернувшись клубком, в кресле до относительно позднего часа ночи, слушая как Александр Иванович (А. И. Антонов — отец А. В. Луначарского. — П. Б.) читал моей матери «Отечественные записки» и «Русскую мысль». Мальчик я был способный и уже тогда комментарии, которыми он сопровождал чтение сатир Щедрина или какого-нибудь подходящего материала, западали мне в душу»². В «Отечественных записках» того времени попадались материалы, связанные с судьбой Чернышевского, с его переводом в Астраханскую ссылку. Это имя и связанные с ним события мог уже тогда слышать мальчик.

Почти вся русская печать отозвалась на смерть Чернышевского. Анатолий Луначарский в это время учился в Первой Киевской гимназии, ему было уже 14 лет, а сам он, в уже цитированной автобиографии отмечал свое «усердное чтение классиков русской беллетристики» и «серьезнейшие занятия... «Капиталом» Маркса»³.

В пятом классе «шли деятельные кружковые занятия, где рядом с Писаревым, Добролюбовым»⁴, несомненно, шел разговор и о Чернышевском.

Во время пребывания Луначарского в Швейцарии в 1895—1896 гг. в беседах с Г. В. Плехановым и П. Б. Аксельродом, безусловно, возникало и имя Чернышевского, его идеи и деятельность.

В курсе истории русской литературы, который читал Луначарский в Болонской школе в 1911 году, он касался и деятельности Чернышевского.

Уже в первой большой работе «Что такое друзья народа...» (1894 г.) В. И. Ленин дал развернутую характеристику «гениальных провидений Чернышевского»⁵, цитировал те места из романа «Пролог к прологу», которые показали «глубокое и

¹ Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми тт., т. I, М., 1963. Далее ссылки в тексте на это издание с указанием тома и страницы.

² Луначарский А. В. Великий переворот. Изд. Гржебина. Пг., 1919, с. 9.

³ Там же, с. 10.

⁴ Там же, с. 12.

⁵ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. I, с. 292.

превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности»⁶.

Эту характеристику Чернышевского, бесспорно, знал молодой Луначарский, но к ее приятию он пришел значительно позднее.

Воззвание и имя Чернышевского возникли и в связи с борьбой В. И. Ленина против «махизма и богостроительства», в числе активных деятелей которого был и А. В. Луначарский.

В 1909 году вышла в свет книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». В добавлении к § 1-му IV главы Ленин противопоставил многие суждения великого русского писателя Н. Г. Чернышевского, суждениям «все перепутавших российских махистов»⁷ и сделал обобщающий вывод, определяющий отношение Чернышевского к марксизму. «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантовцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса»⁸.

Тогда такая формулировка, конечно, не могла быть принята Луначарским, понадобилось 8—9 лет для такой оценки им Чернышевского.

В неопубликованном в свое время (1930 г.) фрагменте статьи о В. В. Воровском Луначарский писал о «глубоком и в главном исчерпывающем суждении» Ленина о Чернышевском⁹. Подробную характеристику ленинского отношения к Чернышевскому он дал в своей важнейшей работе «Ленин и литературоведение».

«Особенно значительны были симпатии Ленина к Чернышевскому <...> ...в симпатиях Ленина к Чернышевскому была своего рода преемственность двух гениальных революционеров... Ленин высоко ценил Чернышевского как одного из самых замечательных предшественников марксизма...

В лице Чернышевского Ленин чтит одного из упорнейших и славнейших борцов за интересы обманутого крестьянства...» (8, 437).

Этими ленинскими положениями и руководствовался Луначарский в двадцатые годы и начале тридцатых годов в своих суждениях о Чернышевском. К великой правде, прозорливости и перспективности этих проявлений ленинского гения он должен был прийти годами поисков и отказа от оценок, снижающих роль Чернышевского.

⁶ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. I, с. 290.

⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 385.

⁸ Там же, с. 384.

⁹ «Лит. наследство», т. 82, М., 1937, с. 101.

Итак, Луначарский обратился к внимательному и многостороннему изучению Чернышевского на основе ленинских оценок, ленинского отношения к его наследию.

«Я бережно ношу в себе слова Надежды Константиновны Крупской, сказанные ею мне недавно, в пору моей интенсивной работы над Чернышевским: «Владимир Ильич любил Чернышевского, может быть, более всех других мыслителей и деятелей прошлого, и мне кажется, что было нечто общее между Владимиром Ильичом и Чернышевским». Да, несомненно, было общее (I, 230). И Луначарский с радостью отмечает эти общие черты: ясность слога, подвижность речи и мысли, широта и глубина суждений, соединение огромного содержания и скромности его выражения и, особенно, «моральный облик этих людей». Вывод, который в разных формулировках звучит во всех его выступлениях: «В Чернышевском мы чтим отнюдь не великого мертвеца, а все еще живого соратника в общем для него и для нас деле» (I, 231). Это общее дело — социализм, о котором мечтал Чернышевский, за которое боролся Ленин.

Главной и общей идеей всех высказываний Луначарского о Чернышевском — «предтече коммунизма в нашей стране», — было стремление увидеть и подчеркнуть в его наследии то, что не потеряло своего значения и для нас, извлечь уроки из того, что он оставил нам, приблизить Чернышевского к современности: «необходимо, чтобы население — пролетариат и крестьянство — почувствовало, каким родным был для них этот великий человек» (I, 229).

Луначарский писал о необычайной многогранности Чернышевского. «Философ, публицист, крупнейший экономист, популяризатор научных знаний, революционный вождь, автор гениальных прокламаций, Чернышевский был вместе с тем крупнейшим литературным критиком и одним из замечательных в нашей великой литературе писателей-беллетристов» (I, 235).

Но более всего его привлекали эстетические воззрения, этические принципы, проблемы реализма в литературной критике, особенности и достоинства художественных произведений Чернышевского, влияние на современников и потомков.

Прав Н. А. Глаголев, утверждающий, что «в статьях Луначарского о Чернышевском, естественно, большое место занимают и такие, в ту пору еще очень мало разработанные вопросы, как вопрос о месте Чернышевского-художника в истории русской литературы XIX века, о своеобразии его художественного метода...»

Многие мало разработанные вопросы приобрели точные ответы, научную и практическую устойчивость именно благодаря трудам Луначарского. Он был в числе тех, трудами которых в советском литературоведении утвердилось имя и непреходящая ценность наследия Чернышевского.

Особо подчеркивал Луначарский в наследии Чернышевского идею общественно-преобразующего значения искусства.

В 1928 г. В. М. Фриче прислал ему для ознакомления свою статью «К юбилею Плеханова», опубликованную затем в журнале «Литература и марксизм» (1928, № 3). Недавно опубликовано письмо Луначарского к Фриче, где он, в частности, писал: «У нас литература должна быть именно органом просвещения и здесь мы ближе к Чернышевскому, чем к Плеханову»¹⁰. Фриче возражал против «обвинения» Плеханова в «объясняющем» подходе к явлениям литературы и искусства, в преобладании «пассивности» над «активностью»¹¹. Луначарский отстаивал свою позицию и убеждал Фриче в его неправоте: «Плеханов очень сильно осуждает Чернышевского за то, что он считает литературу силой просветительской, силой этической, именно в этом усматривает он просветительство Чернышевского. Этому можно привести неоспоримое доказательство в отзыве Плеханова о Чернышевском, как эстетике и критике»¹².

Критикуя Плеханова за недооценку Чернышевского, Луначарский опирался на Ленина. Известно, что книга Плеханова «Н. Г. Чернышевский. Историко-литературный этюд», вышедшая вторым изданием в 1910 году, была подвергнута критике В. И. Лениным: «Из-за теоретического различия идеалистического и материалистического взгляда на историю Плеханов просмотрел практически — политическое и классовое различие либерала и демократа»¹³.

Б. И. Бурсов в «Истории русской критики» отмечает: «Плеханов анализирует теоретические взгляды Чернышевского в отрыве от его политической деятельности и современной ему общественной жизни. Политический смысл, теоретическая деятельность Чернышевского вследствие этого упускается из виду. В результате грань между либералом и демократом в абстрактных рассуждениях Плеханова действительно стирается. Плеханов не выявляет революционно-демократического содержания в теоретических трудах Чернышевского»¹⁴.

В статье «Чернышевский как писатель», в основу которой положен доклад на торжественном заседании в Большом театре 26 ноября 1928 года, Луначарский обстоятельно осветил отношение Плеханова к Чернышевскому. «Плеханову не пришлось быть выразителем воли властного класса, который переделывает жизнь соответственно своей программе. Плеханов дожил до Октября, но не признал его; Чернышевский же говорил с точки зрения активного воздействия на жизнь» (I, 240).

¹⁰ «Лит. наследство», т. 82, М., 1937, с. 67.

¹¹ Там же.

¹² Там же, т. 82, с. 66.

¹³ Ленинский сборник. XXV. М., «Правда», 1934, с. 185.

¹⁴ История русской критики. М.—Л., 1958, с. 538.

«Именно такая активная позиция Чернышевского приближает его к нам, это суждение Чернышевского для нас очень важно и понятно ...а не должны ли наши современные писатели кое-чему научиться у Чернышевского и в том, как он выполнял свою миссию, как беллетрист» (I, 241).

В большой работе о Плеханове, созданной в 1929—1930 гг., Луначарский вновь возвращается к этому вопросу, объясняя причины плехановского критического отношения: «Надо было, — считал Луначарский, — показать его (Чернышевского. — П. Б.) настоящее место и несколько низвести его с того пьедестала непогрешимого учителя (учение которого при этом самым жалким образом искажалось), на который старались возвести его народники» (8, 285).

В историческом споре прав Чернышевский, «Плеханов борется с просветительством Чернышевского, то есть с его требованиями по отношению к литературе, чтобы она служила обществу, и с его оценкой литературных явлений, прежде всего по степени этого их действительного служения» (8, 285). «Мы находимся перед той же задачей, перед которой стоял Чернышевский, — привлечь к себе массы, перевоспитать массы, и мы совершенно согласны с Чернышевским» (8, 286).

Эти выступления Луначарского приходились на то время, когда он выступал против ошибочного лозунга рапповцев «за плехановскую ортодоксию», когда многие литературные теоретики и критики пытались защититься от критики их вульгарно-социологических тенденций частоколом цитат, извлеченных из статей Плеханова.

На это указывал Луначарский в уже цитированном письме к Фриче. «У нас же <...> с одной стороны, часто говорят о необходимости объективного отношения к необходимости объективного отношения к искусству, стараются отгородиться от просветительства, от рационализма, от пропагандистского упрощенчества, удаляясь этим от принципов Белинского и Чернышевского и имея возможность заслониться некоторыми весьма выразительными цитатами Плеханова. С другой стороны — впадают в крайний рационализм <...>, чем опять-таки далеко отходят от того глубокого понимания истинной силы искусства, которая была присуща Белинскому, и в достаточной мере и Чернышевскому.

Плеханов, конечно, в данном случае не грешил, но некоторая молодежь, его ученики даже — грешат»¹⁵.

Как видим, наследие Чернышевского помогло Луначарскому в борьбе с вульгарным социологизмом и догматизмом рапповской критики.

В конспекте доклада о социалистическом реализме (1933 г.), отстаивая право социалистического реализма загля-

¹⁵ «Лит. наследство», т. 82, с. 67.

дывать в будущее, Луначарский сослался на роман Чернышевского «Что делать?»

Широко известна работа Луначарского в связи с юбилеем Л. Толстого. Оценивая творчество Л. Толстого, он стремился исходить из ленинской характеристики великого писателя. Именно в это время он публикует статью «Ленин о Толстом». Это тем более было необходимо сделать, что появились статьи, авторы которых отходили от ленинских взглядов. Этим грешила статья М. С. Ольминского «Ленин или Лев Толстой» («Правда», 1928, 4 февраля).

В. Фриче в статье «Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский» писал: «Не могло быть естественно никакой приязни» между этими двумя выразителями двух противоположных и враждебных общественных групп, между идеологом мелкобуржуазной интеллигенции и мыслителем упадочного помещичьего дворянства»¹⁶. Ф. Раскольников в «Красной нови» прямо обвинял Луначарского в идеализации вредных сторон учения Толстого, в искажении взглядов Ленина¹⁷.

Выступая в этой полемике, Луначарский широко использует прием сопоставления двух писателей. В статье «Чернышевский и Толстой» (1928) он писал: «Нам предстоял юбилей Толстого и юбилей Чернышевского. Нет никакого сомнения, что оба они великие люди, оба они обладали огромной силой ума и огромным порывом к правде. ...Лев Толстой неизмеримо больше даровит, чем Чернышевский, как художник. Чернышевский был гораздо более мощен как мыслитель» (I, 232). В этой и других статьях Луначарский так написал о Толстом, что и теперь, по меткому слову поэта, «тут не убавить, не прибавить». Он усматривает в работах Чернышевского о Толстом великолепное проникновение в самую суть творчества, огромной силы предвидение. «Предсказание Чернышевского исполнилось, и имя графа Толстого оказалось вписанным громадными буквами в историю мировой литературы. Но имя Чернышевского вписано, и не меньшими буквами, в историю явления гораздо большего — в историю мировой революции, с которой он неразрывно связан теперь через мировую революцию Октября» (I, 234).

Уважение к Толстому, любовь к его великим произведениям завещал нам Ленин, а «Чернышевский наш, родной, близкий <...> такова «правильная оценка их обоих» (I, 234).

Заключая свою лекцию «Толстой и наша современность», прочитанную уже после юбилея в Ленинграде, Луначарский сказал: «Ты не можешь умереть, ты будешь жить вместе с нами, ты будешь вместе с нами работать над построением того человеческого счастья, о котором ты мечтал, хотя намечая не-

¹⁶ «Красная новь», 1928, кн. девятая, с. 289.

¹⁷ Там же, с. 280.

верный путь для его достижения»¹⁸. В предисловии К. Ломонова к этой публикации отмечены не только ошибочные и устаревшие теперь формулировки лекции, но и великолепные по выразительности и четкости оценки творчества Толстого. И в этой лекции Анатолий Васильевич говорит о «лучших людях России, предшественниках революции с великим Чернышевским во главе»¹⁹.

Мы обратились к этим страницам истории нашей литературной критики, к одному из проявлений литературно-критической деятельности Луначарского не только ради того, чтобы в эти юбилейные дни просто напомнить, как складывались оценки и выводы, которые для нас стали аксиомами, но и для того, чтобы показать возможности и силу творящей критической мысли.

В сложной литературно-политической обстановке второй половины двадцатых годов, Луначарский, часто «идя против течения», боролся за ленинские положения применительно к оценкам «двух гигантов русской литературы».

Его труды не пропали даром, они перешагнули порог своего времени и во многом определяют наше нынешнее отношение к тому, кто действительно был «великим предшественником» далекой от него эпохи.

¹⁸ «Лит. наследство», т. 69, кн. 2. М., 1961, с. 426.

¹⁹ Там же, с. 411.

ПУБЛИКАЦИИ
И МАТЕРИАЛЫ

РАССКАЗЫ А. С. КАРАМЫШЕВА О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Астраханский период жизни Н. Г. Чернышевского (октябрь 1883 — июнь 1889 гг.) не богат мемуарными источниками. Виной тому — не столько относительная отдаленность места ссылки Чернышевского от политических и культурных центров России, его изоляция от друзей, единомышленников, сколько скупость, осторожность, невнимание к памяти писателя лиц, хорошо знавших его образ жизни, круг мыслей, быт, времяпрепровождение. К. М. Федоров в подцензурном издании¹ в большей степени пишет о своих занятиях, поручениях Чернышевского, чем о нем самом. В. Г. Короленко не оставил почти никаких свидетельств о своих астраханских встречах. Не сделали этого и сыновья Чернышевского. Естественно, что привлечение новых источников в круг материалов к биографии писателя-революционера, критическая их оценка не требуют особой аргументации.

Воспоминания (рассказы) Александра Степановича Карамышева, сына хозяина последней квартиры Чернышевского в Астрахани, были уже известны. Наиболее полно они воспроизведены Вас. Е. Чешихиным-Ветринским², первоначально опубликованы в «Саратовском листке». Да и сами воспоминания Карамышева были написаны, видимо, по настоянию Чешихина-Ветринского. Однако Чешихин-Ветринский опубликовал их в сокращенном виде, а напечатанное, в значительной степени, в своей переделке. После публикации Чешихина-Ветринского воспоминания Карамышева были надолго забыты. Очень небольшую их часть, не самую существенную (о том, как Чер-

¹ Федоров К. М. Н. Г. Чернышевский. Ашхабад. 1904; изд. 2-е, Ашхабад, 1905.

² Чешихин-Ветринский В. Е. Н. Г. Чернышевский. 1828—1889. II ч. 1923, с. 193—195.

нышевского «очень любила кухня») цитирует К. Ерымовский³. В двухтомник воспоминаний о Чернышевском они не попали⁴.

Игнорирование воспоминаний Карамышева нетрудно объяснить: в полном виде они оказались вне поля зрения исследователей. Наряду с достоверными суждениями в них есть и явные измышления, свойственные детскому восприятию (см. примечания к публикации). Семья Карамышевых, по-видимому, не была в числе друзей Чернышевского. Деньги в долг Чернышевский брал у Мелькумовых, а не у хозяина дома. В то же время у Чернышевского к Карамышевым не было и неприязни. Готовясь к переезду в Саратов, Чернышевский советует жене снять там квартиру «не хуже той, какую мы занимали в доме Карамышева»⁵.

Возвратиться к новой оценке воспоминаний А. С. Карамышева есть смысл. Их лучше назвать рассказами, в которых смешаны были и небылицы. Рассказывал их уже человек, получивший специальное инженерное образование, знакомый с политической литературой. А. С. Карамышев по его рассказам предстает человеком иногда наивных, но все-таки демократических убеждений. Прошлые впечатления, пропущенные через призму зрелых воззрений, укрепились и осложнились. Повествуя о Чернышевском, Карамышев открыл его для себя заново, чему содействовала и эпоха демократического подъема в России. Вместе с тем рассказ Карамышева основан на реальных фактах астраханского быта, перекликается с известными размышлениями Чернышевского конца 80-х гг. Например, в то время возник спор между Чернышевским и беллетристом И. И. Барышевым о том, как относиться к купеческому сословию. И. И. Барышев писал Чернышевскому 22 августа 1888 г.: «...идеализировать купца как «сословие» — я не могу. Рядом с хорошими людьми буду рисовать и дурных, не давая перевеса ни тем, ни другим, хотя последних несравненно больше; но выставлять и раскрашивать одни только хорошие стороны, слегка упоминая о худых, — воля Ваша, — я не в состоянии <...> Всякий уважающий себя бытописатель не должен набрасывать покрывала на то, что составляет «суть» жизни этой массы, а — брать людей так, как они есть, со всеми их хорошими и дурными сторонами»⁶. Чернышевский отвечал из Астрахани Барышеву 23 сентября 1888 г.: «Не отрицаю я и того, что в обычаях русского купечества есть очень много дурного. Я только полагаю, что оно в нравственном отношении не хуже русского чиновничества и лучше сословия, живущего в празд-

³ Ерымовский К. Чернышевский в Астрахани. 1952; изд. 2-е, 1964.

⁴ См.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. II, Саратов, 1959.

⁵ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. XV, с. 882.

⁶ Н. Г. Чернышевский.— «Лит. наследие», т. 3, М.—Л., Гиз, 1930, с. 583.

ности на богатые доходы, получаемые без всякого труда». И далее: «...беллетристы вообще имеют дело с купечеством лишь как покупщики товаров или искатели денег взаем, знают купцов лишь как купцов, а не как людей <...> Думая о купечестве, порицая в своих мнениях дурные обычаи его, я помню, что купец не только купец, но и человек»⁷. Диалоги Чернышевского, воспроизводимые Карамышевым, не противоречат этим рассуждениям.

Рассказы Карамышева подтверждают версию, что нельзя представлять Чернышевского в Астрахани как замкнувшегося в себе человека, некоего отшельника. Он, однако, тосковал по настоящей деятельности, вынужден был принаравливаться к обстоятельствам. Многозначительна автохарактеристика, данная Чернышевским в письме К. Т. Солдатенкову 26 декабря 1888 г.: «Этот кабинетный труженик знает жизнь, как немogie, и в серьезных случаях не смущается ничем, готов на все, и ловко ли не ловко ли, но успешно ведет дело, как надобно для любимых им людей; что он, по всей вероятности, человек крайних прогрессивных мнений, умеет любить честных богатых и знатных людей»⁸. Это заявление также надо учитывать при чтении рассказов Карамышева. «Воспоминания А. С. Карамышева» печатаются по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ⁹ с исправлением описок в некоторых собственных именах.

Москва 24.I<19>07

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Воспоминания Александра Степановича Карамышева

Н. Г. я помню очень хорошо, так как мне было в то время около 9-ти лет.

Как известно, после ссылки в Сибирь Н. Г. был сослан в г. Астрахань и там-то поселился в доме моего отца Степана Никаноровича Карамышева.

Кухни наших квартир отделялись маленьким коридором, и Н. Г. пользовался всяким удобным случаем, чтобы пройти к нам. Он никогда не стеснялся и являлся к нам в том, в чем был, в халате и туфлях.

Мы, дети, его очень любили, т. к. Н. Г. часто рассказывал

⁷ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. XV, с. 748.

⁸ Там же, с. 786.

⁹ ЦГАЛИ, ф. 553, оп. 1, ед. хр. 201, лл. 1—18.

нам сказки из 1001 ночи. Хорошо помню его рассказ: «Сезам, отворись»¹. Во время рассказа мы, буквально, осаждали Н. Г., на что последний никогда не жаловался.

Иногда он рассказывал нам и сказки своего сочинения, в которых учил нас быть всегда добрыми и хорошими детьми и любить своих ближних.

Моя мать, немка из Гамбурга, получила высшее образование и в свободное время писала стихи (на немецком языке). Это узнал Н. Г. и при каждой почти встрече уговаривал писать и писать, также просматривал ее произв<едения> и давал указания, как более опытный в литературных делах.

Отец мой, русский, обладал поразит<ельной> памятью, много читал, и Н. Г. очень любил с ним разговаривать. В кабинете моего отца стоял шкаф с книгами: «История» Шлоссера, «Отечественные записки» за все года, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Ломоносов, Гейне, Достоевский и пр., и Н. Г. очень любил рыться в этой библиотеке. Очень часто у отца, бывшего в то время главн<ым> управляющим у Степана Мартыновича Лионозова², были по делам купцы. Н. Г. являлся в кабинет, здоровался со всеми присутствующими, подходил к своим книгам и рылся в них иногда более часу. Почти всегда Н. Г. вступал с гостями и в разговор и удивлял слушателей своими познаниями и умением рассказывать.

Был такой случай. У отца сидел купец, кажется Беззубиков³. Это тот Без<зубиков>, который в один весенний улов рыбы запрудил неводом всю реку, для того, чтобы другим (более бедным) ловцам ничего не попалося.

Рыбы было поймано столько, что у Б<еззубикова> не хватило соли для засолки всей рыбы, и Б<еззубиков> приказал оставшуюся рыбу зарыть в землю, а не бросать обратно в воду. Таким образом было зарыто несколько миллионов рыбы и бедным ловцам ничего не досталось.

Благодаря тому, что рыба начала разлагаться и распространяла зловоние на огромное пространство, чуть было не явилась эпидемия. Эта история в свое время наделала много шума.

И так этот кулак, под гнетом которого находилась масса народу, попался в лапы Н. Г. Сначала последний порылся в шкапу, затем подошел к купцу и стал с ним разговаривать. Узнав, что это тот купец, Н. Г. стал описывать жизнь загнанных, работающих под открытым небом и под палящими лучами солнца, рабочих и работниц. Н. Г. требовал, чтобы тот более внимательно относился к труженикам, чтобы и тот элемент, трудами которого увеличив<ались> капиталы купца, мог так же жить по-человечески.

Н. Г. так мастерски рассказывал, так живо и ярко описывал тяжелую жизнь бесправного русского пролетариата, что даже и этот бездушный кулак почувствовал, хотя только в

этот момент, жалость к пасынкам режима и прослезился. По уходе Н. Г. купец сказал:

— На вид плюгавенький, а поди-ж ты, какой молодчина, за словом в карман не полезет!»...

В Астрахани в то время умер один учитель от заражения крови, т. к. врачи произвели операцию грязным ножом, у несчастного распух язык, и он умер в страшных мучениях. Н. Г. ужасно волновался по этому поводу и ругал всех врачей, которые недостаточно внимательно относятся к своему труду.

Как на грех ему попался наш домашний врач (фам-илию не помню — могу узнать). Врач очень просил мою мать, чтобы та познакомила его с Н. Г.

— Чем вы занимаетесь? — был первый вопрос, который предложил Н. Г.

— Я врач.

— А, так Вы врач, да как Вы смеете... и пошел громить человека, кот<орый> даже не участвовал в злополучной операции. Врач хотел было защитить себя от каскада упреков, но не тут-то было. Н. Г. не давал говорить ему ни слова. Так что врачу оставалось бежать, и он бежал.

Н. Г. был страшно рассеян, и когда у нас были гости, являлся часто без галстука, в туфлях и т. д. Общество Н. Г. очень любил; у нас же часто бывали гости, и тогда обязательно должен был присутствовать и Н. Г. Собиралась вокруг него группа, и он весь вечер говорил без умолку. Конечно, ужин, чай и т. д. — все отходило на задний план, и моим родителям все время приходилось напоминать о том, что чай остыл и т. под. Несмотря на все<это> содержимое тарелок оставалось нетронутым.

Завсегдатаем у нас был бывший в то время в Астрахани вице-губернатор фон-Бринкман, теперь умерший⁴. Этот господин очень любил, чтобы на него обращали внимание, много говорил, и с ним произошло на этой почве столкновение. Раньше явился г. Б<ринкман> и начал болтать. В самый разгар разговора является Н. Г., поздоровавшись садится и начинает говорить. Тотчас же вокруг него собирается толпа, а число слушателей г. Б<ринкмана> заметно уменьшается. Тогда г. Б<ринкман> начинает говорить все громче и громче и старается заглушить своего противника. Вдруг подымается Н. Г., поворачивает свой стул спиной к Б<ринкману> и, сев к нему спиной, невозмутимо продолжает свой разговор.

Этого Б<ринкман> уже не мог вынести и, как бомба, бросился из комнаты и стал моей матери жаловаться на поступок Н. Г. Конечно, этого бы не было, если бы рассказ г-на Б<ринкмана> был бы содержательнее. Болтовня Н. Г. очень не понравилась. Весь вечер Б<ринкман> не мог успокоиться.

Интересна история столкновения Н. Г. с самим губернатором. Как известно, Н. Г. в Астрахани был под надзором полиции и должен был время от времени являться к губернатору в канцелярию для того, чтобы полиция знала, что Н. Г. не сбежал. Первый раз пошел Н. Г., и ему заявили, что *сам* хочет его видеть. Н. Г. присел на стул и стал ждать. Открывается дверь и входит губернатор. Н. Г. продолжает сидеть. «Здравствуйте!» — гов<орит> губер<н>а<тор>. «Здравствуйте!» — отвечает Н. Г. и продолжает сидеть. «Вы знаете, кто я?» «Нет», — говорит Н. Г. совершенно невозмутимым голосом и продолжает сидеть. «Я губернатор...» «Очень приятно», — заявляет Н. Г. и не думает встать. «Да Вы знаете, что нужно встать, когда с Вами говорит губернатор!» — кричит последний. «Что же, можно и встать», — говорит спокойным голосом Н. Г. и не спеша подымается со стула. Тут же негодованию губ<ерна>тора не было границ, и он, если не ошибаюсь, выгнал Чернышевского. С тех пор Н. Г. приходилось иметь дело с чиновником губернат<орской> канцелярии, а не с губернатором⁵.

Н. Г. очень любила кухня, так как и туда заглядывал Н. Г. Ко времени его прихода собиралось много посторонней прислуги из других квартир и жадно внимали словам Н. Г. Его любили положительно все, с кем он только ни встречался.

К нашим именинам Н. Г. дарил нам подарки, за покупкой которых ходил сам и выбирал всегда что-то интересное: кра<сив>ые<е> картинки и т. п.

Помню случай, рассказанный моей матерью. Н. Г. <ча> послала его супруга в подвал (жил он на 2-м этаже) за кореньями, картошкой и т. п. Нагруженный морковью, петрушкой и пр. выходит Н. Г. из подвала и видит двух дам — мою мать и ее знакомую. Моментально прячет одну руку с кореньями за спину и просит дам подняться по лестнице первыми. Не тут-то было: дамы ни за что не хотели идти вперед, и Н. Г. пришлось идти первому. Поднимаясь по лестнице, он забыл, что рука с кореньями осталась за спиной и видна дамам, продолжал свой путь, держа коренья все время за спиной.

Н. Г. часто жаловался моей матери, что Тургенев был очень нехороший человек и, что, по всей вероятности, благодаря ему пришлось попасть в Сибирь⁶.

Примечания

¹ Имеется в виду рассказ, известный под названием «Али-Баба и сорок разбойников». В 1886 г. вышло новое издание сказок «Тысяча и одна ночь» для юношества, в обработке А. Н. Энгельгард, куда был включен и упомянутый рассказ.

² С. М. Лионозов — крупный купец, почетный гражданин Астрахани.

³ Ошибка в имени или в излагаемом ниже событии. Выдвижение купцов В. В. и И. В. Беззубовых произошло позже, уже в 90-х гг.

⁴ А. Г. Бринкман умер в 1900 г.

⁵ Весь эпизод вымышлен. С губернатором Л. Д. Вяземским у Чернышевского были относительно доверительные отношения.

⁶ Конечно, легенда, но с отголоском очерка Чернышевского «Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым» (1884), в котором дана не совсем объективная оценка Тургенева (см.: Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 128).

**Г. Е. БЛАГОСВЕТЛОВ — ТОВАРИЩ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
ПО САРАТОВСКОЙ СЕМИНАРИИ**

Первое знакомство двух ведущих демократических публицистов 1860-х гг. Чернышевского и Благосветлова произошло в ранней юности. Оба были детьми священников, оба прошли суровую школу семинарского воспитания. Новооткрытые материалы Саратовской духовной семинарии уточняют дату приезда Благосветлова в Саратов, сообщают подробности его семейного окружения, позволяют прокорректировать ранее опубликованные данные о семинарском периоде биографии руководителей «Современника» и «Русского слова», дают возможность точнее, конкретнее представить обстановку, вызвавшую у будущих писателей решение оставить духовное учебное заведение.

Поводом к переезду Григория Благосветлова в Саратов явилась смерть матери Марии Андреевны в феврале 1835 г.¹ Вся семья жила в ту пору в слободе Владимировка на саратовщине, где священник Евлампий Благосветлов служил в местной церкви. Старшие сыновья Александр и Григорий учились в ближайшем духовном училище — в уездном городе Камышине, в те годы входившем в состав Саратовской губернии. Летом 1836 г. отец предпринял попытку перевести их в Саратовское духовное училище. Текст прошения гласил:

«Находятся у меня дети в Камышинском уездном училище высшего отделения Александр и низшего отделения Григорий Благосветлов, которых я по неудобству моему и дороговизне содержания прошу Саратовское семинарское правление переместить в Саратовское духовное училище для удобного содержания и над ними надзора, так как у меня находятся в Саратове родственники, которые могут более за ними надзирать и

¹ Духовников Ф. В. Григорий Евлампиевич Благосветлов. — «Русская старина», 1891, август, с. 415.

облегчение в содержании для меня сделать. На что и буду ожидать сего правления милостивейшего разрешения. 1836 года, июля 20 дня. К сему прошению священник Евлампий Благосветлов руку приложил»². Правление отказало, «поелику Саратовское училище многолюднее Камышинского» и «священник Благосветлов не представляет никаких других уважительных причин своего прошения»³. 31 августа последовала повторная просьба. Священник сообщил на этот раз, что привез с собою не только первых двух сыновей, но и третьего «для включения» в духовное учебное заведение. «Каковые мои дети, — писал он, — в содержании наносят мне большую и значительную трату. А как здесь в Саратове я имею ближайших родственников, имеющих свои дома, которые берутся детей моих содержать у себя на квартире безденежно и иметь за ними во всем надзор, что составит для меня как облегчение в содержании, так не менее и в соблюдении оных»⁴. 5 сентября просьба была удовлетворена: «Ученикам Камышинского училища Александру, Григорию и Серафиму»⁵ Благосветловым согласно сему прошению позволить переместиться из Камышинского училища в таковое же Саратовское»⁶.

Предписание семинарского правления датировано 8 сентября 1836 г.⁷ Вскоре, 13 сентября, исправляющий должность ректора Камышинских духовных училищ протоиерей Петр Казаринов выслал «о сих учениках надлежащую ведомость». Из документа видно, что Григорий поступил учиться в Камышинское училище 2 сентября 1834 г., «поведения хорошего, способностей хороших, прилежания и успехов нехудых», а его старший брат Александр, 17 лет, начал учиться с 4 сентября 1828, «поведения хорошего, способностей изрядных и успехов нехудых»⁸. Что же касается Серапиона, то он поступал учиться впервые (в 1836 г. ему было 10 лет), и 21 сентября его отцу пришлось писать особое прошение на имя ректора Саратовских духовных училищ Г. Н. Амалиева⁹. Серапион был зачислен во 2-й класс 2-го училища, Александр — в высшее отделение, Григорий — в низшее. В то время Саратовское духовное училище состояло из двух равноценных уездно-приходских училищ с

² Государственный архив Саратовской области (ГАСО), ф. 12, оп. 1, ед. хр. 775, л. 10.

³ Там же, ед. хр. 698, л. 320 об. Запись от 30 июля.

⁴ Там же, ед. хр. 775, л. 16. Текст прошения частично напечатан; см.: Лебедев А. К биографическому очерку Г. Е. Благосветлова. — «Русская старина», 1913, январь, с. 173.

⁵ По другим документам — Серапион.

⁶ ГАСО, ф. 12, оп. 1, ед. хр. 775, л. 17.

⁷ Там же, ед. хр. 859, л. 19 об.

⁸ Там же, ед. хр. 807, лл. 9—10; «Русская старина», 1913, январь, с. 173.

⁹ ГАСО, ф. 12, оп. 1, ед. хр. 804, л. 18.

шестилетним сроком обучения (в начальном классе, низшем и высшем отделениях — по два года в каждом).

Все трое Благосветловых успешно окончили училище и были переведены в Саратовскую духовную семинарию: Александр в 1838, Григорий в 1840, Серапион в 1842 г. В том же 1842 г. в семинарию поступил Николай Чернышевский, и Серапион стал его одноклассником.

Сведения об училищных успехах Григория Благосветлова содержатся в его выпускном свидетельстве, опубликованном А. Лебедевым¹⁰. Однако здесь не указаны дата документа и подписи. По всей вероятности, Ф. В. Духовников, записями которого пользовался А. Лебедев, располагал лишь копией из архива духовного училища¹¹. В семинарском же архиве хранится дубликат того же документа со всеми выходными данными: 25 августа 1840 г. и подписи ректора иеромонаха Гавриила (Г. Н. Амалиева), инспектора священника Николая Вазерского и учителя греческого языка Ивана Виноградова¹².

Отец Благосветловых умер 29 ноября 1838 г.¹³, и материальное положение братьев значительно ухудшилось. 2 января 1840 г. Григорий и Серапион подали прошение о переводе их на полуказенное содержание¹⁴. С 1841 г. Григорий указан в документах как ученик, пользующийся полным казенным коштом. Следовательно, жил он в общежитии (бурсе) и прошел через все невзгоды и тяготы бурсацкого существования.

Биографы указывают, ссылаясь на самого Благосветлова, что оставшиеся после смерти отца деньги были положены в приказ общественного призрения, из которого духовное начальство не разрешало выдавать братьям даже процентов. «Откуда они получали деньги, живя в бурсе, неизвестно, но у меня, — писал Ф. В. Духовников, — есть данные, свидетельствующие о том, что у них были деньги: Григорий, заметив в бурсе своего товарища, не имеющего одежды, купил на свои деньги из сожаления к нему брюки и сюртук, а Александр даже мог дать взятку»¹⁵.

Недоумения биографа частично разрешаются архивными источниками. Так, 29 февраля 1844 г. Серапион, «ныне находясь на полуказенном содержании, кроме жилища и пищи во всем другом крайне нуждаясь», просил выдать ему из Саратовского приказа общественного призрения «все проценты на сумму, которая со смерти его родителя внесена в оный, из этой

¹⁰ «Русская старина», 1913, февраль, с. 361.

¹¹ См.: ГАСО, ф. 402, оп. 1, ед. хр. 73, л. 2.

¹² Там же, ф. 12, оп. 1, ед. хр. 1284, л. 135—135 об.

¹³ «Русская старина», 1891, август, с. 415.

¹⁴ ГАСО, ф. 12, оп. 1, ед. хр. 1324, л. I; Ср.: «Русская старина», 1913, февраль, с. 360.

¹⁵ «Русская старина», 1891, август, с. 416. Подробности, связанные с вынужденной взяткой в 17 руб. инспектору училища, относятся к 1839 г. См.: «Русская старина», 1913, январь, с. 175 и март, с. 643.

процентной части в случае превышающей 50 руб., он должен уделить часть ее сестре и брату». Речь идет о Григории и Раисе, переехавшей в Саратов к родственникам, о которых Евлампий Благосветлов сообщал в 1836 г. Консистория, получив прошение ученика семинарии, затребовала от семинарского правления справку, «действительно ли ученик Серапион Благосветлов с братом своим имеет нужду в деньгах и сколько бы по мнению одного следовало на выдачу на каждого из них таковой суммы». Правление ответило: «Ученики семинарии Благосветловы нужды не имеют пока в деньгах как занимающие кондичии и пользующиеся сверх полуказенного содержания выгоды от занимаемых ими кондичий»¹⁶. Иначе говоря, оба давали уроки в частных домах. Возможно также, оба пользовались частью дохода с места в церкви, где служил их отец. Нужно думать, прошение было подано по требованию Григория, потому что спустя два месяца Серапион уволился из бурсы, «имея средства содержаться на квартире на собственном иждивении»¹⁷. Конечно, все дополнительные средства были крайне скудны, их едва хватало на самое необходимое.

В семинарии Григорий Благосветлов был одним из лучших учеников. Из года в год неизменно отмечалось, что способностей он «отлично хороших», прилежания «отличного», успехов «весьма хороших», «очень хороших», «отличных»¹⁸. «За отличные успехи в науках и доброе поведение он во время торжественного акта 14 июля 1842 г. награжден книгой»¹⁹. «Прилежания и успехов очень хороших» — высокая аттестация, которой он один был удостоен по результатам двухгодичного учебного курса в специальном классе по изучению татарского языка²⁰. Этот класс вел один из лучших преподавателей семинарии Г. С. Саблуков, и в следующем учебном году славу первого ученика по «татарскому классу» разделил с Благосветловым Чернышевский. В 1842 г. и произошло их первое знакомство, которое оба впоследствии постоянно поддерживали.

На третьем году обучения Григорий Благосветлов уже откровенно тяготился бурсацкой жизнью. Он по-прежнему хорошо учится: в ведомости за 1842—1843 учебный год успехи и способности квалифицированы как «отлично хорошие»²¹. Однако в его поведении стали проявляться черты непокорности. Так, инспектор семинарии известил правление, что 8 сентября 1842 г. он «нашел и изобличил в нетрезвости ученика среднего отделения семинарии Григория Благосветлова, который на другой день после того оказал еще грубость». Правление по-

¹⁶ ГАСО, ф. 12, оп. 1, ед. хр. 1737, лл. 1—2.

¹⁷ Там же, ед. хр. 1795, л. 3.

¹⁸ Там же, ед. хр. 1470, лл. 91, 92, 93.

¹⁹ Там же, л. 122 об.

²⁰ Там же, л. 98.

²¹ Там же, ед. хр. 1654, л. 32.

становило состоявшего на «полном казенном коште» ученика «лишить казенного содержания», означив поступок в книге поведения»²². И хотя подобных нарушений со стороны Благовсветлова больше не наблюдалось, а в годичной ведомости за этот год его поведение означено как «очень хорошее», суровое наказание за первую же провинность оставила глубокий след в сознании восемнадцатилетнего юноши. То было первое, зафиксированное документами столкновение с семинарским режимом, и не исключено, что именно этот случай послужил толчком извне, укрепившим решение Благовсветлова оставить семинарию.

Прошение «об увольнении в Санкт-Петербургскую Медико-Хирургическую Академию» датировано (по отметке о входящих бумагах) 29 октября 1843 года²³. Подав прошение, он перестал посещать занятия, кроме физики, геометрии и греческого языка. В ведомости по результатам декабрьских экзаменов в 1843 г. указано: «Не оказал успехов по болезни»²⁴. Между тем в списках больных за эти три месяца его фамилия не значится. В именной ведомости, составленной после годичных экзаменов в июле 1844 г. отмечено: «Успехов слабых, поведения хорошего, выбыл в епархиальное ведомство»²⁵. 22 июня 1844 г. ему выдали свидетельство, сохранившаяся копия которого содержит любопытные подробности:

«Объявитель сего ученик Саратовской духовной семинарии среднего отделения 1-го класса Григорий Благовсветлов Царевской округи слободы Владимировка умершего священника Евлампия сын, имеющий от роду 20 лет, поступил из Саратовского духовного училища 1840 года в Саратовскую духовную семинарию и обучался в оной философии — «неизвестно» (зачеркнуто) — «не занимался», словесности — «отлично» (зачеркнуто) — «хорошо», историям: библейской — «хорошо» (зачеркнуто) — «недостаточно», российской — «хорошо» (зачеркнуто) — «недостаточно», математике — «очень хорошо» (зачеркнуто) — «недостаточно», священному писанию — «неизвестно» (зачеркнуто) — «недостаточно», языкам: латинскому — «неизвестно» (зачеркнуто) — «недостаточно», греческому — «не худо» (зачеркнуто) — «недостаточно», при способностях — «неизвестно» (зачеркнуто) — «очень хороших» прилежании — «неизвестно» (зачеркнуто) — «не постоянном» и поведении — «хорошем». Уродств, калечеств и недостатков телесных не имеет, в падучей болезни замечен не был. Ныне

²² Там же, ед. хр. 1467, лл. 44—45.

²³ Там же, ед. хр. 1657, л. 1. Опубликовано А. Лебедевым (см.: «Русская старина», 1913, март, с. 635—636) с незначительной ошибкой: увольнявшийся вместе с Г. Благовсветловым М. Лебедевский назван М. Лебедевым.

²⁴ ГАСО, ф. 12, оп. 1, ед. хр. 1660, лл. 41—45, 69.

²⁵ Там же, ед. хр. 1791, л. 43 об.

же на произведенном правлением семинарии испытании найден по безуспешности не способным к продолжению учения; почему на основании § 173 гл. 10 Устава духовных семинарий с сим свидетельством исключен в Епархиальное ведомство. 1844 года июля 20 дня»²⁶.

Выданное «Свидетельство» было, по существу, «волчьим билетом», делавшим невозможным поступление в какое-либо учебное заведение. Получение другого документа, в котором была бы отражена объективная картина его успехов, заняло много времени, и из Саратова Благодетель уехал только в 1845 г.: «Исключенный ученик Саратовской семинарии Григорий Благодетель уволен в Санкт-Петербургскую Медико-Хирургическую Академию в июле 1845 г., коему для отправления выдано 16 июня № 4831 свидетельство»²⁷. Разумеется, речь идет о втором по счету «Свидетельстве», датированном 1845 г. Текст этого документа не сохранился. По всей вероятности, были восстановлены оценки, зачеркнутые в первом «Свидетельстве» и выведенные на основании первых трех лет обучения. Возможно, в этом одолении бюрократической косности и инспекторского неблаговоления ему немало помог Г. С. Саблуков, с которым Благодетель, как известно, поддерживал самые сердечные отношения. 19 июля 1845 г. консистория извещала правление семинарии о выдаче Благодетелю билета (прописного свидетельства) для проживания в Петербурге²⁸. Серапион оставил семинарию 14 февраля 1847 г. (за полтора года до ее окончания)²⁹, Александр — еще в 1839 г.³⁰. Таким образом, никто из Благодетельных так и не стал священником.

Решение Благодетеля выйти из семинарии совпало с размышлениями Николая Чернышевского о несообразностях духовного образования. 3 февраля 1844 г. в письме к петербургскому родственнику Чернышевский писал, что «разумеется, скучно в семинарии», и «если разобрать только, то лучше всего не поступать бы никуда, прямо в университет», «дрязги семинарские превосходят все описание»³¹. А в декабре 1845 г. он, как и его одноклассник по классу Г. С. Саблуколо, подал прошение об увольнении. Пример Благодетеля должен учитываться в ряду биографических фактов, поясняющих отказ Чернышевского от церковнослужительской карьеры.

²⁶ Там же, ед. хр. 1784, л. 41.

²⁷ Там же, ед. хр. 1657, л. 19.

²⁸ Там же, ед. хр. 1784, л. 42.

²⁹ См. там же, ед. хр. 2224, л. 6.

³⁰ См. там же, ед. хр. 2672, л. 21 об.

³¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 16-ти тт., т. XIV, М., 1949, с. 6.

ЗАМЕТКИ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

(К полемике Н. Г. Чернышевского с А. В. Дружининым)

Известно, что рецензия Н. Г. Чернышевского на «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского, появившаяся в № 4 «Современника» за 1857 г., пронизана скрытой полемикой со статьей А. В. Дружинина, опубликованной на три месяца раньше — в № 1 «Библиотеки для чтения». «Предполагаемая статья» о Писемском, автор которой не знает ни эстетики, ни истории русской литературы, — это и есть статья Дружинина, в которой он стремился противопоставить творчество Писемского «гоголевскому направлению».

Еще до выхода «Современника», 31 марта 1857 г. И. И. Панаев писал В. П. Боткину, что «Чер<нышевский> отдал лично Дружинина, не называя его по имени — умно и дельно»¹. Д. В. Григорович в письме от 4 мая 1857 г. сообщил Панаеву: «Пришел я <в> полное восхищение от статьи Ник<олая> Гаврилов<ича> о Писемском, или, вернее, о статье Дружинина по поводу Писемского. Каждый из нас, в ком сильно сидит известного рода взгляд и направление, вероятно, разделит мое чувство. На днях напишу Чернышевскому, — а теперь поблагодарите его от меня за умную и благородную статью»².

Но смысл рецензии был понят также лицами, не входившими в круг «Современника». Это нашло отражение в печати. Укажу в этой связи на факт, кажется не отмеченный в научной литературе. В «Обзоре литературных журналов», напечатанном в «Сыне отечества», в той его части, которая посвящена «Современнику», читаем:

«В «Библиографии» хорошо разобраны «Очерки из крестьян-

¹ Тургенев и круг «Современника». М.—Л., 1930, с. 417.

² Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1969 год, Л., 1971, с. 84.

янского быта» г. Писемского и указано на ложную точку, с которой смотрел на эту книгу редактор «Библиотеки для чтения». Рецензент «Современника» доказывает немного жестко, но справедливо, что г. Дружинин в своей статье о г. Писемском обнаружил незнание самых осязательных фактов в истории нашей литературы, даже последних десяти лет, совершенно ложное понимание гг. Белинского и Писемского, странность новой теории «Библиотеки для чтения» и т. д. Не понимаем только, почему рецензент «Современника» не высказал своего мнения прямо и откровенно, а толкует о предполагаемой статье, говорит намеками и обиняками о том, что всякий следящий за журналами прочел в прошлом месяце»³.

Н. Г. Чернышевский в цензуре

1

Среди цензурных материалов о журнале «Оса» есть донесение члена Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания О. А. Пржецлавского, в котором упомянут роман Чернышевского «Что делать?». Оно написано в связи с появлением на страницах «Осы» в сентябре 1863 г. «Современной трагедии в трех монологах». Это плоское стихотворение показалось Пржецлавскому весьма предосудительным; оно, по его мнению, могло оказать вредное влияние на читателей. Пржецлавский писал:

«Я думаю, что если чувство уважения к публике, чувство общественных приличий умолкло у писателей и редакторов журналов, то оно тем более должно быть всегда присуще той власти, которая обязана наблюдать за правильным ходом литературы. Но, к сожалению, власть эта продолжает с некоторого времени находиться под гнетом опасения, чтобы ее не сочли за *отсталую*, за не довольно *современную*, и это располагает ее к излишней, не совсем должной снисходительности. Вследствие этого русская литература последних годов в нравственно дурном направлении опередила словесности таких народов, у которых даже нет цензуры. В подтверждение этого строгого суждения довольно указать на романы «Подводный камень» и «Что делать?», где то, что на обыкновенном языке называлось развратом, проповедуется *ex professo*⁴ и возводится на степень общего закона человеческой природы, который доньше был подавляем непониманием и предрассудками. После этого неудивительно, что пропускают такие вещи, как прописанные выше стихи»⁵.

Стихотворение, явно направленное против «нигилизма»,

³ «Сын отечества», 1857, № 18, 5 мая, с. 418—419.

⁴ С полным знанием дела, обстоятельно (лат).

⁵ Центральный государственный исторический архив СССР (далее ЦГИА), № 774, 1863, № 30, л. 7 об. — 8.

было осмыслено Пржецлавским как выражение нигилистических идей. Сделал ли он это из тактических соображений, чтобы иметь возможность еще раз лягнуть роман «Что делать?», или действительно так думал — не вполне ясно.

До рапорта, цитата из которого приведена выше, Пржецлавский написал официальные отзывы, специально посвященные «Что делать?»: в спокойном тоне, сдержанный — о части романа, напечатанный в № 3 «Современника» за 1863 г., и резко отрицательный — о части, напечатанной в № 4, в котором утверждал, что Чернышевский проповедует «чистый разврат»⁶. Кроме того, в газете «Голос» он поместил большую статью «Промаях в изучении новых людей (По поводу романа «Что делать?») за подписью Ципринус⁷.

Следует подчеркнуть, что в рапорте об «Осе» Пржецлавский осуждает цензурные органы за чрезмерно снисходительное отношение к литературе. Не содержится ли здесь и признание собственной ошибки — что сам он не сразу распознал идейный смысл романа Чернышевского?

«Подводный камень», названный Пржецлавским рядом с «Что делать?» — роман М. В. Авдеева, опубликованный в «Современнике» за три года до этого — осенью 1860 г. Это был отклик на актуальную в те годы проблему женской эмансипации, но трактовалась она Авдеевым в духе жорж-сандизма 1840-х годов. Женская эмансипация сводилась им к свободе чувств и не связывалась с разрешением коренных социальных вопросов.

2

В журнале заседания С.-Петербургского цензурного комитета от 29 сентября 1865 г. имеется следующая запись:

«По докладу Еленева.

Рукопись:

а) Воспоминание о Чернышевском. Дума в стихах, Квашнина-Самарина,

б) Воспоминание о событиях 1863 г. Дума, Квашнина-Самарина.

Обе рукописи содержат в себе бессмысленные и неприличным языком выраженные ругательства, первая — на Чернышевского, вторая — на поляков, и сверх того касаются предметов, которые не могут подлежать разглашению среди черни, для которой обе рукописи и предназначены. Определено: согласно с докладом, как нарушающие цензурные постановления, означенные <...> рукописи к печатанию запретить»⁸.

Александр Александрович Квашнин-Самарин — стихотворец-графоман, сочинения которого часто запрещались цензурой. Разумеется, это делалось не из желания защитить Чер-

⁶ «Каторга и ссылка», 1928, № 7, с. 43—50.

⁷ «Голос», 1863, 4 июля, № 169.

⁸ ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 509, л. 272 об. — 273.

нышевского или участников польского восстания, а совсем по другим соображениям. Цензурный комитет считал, по-видимому, что подобные — столь же резкие, сколь и безграмотные в буквальном смысле слова — нападки достигнут противоположных результатов, а враждебные правительству деятели только выиграют в общественном мнении. В рукописном отделении Института русской литературы — Пушкинского дома Академии наук СССР хранится ряд таких сочинений Квашнина-Самарина 1862—1864 гг.⁹

3

В начале 1869 г. в незадолго до этого возникшей одесской газете «Новороссийский телеграф» появилась за подписью Зинаиды К-ер статья «Из нашего лагеря»¹⁰. Она посвящена вопросу о необходимости высшего женского образования в России, и в ней говорится в этой связи о «новых людях» из романа Чернышевского «Что делать?». Статья привлекла внимание цензуры. Член совета Главного управления по делам печати П. А. Вакар, наблюдавший за «Новороссийским телеграфом», представил в Главное управление такой рапорт:

«Заявление члена Совета П. А. Вакара.

В «Новороссийском телеграфе», в № 20, газете «политической, коммерческой и литературной», издаваемой с 1-го января с. г. в г. Одессе *Картамышевым* (он же и редактор) напечатана статья под заглавием: «Из нашего лагеря», подписанная «Зинаида К-ер».

Статья эта имеет предметом защиту прав женщин вообще и в особенности на посещение университетских лекций и написана, по-видимому, с целью возбуждения местных дам и девиц к ходатайству пред начальством Новороссийского университета о дозволении им слушать университетские лекции. Но, увлекаясь направлением, за которое осужден был автор известного сочинения «Что делать?», Зинаида К-ер жарко порицает *«литературных шавок, бессовестно поругавших самые благородные стремления молодежи»*, явившейся *«в новых типах Веры Павловны и Лопухова»*. Признавая, что *«женский вопрос тесно связан с вопросом молодого поколения вообще»*, г-жа Зинаида К-ер заявляет торжественно, что вопрос этот «поставлен на реальную почву и что он уже более не фикция, не пустая мечта прогрессивной партии, как это старались доказать наши *литературные клубничники* и весь хор отставных либералов». Рассказывая, что *русские женщины, которым дома не позволяют учиться и которых считали способными*

⁹ Шифр: 2515 и 2516. Там же, в архиве «Русской старины» имеется еще несколько подобных сочинений с пометой редактора журнала М. И. Семевского: «Сумасшедший» (ф. 265, оп. 1, № 3, лл. 661—667).

¹⁰ «Новороссийский телеграф», 1869, 14 февраля, № 20.

только родить детей да стряпать в кухне», доказали, к<ак>, напр<имер>, Закревская и Суслова, что у «женщин мозги устроены по-человечески», г-жа Зин<аи> да К-ер жалуется на отсталость нашего общественного мнения против Запада, где «уже пережили те *мономаховские идеи*, которые у нас еще не стыдятся проповедовать даже профессора на публичных лекциях». Прославляя американские учреждения, имеющие университеты для обоих полов и исключительно женские университеты, сочинительница статьи сознается, что «в Америке удобнее почва для посева новых идей», но прибавляет: «ведь есть же и у нас чернозем». — «Средние века и для нас, слава богу! миновались; монашеская же система повсеместного разделения полов есть продукт того времени — она нам уже не к лицу». Почему, делая воззвание к молодому поколению женского пола о подражении «нашим заатлантическим друзьям», г-жа З<инаи> да К-ер говорит: «*Смотреть нечего, что в Петербурге не позволяют*; быть может, совет Новороссийского университета взглянет на дело иначе»... «Здравый рассудок и опыт американских школ показывает, что *совместное обучение молодежи* может послужить первым и важнейшим средством для устранения тех *ненормальных отношений между мужчиною и женщиною*, которые главнейшим образом обуславливает нынешнее социальное положение женщины».

К этой статье редакция газеты прибавила от себя к слову г-жи З<инаи> да К-ер, выставившей «Екатерину Великую — как знаменитую государственную правительницу», следующее примечание под текстом:

«Еще более яркий пример, доказывающий высокие умственные способности женщин, видим мы в лице Елизаветы, королевы английской».

Находя настоящую статью по ее тенденциозности вообще и по сочувствию к идеям Чернышевского по «вопросу молодого поколения» в особенности, — недозволительною, тем более в подцензурной газете, долгом считаю заявить о ней Совету на тот конец, чтобы сделать надлежащее внушение цензору, пропустившему такую статью, а вместе с тем принять к сведению высказанное редакциею сочувствие автору.

Платон Вакар

25-го февраля 1869 г.»¹¹.

Цитаты из статьи «Новороссийского телеграфа», приведенные в рапорте П. А. Вакара, не вполне точны, однако смысл ее передан довольно верно. Она написана в очень решительном тоне. «Вспомним ужасный крик, который вызвало у нас

¹¹ ЦГИА, ф. 776, оп. 4, № 238, л. 20—21.

появление новых типов, — заявляет Зинаида К-ер, — сколько наглой клеветы посыпалось на Веру Павловну и Лопухова, как бессовестно были поруганы литературными шавками самые благородные стремления молодежи».

Следует отметить, что это лишь одна из целой серии аналогичных статей по «женскому вопросу». До нее, 9 февраля, за подписью: С. П-н появилась статья «О положении женщины» (№ 18); вслед за нею: *Impracticus*. Один из современных вопросов (23 февраля, № 24); З. К. (т. е. та же Зинаида К-ер), Опять из нашего лагеря (9 марта, № 32).

О Закревской и Сусловой в статье сказано: «Закревская, окончившая курс в одном из американских университетов, и Сулова, получившая в прошлом году диплом доктора медицины Цюрихского университета, красноречиво говорят в пользу доброкачественности мозгов и у русских женщин».

Сулова — это, конечно, Надежда Прокофьевна Сулова (1843—1918), первая в России женщина-врач, участница петербургских радикальных кружков 1860-х гг., состоявшая под полицейским надзором за открытое сочувствие «нигилизму» и связанная с эмигрантами.

4

Как известно, после издания 1865 г., выпущенного А. Н. Пыпиным без имени автора, «Эстетические отношения искусства к действительности» Н. Г. Чернышевского вышли только через двадцать восемь лет — в 1893 г. (тоже без имени автора). Но попытка их переиздать была сделана Л. Ф. Пантелеевым еще в 1888 г.¹²

4 мая 1888 г. А. Н. Майков — в то время председатель Комитета цензуры иностранной — писал своим сыновьям:

«Отсюда (от издателя А. Ф. Маркса. — И. Я.) в Глав-
<ное> Правл<ение> на заседание, где между прочим шел вопрос — позволить ли сделать новое издание его «Эстетических начал», о чём просят. Судили, прибежали к законам. Я предложил решение: тут главное надо обсудить. Полезно ли будет вновь издание этой книги (1862 г.), которая шла параллельно с пропагандой, пожарами и пр., которая произвела Зайцева, Писарева и др., и все поколение 60-х годов на ней воспитывалось, — или не полезно и — сообразно с тем решить. Конечно, решили не позволить»¹³.

В своих воспоминаниях о Чернышевском Л. Ф. Пантелеев писал: «Через А. Н. Пыпина я снесся с Н. Г., и он выслал эк-

¹² Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 16-ти тт., т. 15. М., 1950, с. 654, 659, 666—668; Чернышевский Н. Г. Лит. наследие, т. 3. М., 1930, с. 597, 607.

¹³ Рукописный отдел Пушкинского дома, ф. 168, № 17892 а2, л. 33 об. — 34.

земляр старого издания, кое-где исправленный и с новым предисловием. <...> С книгой пришел ко мне М. Н. Чернышевский. Увидев новое предисловие, я хотел было прочесть его <...> но М. Н. успокоил меня, что, конечно, Н. Г. очень хорошо знает порядки нашей цензуры <...> Я не счел себя в праве настаивать, хотя в начале предисловия и заметил одно щекотливое место, где Н. Г. говорил, что основные идеи книги не принадлежат ему, а идут от Фейербаха. И вот, как я потом узнал, именно благодаря предисловию и главным образом ссылке на Фейербаха книга не была разрешена к переизданию»¹⁴.

Письмо Майкова свидетельствует о том, что дело было не в одном упоминании имени Фейербаха. Характерно, кстати сказать, что Майков ошибочно датирует «Эстетические отношения» 1862 годом — годом петербургских пожаров, прокламации «Молодая Россия» и пр.

5

В цензурном деле «Русской старины» находится следующий доклад члена Главного управления комитета по делам печати Ф. П. Еленева:

«В доставленном мне вчера № 1-м «Русской старины» на 1892 г. помещено продолжение биографии Чернышевского. В этой статье нет ни одного выражения, которое, будучи рассматриваемо отдельно, подавало бы повод к какому-нибудь замечанию; но вся статья направлена к тому, чтобы посредством идеализации личности Чернышевского, привлечь к ней сочувствие и уважение читателей. Не говоря уже о том, что имя Чернышевского стоит во главе развратителей целых поколений нашей молодежи и занесено в списки государственных преступников, личность эта сама по себе была крайне мерзкая <?> для которой не было ничего святого и уважаемого, кроме собственного превозношения. След<овательно> статья эта заключает в себе и косвенную пропаганду учения Чернышевского и прямую фактическую ложь. Она, по-видимому, написана по рецепту Петра Лаврова, преподанному в «Вестнике Народной воли»: «Нужны энергические, фанатические люди, рискующие всем, легенда о которых переросла бы далеко их истинное достоинство, их действительную заслугу. Им припишут энергию и добродетели, которых у них не было: в их уста вложат мысли и чувства, до которых доработаются лишь их последователи: зато легенда о них одушевит тысячи той энергией, которая нужна для борьбы с правительством. Никогда не сказанные слова будут повторяться; мысль, никогда не одушевлявшая оригинал идеальной фигуры, воплотится в дело позднейших поколений. Число гибнущих тут не

¹⁴ Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 472—473.

важно: легенда всегда их размножит до бесконечности». Я полагаю, что подобные развратительные легенды о корифеях нашего нигилизма не должны быть у нас допускаемы, потому что наша молодежь до слез с жадностью ловит все отголоски их учений и благоговет пред их именами. Если б подобная легенда появилась напр<имер>, о самом Петре Лаврове, то она несомненно была бы остановлена цензурой. Какое же преимущество может иметь пред ним Чернышевский? Находится ли какой-нибудь враг общества и государства на том берегу Стикса или на том берегу Немана и Вислы, идеализация их личности имеет одинаковые последствия. В следующих главах, обещанных Семевским, эта идеализация Чернышевского пойдет еще далее. Поэтому я полагаю, что необходимым теперь же пресечь помещение этой неуместной биографии и для этого задержать № 1-й «Русской старины», о чем и считаю долгом довести до сведения Вашего превосходительства.

Ф. Еленев

24 декабря 1891 г.»

Речь идет о работе саратовского педагога, краеведа и книгопродавца Ф. В. Духовникова, начало которой помещено в № 9 «Русской старины» за 1890 год.

На докладе Еленева надпись начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова: «Получено мною сейчас от Ф. П. Еленева. Я уже указывал на эту статью, — действительно, она дурного свойства».

На следующий день председатель цензурного комитета Е. А. Кожухов поручил цензору Н. И. Пантелееву отправиться к Семевскому и передать ему, что «статья о Чернышевском должна быть исключена из январской книжки «Русской старины»; в противном случае мы будем вынуждены задержать ее выход официальным путем».

Листы с биографией Чернышевского и «Записками» (т. е. дневником) П. А. Валуева, также изъятыми из журнала¹⁵, были перепечатаны, и январский номер вышел в свет. Вместо исключенного материала были вставлены: сообщение Н. К. Шильдера «Россия и русский двор в 1839 г. Записки французского путешественника де Кюстина»; «Петр Великий в рассказах Нартова»; Б. К. Кукель, «Из эпохи уничтожения откупов»; сообщение В. Чехихина «Сперанский под цензурою 1844 года»¹⁶.

¹⁵ Дневник П. А. Валуева за 1847—1860 гг. печатался в «Русской старине» в 1891 г. (№№ 4—11), но дальнейшая его публикация была приостановлена цензурой.

¹⁶ ЦГИА, ф. 777, оп. 2, 1869, № 65, ч. 2, л. 67—76.

А продолжение работы Духовникова появилось в той же «Русской старине», но через двадцать лет, уже после смерти автора. В предисловии к этой публикации А. А. Лебедев сообщил: «Между тем автор продолжал свои разыскания: были написаны еще две больших тетради, и вот в 1891 г. для «Русской старины» была уже набрана часть этого материала. Но «случилась случайность»: цензура усмотрела крамольный оттенок статьи, выразившийся в пользовании недозволённым в то время романом «Что делать?». Статья была прекращена печатанием»¹⁷. Как видим, Лебедев излагает факты не совсем точно: во-первых, часть материала была не только набрана, но уже напечатана, во-вторых, и «крамолу» цензура усмотрела не в том, о чем он пишет.

Еленев цитирует (неточно) статью Лаврова «Социальная революция и задачи нравственности»¹⁸. Но этот текст представляет автоцитату из «Исторических писем» Лаврова (письмо 8-е).

¹⁷ «Русская старина», 1910, № 12, с. 501—502.

¹⁸ «Вестник Народной воли. Революционное социально-политическое обозрение», № 4. Женева, 1885, с. 44.

ЧИТАТЕЛИ О РОМАНЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ!»

Можно утверждать, не боясь ошибиться, что ни один роман в русской литературе XIX века не вызвал такой полемики, как «Что делать?» Чернышевского.

Характерной особенностью этой полемики было совершенно неравноправное положение спорящих сторон. Любые высказывания, направленные против этого романа — от злобно-клеветнических до сдержанно-умеренных — легко проникали в печать. Зато защитники романа печатной трибуны не имели. Их статьи никогда бы не пропустила цензура, а сами авторы сразу попали бы в зону внимания III Отделения.

В этих условиях особое значение приобретает единственно возможный вид читательской реакции — пометы на тексте романа.

Читатель не просто читал роман; читая, он был не в силах удержаться от того, чтобы, нарушая строгие библиотечные правила, не делать различных надписей. Эти исполненные экспрессии пометы выражали полным голосом мнение о романе. Перед нами не развернутая критическая статья, а мгновенная читательская реакция по поводу того или другого места: она, в иных случаях, не менее значима, чем подробно аргументированное мнение критика. Стоит напомнить, что анализ читательских глосс на старинных рукописях и книгах — того же происхождения; в данном случае, перед нами драгоценнейший материал для характеристики взглядов читателя, жившего сто пятнадцать лет тому назад.

Настало время, когда мы не только имеем право, но обязаны собрать и сохранить для потомства читательские заметки на полях романа «Что делать?». Сделанные по преимуществу наспех, карандашом, они (не покрытые, подобно царским резолюциям, лаком) уже сегодня читаются не полностью и с трудом. Пройдет еще немного времени, и они вовсе угаснут. Несколько помет уже сейчас в таком состоянии, что воспроизводить их не имеет смысла.

Для этого сообщения использованы, в первую очередь, по-

меты, сделанные на экземпляре Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина¹. Кроме того, представляют интерес заметки на полях экземпляра, принадлежавшего А. Ф. Отто-Онегину (непереплетенные вырезки, ныне — в библиотеке Пушкинского дома Академии наук СССР). Другой экземпляр Пушкинского дома помет почти не имеет. Не имеет помет и экземпляр Библиотеки Академии наук СССР в Ленинграде; очевидно, строгий надзор в читальном зале не давал этой возможности, и степенный читатель этого закрытого для широкой публики книгохранилища компенсировал себя только многочисленными экспрессивными отчеркиваниями на полях, подчеркиваниями отдельных строк, вопросительными и восклицательными знаками.

Обязательный экземпляр Государственной публичной библиотеки (только им библиотека и обладала) читался долго, и свидетельством политической актуальности романа могут служить пометы, датированные даже 1882 и 1902 гг. Другие замечания даты не имеют и порою представляют собой полемику друг с другом.

Так, прочитав первую главу романа («Современник», 1863, № 3, с. 54—43)², находим первую карандашную помету: «Покамест <?> очень хорошо сверх <нрзб>». Далее чернилами дописано: «Да будут прокляты те, которые погубили тебя, изверги, злодеи. 17 февраля 1882 г.».

На следующей странице вдоль подчеркнутых слов «Так бывало прежде, потому что порядочных людей было слишком мало» надписано: «Я вам не поверю! Тогда было гораздо больше чем теперь!».

На с. 60 (47) подчеркнуты слова: «Но кутеж <Лопухова> был следствием тоски от невыносимой нищеты», надписано философическое: «Бывает».

Реакцию читателя вызывают, как и следовало ожидать, социально-острые места романа. Так, на с. 72 (56) против размышлений Верочки: «Да, вот хорошо будет, когда бедных не будет» и т. д. чернилами надписано: «Когда же их не будет?!»

Полемическая острота романа не была утрачена и в начале XX века. На с. 95 (74) против заключения § 10 — полемических слов о нынешней молодежи, иначе относящейся к женщине, нежели традиционно принято, — надписано: «Да

¹ Они упомянуты в книге П. С. Рейфмана «Н. Г. Чернышевский. 12.VII.1828 — 17.X.1889. (Эстетическое, историко-литературное, литературно-критическое наследие. Чернышевский-беллетрист)». Тарту, 1973, с. 79 (Ротапринт). Одна из помет опубликована А. М. Гаркави (см.: Гаркави А. М. Надпись неизвестного читателя. В кн.: Жанр и композиция литературного произведения. Вып. I. Калининград, 1974, с. 155); другие многочисленные пометы на этом экземпляре не привлекли внимания исследователя.

² Рядом со страницей по «Современнику» приводится страница по Полному собранию сочинений, (т. XI, М., 1939).

не теперь, господа! 1902 год.» Лопухов хочет взять из рук Веры Павловны и понести ее пакет (с. 105—82): читатель отмечает: «Какая мелочн<ость>» — дальше текст обрезан при позднейшем переплете.

Читатель-нигилист не одобряет желания Лопухова поцеловать руку Верочки и на полях (с. 119—93) пишет: «Ерунда». На следующей странице, там, где Верочка продолжает рассуждать на ту же тему (слова: «гораздо выше ее»), полемически замечено: «А не ниже?»

В заключение § 23 главы II (перед «Похвальным словом Марье Алексеевне», с. 140—108) читатель так резюмирует ее характеристику: «При успешных обстоятельствах М<арья> А<лексеев>на была бы передовою женщиною». Другими словами — перед нами нечто вроде социально детерминированной оценки обстоятельств развития человека в обществе.

В заключение главы II (с. 142—110) есть надпись, отчасти повторяющая сделанную в начале: «Да будут прокляты загубившие тебя, столь нужного для нас честного деятеля» (она воспроизведена в заметке А. М. Гаркави).

В главе III («Современник», № 4 с. 381—116), когда «генерал» (т. е. Серж) поцеловал руку Веры Павловны, неутомимый читатель замечает: «Чужому можно, а своему нельзя?» Вера Павловна позволяет целовать свою руку и друзьям Лопухова, и тот же читатель опять пишет: «Ерунда» (с. 407—137).

Не все слова философского лексикона могли быть понятны, и некий эрудит (на с. 409—138) против слова «неконсеквентности» поясняет — «непоследовательности».

Рассказ о том, как Лопухов положил в канаву невежупрохожего, вызвал эмоциональную надпись (с. 415—143): «Молодец» (надпись затерлась и читается с трудом).

Тут же описывается, как Кирсанов держал за горло оскорбившего его «молокососа». Один читатель замечает: «Дельно», но другой с ним не согласен и пишет что-то вроде: «Натяжка» (с. 416—143).

Когда Кирсанов не дает Насте Крюковой пить вино, а предлагает ей чай, читатель снова одобряет: «Молодец» (с. 429—154). Когда Кирсанов объясняет заболевшей Крюковой, что пить «мало веселья», читатель опять активно его поддерживает: «Молодец, Кирсанов» (с. 430—155).

На с. 439 (161) упомянута Бичер-Стоу, а на полях пояснено: «Хижина дяди Тома».

На с. 469 отчеркнута большая ее часть (конец главы, § 22 «Теоретический разговор») и написано: «Блистательно! Отлично!»

Рахметов, как известно, месяцами не ел «никакого фрукта, ни куска телятины» (с. 491—201) — эрудированный в вопросах питания читатель замечает: «Надо бы!»

И в завершение главы III снова, но уже чернилами: «Да будут прокляты те, которые погубили тебя, столь необходимо-го деятеля того времени. 26 февраля 1881 г.» Если в годе не описка, выходит, что эта надпись сделана раньше, чем первая (см. выше), но, вероятнее, надо читать: «1882 г.»

В IV главе отчеркнут анекдот, как некто представлялся: «а я муж г-жи Тедеско», и читатель наставительно замечает: «Верочка, вы забываетесь» (№ 5, с. 71—241). Трудно понять, что показалось непривычным в этом невинном рассказе.

Вера Павловна в письме к «отставному медицинскому студенту» упоминает, между прочим, как мог Кирсанов «удовлетворить претензиям общества» (с. 72—242). «К черту эти претензии», — замечает читатель, презирающий условности.

Своеобразная полемика касается силы женского организма — разговор Веры Павловны с Кирсановым (с. 87—253). Слова: «Из этого видно, что женский организм крепче» — вызвали надпись: «Ничего тут не видно». Но другой читатель полемически замечает: «Вот болв<ан>, как же не вид<но>».

Вера Павловна радуется, что «нашла себе дело» (с. 94—252). Внимательный читатель не упускает случая заметить: «А теория эгоизма-то? Ведь нет жертвы!»

Еще одна полемика возникла на с. 95 (259): «Нам тесно на этой единственной дорожке», — говорит Вера Павловна о профессии гувернантки. «Быть у торговли», — замечает читатель. Далее Вера Павловна говорит: «Это было бы очень важно, если бы явились наконец женщины-медики». Первая помета гласит: «Теперь есть и слава богу». Рядом: «Теперь есть медички, но все они к черту не годятся». Следующий читатель резюмирует: «Глупо».

В «Отступлении о синих чулках» (с. 101—264) выпад против синих чулок-мужчин сопровождается на полях пометой «Браво».

Против слов: «Так живут мужья и жены из нынешних людей» — «Правда» (с. 103—265).

Тут же, на полях: «Это возможно только при тех условиях, в какие автор поставил прежде Веру Павловну. Счастье такое может быть продолжительно только при ненор<мальном> и невыносимом для» (три слова, заканчивающие надпись, не разобраны). Сверху надпись — «Чушь».

В четвертом сне Веры Павловны (с. 112—271), где слова: «является перед ними Аспазия, эта обвиненная...» и т. д. написано: «Чушь». Против: «Ту царицу звали Афродита» — исправлено «Аспазиею». А на верху страницы, там, где речь идет об Ареопаре: «Не перед Ареопа<гом>, а пред судом присяжных. Впрочем, все равно».

Против слов: «на юге далеко идет земля» читается начало надписи: «Фантазия» — далее обрезано при переплете.

В конце § 10 (с. 127—283) надписано: «Рай, рай! Вот где он и нигде пока больше».

А против следующего параграфа (с. 128—284) кем-то надписано: «Внемлите гласу брата нашего и скоро, скоро, все это будет не во сне, а наяву». Другой читатель-скептик к слову: «гласу» сделал сноску и дописал: «вопиющего в пустыне».

Читатель изучал роман с максимальным вниманием: он тщательно следил за всеми перипетиями развития сюжета и, усмотрев якобы противоречие; сразу его отмечал. В § 2 главы V (с. 139—292) сообщается, что в приданое за Полозовой отец сулит четыре миллиона рублей. Невнимательный читатель отмечает мнимое противоречие: «Да ведь миллионы-то были уже растрочены. Как же это?».

В объяснении Полозовой с Бьюмонтом (с. 165—312) она произносит такие слова: «Дайте людям хлеб, читать они научатся и сами». «Клеве<та>», — замечает тут же другой читатель.

Вообще надо иметь в виду, что читатель бывал всякий. Неверно было бы думать, что роман изучали только адепты революционно-демократической мысли. Иные открыто выражали и свое негодование. К их числу относится читатель экземпляра А. Ф. Отто-Онегина. В главе «Особенный человек» против слов, которыми Рахметов выражает согласие посетить нужного ему господина в половине четвертого ночи (№ 4, с. 495—204) карандашом надписано: «Гни сказку готовую, как дугу черемховую!» В той же главе, где описывается, как Рахметов остановил лошадь, понесшую коляску с дамой, и потом выздоравливал после ушибов — той же рукой: «Гни, брат, гни! Врать, так врать, чтобы стены качались» (с. 499—208). Вскоре, там, где описывается путешествие Рахметова по Западной Европе, тою же рукою написано: «Но это был П. А. Ровинский, а не Рахметов» (с. 501—209) — эта глосса (мы не знаем, кем и когда она сделана) выдает осведомленность читателя: он, очевидно, был в курсе некоторых дел и биографий видных деятелей русского освободительного движения тех лет.

Стоит еще отметить, что в названном выше экземпляре Пушкинского дома Академии наук СССР (№ 3, на с. 41 (32) против слов: «не хочу никому поддаваться...» надписано: «И я хочу этого» <?>. Немного ниже, на той же странице против слов: «вот это разврат» — замечено: «Верно».

Смысл полемики вокруг знаменитого романа уже не раз был раскрыт в нашей исследовательской литературе, и приведенные здесь надписи отнюдь не открывают ничего неожиданного, но дополняют всем нам и ранее известное несколькими живыми чертами. Перед нами ярко и выразительно звучат почти ожившие голоса сторонников, а иногда и противников «нового» учения.

Н. С. ТРАВУШКИН

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В США

(Прижизненные издания и материалы печати)

В июне 1881 г. якутский губернатор задержал письмо на английском языке на имя Н. Г. Чернышевского, отправленное из Нью-Йорка. Препровожденное в департамент полиции¹, оно, вероятно, затерялось в его бездонном архиве и до сих пор не попало в руки исследователей. А между тем письмо является свидетельством того, что слава Чернышевского к этому времени шагнула за океан.

Первым, пожалуй, указал на известность Чернышевского в США А. Н. Тверитинов. В своих воспоминаниях, выпущенных в 1906 г., он называет два издания романа «Что делать?», рассказывает, со слов Л. Б. Гольденберга, о митинге, который был созван в Нью-Йорке, когда там стало известно о смерти Чернышевского, и о сборе денег на памятник². В том же году М. Н. Чернышевский приложил к X тому собрания сочинений своего отца библиографический указатель, перечислив в нем около десяти иностранных изданий, и в том числе назвал один из американских переводов «Что делать?»³.

¹ Серебренников А. М. Н. Г. Чернышевский в Вилюйске. — «Сибирский архив», 1912, № 8, с. 606.

² Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому, о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе и о многом другом. Воспоминания Алексея Тверитинова. СПб., 1906, с. 97. По-видимому, со слов Тверитинова в значительной части написана В. И. Семевским относящаяся к девяностым годам «Заметка о переводах сочинений Н. Г. Чернышевского на иностранные языки и об отзывах о них в иностранной печати», хранящаяся в архиве журнала «Русская старина» (Отдел рукописей Института рус. литературы АН СССР, ф. 265, оп. 2, № 3047). Имя и фамилия Тверитинова здесь зачеркнуты — еще свежа была память о его участии в народовольческом движении.

³ Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского в 10 томах. Т. X, ч. 2. СПб., 1906, с. 140.

В последующих публикациях этого указателя⁴ сведений об иностранных изданиях уже нет: полный и точный их учет представлял для библиографа большие трудности.

В советское время по интересующему нас вопросу находим краткие и не всегда точные (из-за опечаток в датах) сведения в обзорах М. Клевенского и М. П. Алексеева⁵. Интересна документальная публикация И. Ф. Ковалева о панихиде в память Н. Г. Чернышевского в 1880 г., когда в иностранной печати распространился ложный слух о его смерти⁶. В связи с панихидой в двух американских газетах были напечатаны статьи о Чернышевском — о его политическом значении, о его судьбе.

Но все эти данные не дают еще достаточно широкого и конкретного представления о том, как воспринимался Чернышевский в США, как и кем издавались его произведения.

* * *

Первоначально, надо полагать, имя Чернышевского в США было известно лишь в кругах эмигрировавших из России участников революционного движения; со временем оно проникает и в американскую печать.

Особенно богаты и содержательны материалы, опубликованные с 1881 г. в бостонском журнале «Либерти» («Liberty»). Материалы эти, как и некоторые другие зарубежные публикации о Чернышевском, ускользнули от внимания исследователей.

Журнал «Либерти» был основан в августе 1881 г. Бенджаменом Рикетсоном Такером. Поклонник Бакунина, он выпускал свой журнал под анархистским девизом из Прудона: «Свобода не дочь, а мать порядка»⁷. В каждом номере Такер помещал свои статьи, дискуссионные заметки, комментарии к письмам читателей и т. п. Все это впоследствии вышло в виде

⁴ Библиографический указатель статей о Н. Г. Чернышевском и его сочинениях за время 1854—1909. Составил М. Н. Чернышевский. Спб., 1909; О Чернышевском. Библиография. 1854—1910. Составил М. Н. Чернышевский. Изд. 2, испр. и значит. дополн. Спб., 1911.

⁵ Клевенский М. Н. Г. Чернышевский в нелегальной литературе 60—80 годов. — «Лит. наследство». Т. 25—26. М., 1936; Алексеев М. П. Н. Г. Чернышевский в западноевропейских литературах. — В кн.: Н. Г. Чернышевский (1839—1939). Труды научной сессии. К пятидесятилетию со дня смерти. Л., 1941.

⁶ Ковалев И. Ф. Панихида отца Биерринга в память Николая Чернышевского. — «Лит. наследство». Т. 67, М., 1959.

⁷ Комплект журнала «Liberty» из коллекции немецкого последователя анархизма Джона Генри Маккея, с его экслибрисом и автографом, имеется в Библиотеке Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

объемистого тома под заглавием «Вместо книги»⁸. Б. Такер — переводчик сочинений Прудона, при издании которых американские анархисты поднимали немалый рекламный шум. По этому поводу Ф. Энгельс в письме социалистке Ф. Келли-Вишневецкой заметил: «...я сомневаюсь, стоит ли уделять внимание творениям г-на Такера»⁹.

В то же время журнал Такера не был лишен достоинств: он давал богатую информацию о мировом революционном движении, много внимания уделял русским революционерам. Здесь было опубликовано воззвание П. Л. Лаврова и В. Засулич о сборе средств в фонд Красного креста «Народной воли» и из номера в номер сообщалось о поступлении пожертвований.

В «Либерти» печатался Б. Шоу; был помещен очерк Э. Золя о цензурных мытарствах драмы «Жерминаль»; У. Моррис представлен знаменитым «Маршем рабочих». Печаталась здесь и классика революционной поэзии: французская ««Ça ira»», «Песнь низших классов» Э. Джонса, «Ткачи» Гейне, «Песня рабочих» П. Дюпона. Из «Вестника Народной воли» перепечатан «Порог» Тургенева с посвящением Софье Перовской. Любопытно, что в журнале появилась даже басня И. Хемницера «Лев, учредивший совет».

Имя Чернышевского появляется впервые в № 5 «Либерти» от 1 октября 1881 г. Здесь напечатано сообщение о Венском международном конгрессе литераторов, на котором обсуждалось предложение ходатайствовать перед царем об амнистии Чернышевскому. Далее, в № 7 от 29 октября писателю посвящен особый абзац в рубрике «О людях прогресса». Ранее здесь были сообщения о Гарибальди, В. Гюго, П. Кропоткине и других участниках освободительного движения.

«Чернышевский, — читаем в заметке, — находящийся в заключении, об освобождении которого один из делегатов Международного литературного конгресса предлагал подать петицию, своим романом, печатавшимся в 1861—1862 гг., дал первый импульс движению, получившему позднее название нигилизма. Восемнадцать лет он находится в Восточной Сибири, в принадлежащем царю огромном районе рудников, двенадцать лет был в буквальном смысле прикован цепью к тачке в течение дня и к стене камеры — ночью. Обращение с узником позднее несколько смягчилось, но оно сильно сказалось на нем: хотя ему только пятьдесят лет, выглядит он ста-

⁸ *Instead of a Book: by a man too busy to write one.* Boston, 1893. Книга эта была переведена на русский язык и вышла с биографией автора и его предисловием к русскому изданию: *Такер Вениамин.* Вместо книги. Написано человеком, слишком занятым, чтобы писать книгу. М., 1908. В связи с усилением анархистских тенденций в современном мире книга в 1969 г. переиздана в США.

⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 588.

риком. Петербургский корреспондент «Weserzeitung» сообщает, что царь, под воздействием выступлений на венском конгрессе, намерен помиловать русского литератора».

А вот что было напечатано в «Либерти» 21 января 1882 г.: «Письмо из Европы. Место ссылки Чернышевского меняется уже в четвертый раз. Читатели помнят, что Международный литературный конгресс в Вене принял решение просить царя об освобождении несчастного писателя. Официально царь дал на это согласие, но в тот же день приказал перевести ссылку в самую дальнюю местность Северной Сибири на берегу моря, скованного вечными льдами. Здесь он был помещен под присмотр каких-то диких эскимосов, так как даже русские казаки не в состоянии переносить тамошний климат. И ныне, даже если он получит свободу, Чернышевский уже мертв для нашего дела, ибо только тело его живет».

Эти публикации, со всеми их неточностями и преувеличениями, все же в какой-то мере характерны для международной известности Чернышевского в то время. Они отражали, пусть и в сенсационном тоне, подлинный трагизм положения человека, переживавшего по воле царизма самые суровые годы поселения в Виллюйске.

11 ноября 1882 г. «Либерти» снова рассказывает читателям о судьбе Чернышевского, пользуясь при этом публикацией «русского журнала, выходящего в Женеве». Ссылка эта, несомненно, относится к сборнику «На родине» (№ 1—2)¹⁰. В нем ошибочно утверждается, что место поселения Чернышевского — Верхнеколымск (в «Либерти» — «Колымск»). Но в остальном рассказ об образе жизни писателя достаточно достоверен: в крошечном городишке он пользуется всеобщим уважением, перед ним преклоняются за его ум, редкую гуманность и поистине святую жизнь, по ночам он пишет что-то и потом уничтожает и т. д.

Факт перепечатки в американском журнале заставляет поновому взглянуть на издания вольной русской печати: каким бы малым ни был тираж, какие бы трудности ни возникали при распространении, вольное слово находило своих читателей и отзывалось во всем мире. Сообщение сборника «На родине» было перепечатано не только журналом «Либерти», но и в Женеве газетой «Der Baltische Föederalist», оттуда немецким «Социал-демократом»¹¹ и т. д.

Но самый примечательный факт в интересующей нас дея-

¹⁰ См.: Сводный каталог нелегальной и запрещенной печати XIX в. М., 1971, с.835.

¹¹ См.: Вольф Дювель. Чернышевский в немецкой рабочей печати (1868—1889). — «Лит. наследство». Т. 67, М., 1959, с. 183. Здесь местом издания сборника считается Лондон: так обозначено на самой брошюре ее женеvскими издателями, видимо, в целях конспирации.

тельности журнала — 17 мая 1884 г. началось печатание романа «Что делать?» в переводе с французского издания А. Тверитинова. В предисловии переводчик — Б. Такер — напоминает читателям о выступлениях в защиту Чернышевского на Венском конгрессе литераторов, сообщает об обстоятельствах написания романа, о его месте в ряду знаменитых произведений русской прозы. Печатание романа растянулось на целых два года. По окончании публикации журнал на протяжении июня—июля 1886 г. помещает большой очерк «Жизнь Чернышевского и его процесс». Это перевод статьи из известного эллипидинского издания романа. В конце очерка переводчиком добавлены сведения о жизни Чернышевского после 1871 г.: Вилюйск, перевод в Астрахань, интервью английскому корреспонденту, посетившему писателя после возвращения из Сибири.

Тогда же, летом 1886 г., в «Либерти» печатаются объявления о выходе романа «Что делать?» отдельной книгой. Реклама дается в броском, чисто американском стиле, воздержались только от восклицательных знаков:

«Что делать?» Нигилистический роман Н. Г. Чернышевского. С портретом автора. Перевод Б. Р. Такера. Написан в тюрьме. Запрещен царем. Автор более двадцати лет находился в ссылке в Сибири. В русском издании экземпляр романа стоит 600 долларов. Первое американское издание разошлось за четыре дня. Роман выходит вторым изданием. Элегантный том в 300 страниц».

Крайне интересны помещаемые с этой рекламой выдержки из отзывов прессы («Press Comments»).

«Это — произведение, которое с наибольшей, быть может, силой влекло русскую молодежь на путь нигилизма; оно примечательно именно тем, что сыграло такую важную роль в политической и социальной истории нашего столетия» («Boston Courier»).

«Нам показано идеальное общество будущего, абсолютно свободное от цепей закона и контроля. Цель автора, как он указывает в предисловии, увеличить число людей, каких он описывает, и следует признать, что это ему удалось в большей мере, чем он ожидал. Хотя книга строжайше запрещена в России, вряд ли там найдутся молодые люди обоего пола, учащиеся в университетах и гимназиях, люди, которые не читали бы, — нет, которые не заучили бы наизусть это наиболее гонимое из произведений литературы» («New York World»).

«Действующие лица так сильно и живо обрисованы, что интерес к их судьбе все более возрастает по мере развертывания повествования» («Boston Saturday Evening Gazette»).

«Роман «Что делать?» достоин стоять рядом с «Отцами и детьми» и «Анной Карениной» («Boston Traveller»).

«Не будет преувеличением назвать эту книгу «Хижинной дяди Тома нигилизма» («Boston Advertiser»).

«Как изображение народной жизни роман бесценен; нет другой такой картины России, которую можно было бы поставить рядом» («Providence Star»).

Повторные издания, предпринятые Такером, также свидетельствуют об успехе романа¹².

В журнале «Либерти» нередко появлялись статьи за подписью «Виктор Яррос». В 1884 г. Такер издал его брошюру о целях и тактике анархизма, при отъезде доверял ему редактирование журнала. Найденное нами в архиве П. Л. Лаврова письмо Виктора Ярославского от 12 августа 1886 г. позволяет раскрыть псевдоним, установить источник интереса к русской литературе, который так явно проявился в бостонском журнале. Вот это письмо, обращенное к Лаврову:

«Редактор журнала «Liberty» (Boston, Benj. R. Tucker) просит меня перевести Бакунина и Пролог Пролога Чернышевского для «Liberty». Вам, вероятно, известно, что он перевел и издал «Что делать?» Чернышевского. Эта книга имеет очень хороший сбыт. Скоро выйдет 3-е издание, в котором будет и «Суд над Чернышевским», переведенный мною из женеvского издания романа... Я перевел для «Liberty» «Порог» Тургенева из Вестника Народной Воли. Зная, что вы интересуетесь этим делом, я обращаюсь к вам за советом и с просьбою. Что вы советуете мне перевести для анархического журнала, которое могло бы быть впоследствии издано в книжной форме для общей продажи? Могу ли я достать где-нибудь Бакунина и Пролог Пролога? «Знаменья времени» Мордовцева? Это недурная книга, а для американской публики она была бы интересна. Все доходы идут на пропаганду и поддержку наших английских революционных изданий. Если

¹² Нам известны следующие издания романа в переводе Б. Такера: Tchernychevsky N. G. What's to Be Done? A. Romance. Boston, 1886; то же, 4-е издание, Нью-Йорк, 1910. Издания эти учтены в «Библиографии переводов романа «Что делать?» на языки народов СССР и на иностранные языки» Б. Л. Канделя (Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» Л., 1975, с. 864). Переиздан роман и в наше время: What's to be done? Tales about new people by N. G. Chernyshevsky. Introduction by E. H. Carr. The Benjamin R. Tucker translation revised and abridged by Ludmila Tukevich. New York, 1961.

Здесь помещено и предисловие переводчика, впервые напечатанное в «Либерти» в 1884 г. Слова о летящей к угнетенным народам земли благой вести гонимого писателя, весь пафос этого предисловия и сейчас звучат современно. С другой стороны, произвольные сокращения и вступительная статья Карра дезориентируют читателя, сводя содержание романа лишь к идее женской эмансипации и оправданию гражданского брака. См. критику этого издания: Григорьев А. Накануне V съезда славистов (Изучение русской классической литературы за рубежом после IV Международного Съезда славистов). — «Русская литература», 1963, № 1, с. 189.

вы можете мне выслать вышеупомянутые книги... Журнал «Liberty» делает много добра»¹³.

Какое уж могло быть добро от анархистских идей! Но первый перевод на английский язык и издание романа Чернышевского, безусловно, заслуга Такера¹⁴. Ведь в бостонском издании роман становился доступным читателям-англичанам, он распространялся и в Европе.

В Англии рецензию на бостонское издание напечатал в июле 1886 г. журнал Социалистической лиги «Commonweal». Он был создан Эдуардом Эвелингом, Элеонорой Маркс, Уильямом Моррисом и другими социалистами; понятен интерес журнала к Чернышевскому. В рецензии кратко говорится о судьбе писателя, о широкой известности запрещенного царем романа в России и в других странах. Как и в рекламных отзывах, напечатанных в «Либерти», роман Чернышевского назван «Хижинкой дяди Тома» русских нигилистов¹⁵.

Высказано предположение, что автором рецензии на американское издание является У. Моррис¹⁶, однако достаточно убедительных доводов не приводится. С такими же основаниями можно думать, что рецензия принадлежит Элеоноре Маркс-Эвелинг. Она писала в «Коммонуил» о русских делах, о смертных казнях и ссылках революционеров в Сибирь, была в это время очень дружна с Сергеем Кравчинским. Ей, только что вступившей в гражданский брак с Эвелингом, пренебрегшей традиционными буржуазными формами, была особенно близка в романе Чернышевского тема женской эмансипации. И вот четвертую часть в общем-то небольшой рецензии занимает цитата из статьи А. Тверитинова к его переводу романа на французский язык — это строки о русских девушках, учившихся в Цюрихе, о воздействии романа на женскую молодежь, о том, что роман «полностью преобразовал семейные отношения молодого поколения...»

Но кто бы ни писал эту статью, важно, что бостонское издание романа Чернышевского стало достоянием читателей как в США, так и в других странах.

* * *

Нью-Йорк также стал местом, где знали и ценили Чернышевского. Есть сведения, что в 1885 г. роман «Что делать?» был напечатан в Нью-Йорке на французском языке в газете

¹³ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, е. х. 515.

¹⁴ Б. Такер перевел и издал также «Крейсерову сонату» Л. Толстого.

¹⁵ «Commonweal», 1886, vol. 2, № 26, p. 119.

¹⁶ Полис Т. В. Две рецензии на роман Чернышевского «Что делать?» в английской социалистической печати 80-х годов. — В кн.: Русская литература и мировой литературный процесс. Сб. научных трудов. М., 1973, с. 175.

«*Courrier des Etats-Unis*» — это была перепечатка тверитиновского перевода¹⁷.

Виктор Ярославский в приводившемся уже письме П. Л. Лаврову, говоря о бостонском издании Чернышевского, сообщал также: «Один нью-йоркский книгопродавец почти одновременно издал другой перевод «Что делать?» и недурно делает»¹⁸.

И верно, такое издание 1886 г. имеется¹⁹. На титульном листе обозначено, что это перевод с русского, сделали его Натан Гаскел Дол и С. С. Скидельский. Первый из них — американский романист и поэт, переводил Л. Толстого, переписывался с ним; второй — выходец из России, один из основателей русской земледельческой колонии-коммуны в штате Луизиана²⁰.

В книге — портрет молодого Чернышевского. Переводчики в предисловии дают краткую справку о писателе, о месте романа в русской литературе, об актуальности некоторых его идей (например, женской эмансипации) не только для русского общества. Кто-то, видимо, рассказал составителям предисловия о популярности «Что делать?» в России: «Имея надежных поручителей, можно получить роман на прочтение в библиотеке под залог в 15—20 рублей и с поденной платой в 15—20 копеек. Но иметь его опасно: если книгу обнаружат, придется познакомиться с полицией».

Видно в то же время, что авторы предисловия далеки от источников, из которых можно было бы черпать истинные сведения о русских делах. Принятие на веру интервью английского корреспондента с Чернышевским в Астрахани — еще не самый большой грех предисловия. Осведомленного читателя могут буквально поразить некоторые перлы фантазии. Оказывается, прототипом «особенного человека» Рахметова явился Каракозов! Поскольку в заключении Чернышевский был лишен бумаги и письменных принадлежностей, он вскрыл себе вены и писал кровью на стене!

Это нью-йоркское издание было повторено в 1888 г. Хотя перевод делался не с французского, а с русского языка, оно во многом уступает изданию Такера. А. Тверитинов от жившего в Нью-Йорке Л. Б. Гольденберга знал об обоих изданиях: «один перевод с русского — плохой, а другой с фран-

¹⁷ ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 3047. Заметка В. И. Семевского о переводе сочинений Н. Г. Чернышевского на иностранные языки, л. 2. К сожалению, проверить эти сведения пока не удалось: газета отсутствует в важнейших библиотеках СССР.

¹⁸ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, е. х. 515.

¹⁹ *A Vital Question; or, What is to be Done?* By Nikolai G. Tchernishevsky. Translated from the Russian by Nathan Haskell Dole and S. S. Skidelsky. New York, 1886.

²⁰ Вильчур М. Русские в Америке. Нью-Йорк, б. г., с. 34.

цузского — хороший»²¹. Высоко был оценен перевод Б. Такера («admirable translation») и в рецензии журнала «Коммонуил».

И все же, при всех недостатках, нью-йорское издание также делало свое дело. Как и бостонское, оно поступало в европейские страны.

Что открывалось западному читателю, к которому попадало в руки уникальное по нравственному содержанию произведение русской литературы? Это видно из удивительного человеческого документа, сохранившегося в бумагах Л. Н. Толстого. Письмо от 23 сентября 1903 г. из Аржантейля, написал его француз, учитель музыки Э. Ле Провос.

«У меня есть книга, — пишет он Льву Николаевичу, приводя титул нью-йоркского издания 1888 г. — купленная мною около 1892 г., в Нью-Йорке у букиниста, и эта книга для меня шедевр...

Эта книга — проявление силы и величия души, смелый опыт, в котором гармонически соединилось чувство и истинное искусство. Не могу выразить вам того восхищения, которое эта книга вызывает во мне. Однако оно не мешает мне стремиться к объективной оценке писателя и его произведения. Но ни в Нью-Йорке, ни в Париже никто из лиц, осведомленных в русской литературе, ничего не мог сказать мне... и богатейшая Национальная библиотека также ничего не знает и даже не содержит этого имени в справочном аппарате».

Единственный материал, которым располагал автор письма, — краткие биографические сведения в предисловии (а мы уже убедились в степени их точности). «После долгих колебаний» Ле Провос решил обратиться к Толстому с вопросами, знает ли он книгу Чернышевского и как относится к ней, переведена ли она на французский и другие европейские языки и где можно получить более подробные сведения о Чернышевском. «Никак не могу примириться с мыслью, чтобы книга подобного размаха замалчивалась в течение 40 лет...»²²

* * *

Чернышевского ценили в кругах, близких к социалистической рабочей партии Северной Америки. Большинство ее членов составляли эмигранты: немцы, поляки, русские. Руководство партии было реформистским, но было здесь и марксистское крыло — в Хобокене, под Нью-Йорком, жил сорат-

²¹ Тверитинов А. Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому, о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе и о многом другом. СПб., 1906, с. 97.

²² Чистякова М. Лев Толстой и Франция. — «Лит. наследство». Т. 31—32. М., 1937, с. 1011.

ник основателей научного социализма Фридрих Адольф Зорге, с которым Энгельс регулярно переписывался, обменивался партийными изданиями.

В свое время М. Клевенский указал на то, что некоторые материалы о Чернышевском печатались на русском языке в «рабочей газете» «Знамя»²³, выходящей, с перебоями, в Нью-Йорке с 5 января 1889 г. Ее издателем был Луи Миллер²⁴, а деятельными сотрудниками Л. С. Бандас — виленский революционер, после арестов и пребывания в тюрьме вынужденный уехать в Америку²⁵, В. А. Столешников — в прошлом участник ткачевского «Набата», С. Шевич — ранее принадлежал к кружку чайковцев²⁶, являвшийся затем членом редакции социалистической «New Yorker Volkszeitung». «Знамя» печатало произведения К. Маркса (перевод «Гражданской войны во Франции», подписанный инициалами «Л. М.», принадлежит, по-видимому, самому Луи Миллеру), статьи и письма П. Л. Лаврова, В. Засулич, П. Аксельрода.

В первом же номере 1889 г. в «Знамени» отдельным приложением начинает печататься «Пролог Пролога» Чернышевского. Газета утверждает, что роман, изданный впервые П. Л. Лавровым в Лондоне, стал библиографической редкостью, помещает и вступительную заметку лондонского издания. В 5-м номере редакция извещает, что почтовые правила препятствуют льготной пересылке газеты с отдельным приложением, а потому печатание романа переносится на страницы самой газеты. Текст верстался, однако, таким образом, что его можно было вырезать из номера и постепенно составить и переплести «Пролог» отдельной книжкой.

15 июня 1889 г. издание газеты было прервано, в возобновившихся же номерах 1890 г. «Пролога» уже не находим. Всего было напечатано лишь 64 страницы среднего формата.

В № 2 за 1889 г. обращает на себя внимание цитата из Чернышевского в качестве эпиграфа к статье «Предстоящее восьмичасовое движение»: «В истории ничего не повторяется; каждый момент ее имеет особые требования, особые уси-

²³ Клевенский М. Н. Г. Чернышевский в нелегальной литературе 60—80-х годов. — «Лит. наследство». т. 25—26. М., 1936, с. 571, 575.

²⁴ О кружке газеты «Знамя» см. в кн.: Вильчур М. Русские в Америке. Нью-Йорк, б. г., с. 20, 22, 104; Сamedов В. Ю. Русская рабочая газета в Америке.— «История СССР, 1973, № 5.

²⁵ Лев Самуилович Бандас (Некролог). — «Знамя» № 9, 1889, 16 марта. Комплект газеты за 1889—1890 гг. имеется в Библиотеке Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

²⁶ Чарушин Н. А. О далеком прошлом. Из воспоминаний о революционном движении 70-х годов XIX века. М., 1973, с. 129—130. Оценки деятельности С. Шевича в США, чаще всего весьма критические, находим в письмах Ф. Энгельса (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 13, 41, 86; т. 37, с. 269, 404).

лия, которых не было раньше и не будет после. Чернышевский».

«Знамя» откликнулось на кончину писателя двумя статьями-некрологами. Одна из них — «Н. Г. Чернышевский» — подписана буквой «У» (№№ 2 и 3, 8 и 15 февраля 1890 г.). Другая — это произнесенная в Париже речь П. Л. Лаврова «Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской общественной мысли» (№№ 4, 5, 6)²⁷.

Отметим еще, что прочувствованный и ярко написанный некролог поместила и немецкая «New Yorker Volkszeitung»; его, со ссылкой на источник, перепечатала социалистическая газета «Berliner Volks-Tribüne»²⁸.

Как видим, в 80-е гг. возникли в США два новых центра популяризации имени и творчества русского писателя-революционера: Бостон и Нью-Йорк. Если публикации социалистической и анархистской печати имели преимущественно специфический, партийный круг читателей, то выпуски романа «Что делать?» были рассчитаны на самую широкую публику. В США были более широкие издательские возможности, чем те, которыми располагали европейские социалисты. Бостонское и нью-йоркское издания «Что делать?» были изданиями коммерческими, отличаются высокими полиграфическими качествами и получили распространение не только в США, но и на европейском книжном рынке.

²⁷ Краткое изложение и характеристика обеих статей в указанной работе М. Клеветского, с. 571—572.

²⁸ Некролог полностью приводится в статье: Вольф Дювель. Чернышевский в немецкой рабочей печати (1868—1889). — «Лит. наследство». Т. 67. М., 1959, с. 198—200.

Л. Г. ЕРЕМИНА, Г. В. ЕРЕМИН

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО СРЕДИ ПЕНЗЯКОВ

О связи Н. Г. Чернышевского с Пензенским краем лучше всех сказал его последователь, революционер, поэт, публицист и критик А. И. Студенцов. В предисловии к одной из его книжек о Н. Г. Чернышевском читаем:

...«Для Пензенской губернии Н. Г. Чернышевский должен быть особенно близок — по основаниям краевого характера. Отец Н. Г. Чернышевского, известный своим высокогуманным поведением и выдающимися познаниями, был родом из села Чернышева...

Затем, еще в шестидесятых годах, Пенза выделила из рядов своей молодежи выдающихся последователей учения Н. Г. Чернышевского, ставших руководящим ядром знаменитой организации каракозовцев, внесших одну из самых тяжелых жертв за торжество социальной революции. Выдающиеся народники — пропагандисты семидесятых годов, у которых сочинения Н. Г. Чернышевского были, можно сказать, настольными книгами, также почерпнули из среды пензенской молодежи ряд выдающихся крупных работников, судившихся по известному процессу 193-х. В восьмидесятых годах в г. Пензе, эпигонами народовольчества, в том числе П. Ф. Кудрявцевым¹, близким другом А. И. Ульянова, создается сильная организация молодежи, проникнутой идеями Н. Г. Чернышевского. Наконец, с половины девяностых годов в Пензе возникает интенсивное революционное движение среди учащейся молодежи, воспитавшейся на идеях Н. Г. Чернышевского и его ученика Н. А. Добролюбова...»².

¹ Кудрявцев П. Ф. (1863—1935) — санитарный врач, Герой Труда, заслуженный врач РСФСР, дядя А. И. Студенцова. Будучи студентом в Казани, он вовлек в революционную деятельность Максима Горького.

² Студенцов А. И. Н. Г. Чернышевский о самообразовании. Пенза, 1928.

Первые последователи идей Н. Г. Чернышевского появились в г. Пензе еще в самом начале его общественной деятельности. Это были прогрессивные педагоги В. И. Захаров, В. А. Ауновский, а затем и приехавший в 1855 г. в Пензу молодой преподаватель естественных наук И. Н. Ульянов и др. «Вместе с друзьями и единомышленниками Ильяс Николаевич прошел через «школу идей» Н. Г. Чернышевского, который, по словам В. И. Ленина, умел «и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров»³. Горячо воспринимая прогрессивные гражданские и педагогические идеи Н. Г. Чернышевского, эти педагоги сумели привить многим своим воспитанникам гораздо большее, чем просто патриотизм и гражданственность.

И не удивительно, что многие их воспитанники впоследствии составили ядро боевой революционной организации, возникшей осенью 1863 г. и возглавляемой пензяками Н. А. Ишутиным и Д. В. Каракозовым, когда Н. Г. Чернышевский уже был арестован.

Чернышевский, по словам В. И. Ленина, проповедовал «идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей»⁴. Осуществление социалистических преобразований в России Н. Г. Чернышевский считал возможным через народное восстание, путем уничтожения частной собственности на орудия и средства производства, ликвидации наемного труда, тунеядства и установления общинной собственности и коллективного труда. Ишутинцы считали себя продолжателями дела Чернышевского. «Осуществлению этой цели должна была служить пропаганда идей социализма словесно и путем создания производительных ассоциаций (товариществ) как в промышленности, так и в земледелии. Воплощая на практике свои идеи, ишутинцы основали в Москве переплетную и швейную мастерские и ваточную фабрику в Можайском уезде. Велась работа по организации артельного чугуноплавильного завода...»⁵.

Н. Г. Чернышевский считал, что инициатива восстания должна принадлежать самим народным массам, а к этому их надо готовить. Ишутины полагали, что сигналом к восстанию должно послужить убийство царя — это уже было отступление от политических взглядов Чернышевского. Попытка Д. В. Каракозова убить 4 апреля 1866 г. царя Александра II окончилась неудачей. Каракозов был казнен, а ишутинцы, готовившие освобождение своего идейного вождя, сами разделили его участь. К следствию привлекались и пензенские

³ Савин О. М., Трофимов Ж. А. И. Н. Ульянов в Пензе. Пенза, 1973, с. 71.

⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 175.

⁵ Очерки истории Пензенского края. Пенза, 1973, с. 230.

учителя ишутинцев, а самого Ишутина пензенские жандармы характеризовали как последователя Захарова.

В 1867 г. часть ишутинцев была доставлена на Александровский завод, где уже находился Н. Г. Чернышевский. Так состоялась встреча первых пензенских революционеров со своим идейным вождем. В ссылке ишутинцы Н. Странден и Д. Юрасов (оба — бывшие воспитанники И. Н. Ульянова) основали библиотеку для ссыльных, часть книг для которой пожертвовал и Н. Г. Чернышевский. Эти люди особенно полюбились ему, о них Н. Г. Чернышевский говорил: «Эти двое, как были при народе, так всегда при народе и останутся»⁶.

В 1873 г. в Пензе образовался новый революционный народнический кружок из воспитанников пензенских гимназий и духовной семинарии, той самой, где учились отец Н. Г. Чернышевского и многие другие его родственники. Участники кружка поставили своей задачей пропаганду идей социализма в народе с целью поднять его на восстание. Во главе встали П. И. Войнаральский и Д. М. Рогачев. Идеологическую базу кружка составляли идеи Чернышевского, Добролюбова, а также появившиеся в России произведения К. Маркса (в первую очередь «Капитал»), Ф. Лассаля, М. Бакунина. Как известно, и с этим кружком царизм жестоко расправился. Осужденные по «делу 193-х», они долгие годы провели в ссылке, как и их предшественники.

В конце 70 — начале 80-х гг. в Пензенской семинарии активизировалась народническая организация, в которую входили В. Благодослов, П. Кудрявцев, А. Архангельский и др. В. Е. Благодослов после 5 курса в 1878 г. ушел из семинарии и поступил на юридический факультет Петербургского университета. В Петербурге он продолжал революционную деятельность среди рабочих, вследствие чего его взгляды все более стали приобретать социал-демократический характер. Подружившись с болгарским студентом Д. Н. Благоевым, он с ним, а также с бывшими народниками П. А. Латышевым и В. Г. Харитоновым в 1883 г. организовал первую в России социал-демократическую организацию. Благоев, основавший в Болгарии социал-демократическую, а затем и коммунистическую партию, писал, что Благодослов и его товарищи «помогли мне и в духовном отношении найти тот смысл жизни, которого я напрасно искал еще в Болгарии»⁷. Он вспоминает, с каким большим трудом его русским друзьям удалось достать 1-й том «Капитала» К. Маркса, «Очерки политической экономии» Н. Г. Чернышевского и др. политическую литературу, изучив которую все они повернули к марксизму. Свя-

⁶ Савин О. М., Трофимов Ж. А. И. Н. Ульянов в Пензе, Пенза, 1973, с. 162.

⁷ Благоев Д. Н. Мои воспоминания. М., 1928, с. 25.

завшись с группой Плеханова, просили высылать им произведения Маркса, Энгельса, Плеханова, Герцена, Чернышевского и др. А когда были организованы занятия среди рабочих, в составленную с этой целью программу были включены эти произведения. Вернувшись в Болгарию, Благоев стал горячим последователем и пропагандистом наследия Чернышевского.

В июле 1884 г. Благославов был арестован и выслан под надзор полиции в Пензу. Он и здесь организовал нелегальные кружки среди учащихся, в которые входили П. Ф. Теплов, сестры Агринские, П. П. Крафт, Д. С. Волков и др.

Наряду с политическим самообразованием, кружковцы занимались и агитацией. Так, в декабре 1890 г. в различных местах г. Пензы «были расклеены воззвания антиправительственного содержания «От самостоятельной революционной группы»⁸, которую в то время обнаружить жандармам не удалось (это произошло полгода спустя).

Теплов, эмигрировав за границу, работал вместе с Плехановым, И. Франко и др., именно Теплову принадлежит крылатая фраза: «Народники допевают свои лебединые песенки...»⁹.

Сестры Агринские, приехав в Петербург, вскоре вместе с Н. К. Крупской, З. П. Невзоровой (Кржижановской) и другими членами ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», вместе с Лениным были арестованы в 1895 г. и приговорены к высылке.

Д. С. Волков впоследствии принимал участие в работе социал-демократических кружков в г. Пензе в 1895—1898 гг., а в 1905 г. был одним из основателей Пензенской группы РСДРП.

Среди первых русских социал-демократов следует отметить и уроженца пензенского села Кунчерова Н. А. Мотовилова, организатора первого марксистского кружка среди рабочих Ростова-на-Дону в 1889 г. В кружке наряду с трудами Маркса, Лассаля, Плеханова изучали и работы Н. Г. Чернышевского «Что делать?», «Статьи об общественном владении землею» и др.¹⁰

Следует отметить, что подавляющее большинство революционеров, вставших на революционный путь в конце прошлого века, и пензенские в том числе, сделали это под влиянием произведений Н. Г. Чернышевского, и в первую очередь романа «Что делать?»

В середине 1890-х гг. в Пензе начинают возникать новые революционные кружки учащихся и рабочих. Все большее

⁸ ЦГАОР, ф. 102, 3-д, 1891, д. 44, ч. 21, л. 2 об.

⁹ ЦГАОР, ф. 102, 3-д, 1891, д. 763, л. 1 об.

¹⁰ ЦГАОР, ф. 102, 3-д, 1892, д. 453.

внимание они уделяют новым социалистическим идеям К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. Плеханова, В. И. Ленина. Идеи Н. Г. Чернышевского по-прежнему владеют умами пензенских революционеров.

Так, 28 июля 1897 г. на собрании рабочего кружка А. М. Ремизовым (впоследствии писатель) было рассказано о Н. Г. Чернышевском, о расправе с ним царского правительства¹¹. При обысках все чаще находили литературу марксистского характера, а также сочинения Чернышевского и подпольные издания — такие, как «Сборник стихотворений на смерть Чернышевского»¹².

В Пензе наиболее «революционируются» учащиеся духовной семинарии, реального и художественного училищ, гимназии, железнодорожники и рабочие ряда небольших фабрик. Выработывается определенный стиль пропагандистской работы. Вначале — кружки самообразования, в которых изучаются легальные произведения русских и иностранных писателей. Здесь главенствующую роль играют произведения русских демократов — Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, В. Белинского, Л. Толстого и др., специально подобранные по «Челябинскому каталогу» П. А. Голубева.

В этих кружках по самообразованию и выявлялись «перспективные» молодые люди, пополнявшие ряды революционеров.

В 1898 г. была разгромлена социал-демократическая организация в г. Пензе, существовавшая в форме отдельных кружков три года. Но в это же время возникали кружки во многих учебных заведениях города. И здесь пальму первенства по-прежнему держала *alma mater* Чернышевских — пензенская духовная семинария. У семинаристов существовал подпольный кружок самообразования социалистического направления. Имелась подпольная библиотека, насчитывавшая до 350 книг. Находящаяся там книга Н. Г. Чернышевского «Что делать?» была столь популярна, что вскоре ее зачитали «до дыр» и треть листов ее пришлось заменить переписанными от руки.

Участник этого кружка А. И. Студенцов вспоминает, что после изучения романа «Что делать?», экономических статей Чернышевского, «Капитала» Маркса, статей В. И. Ленина по аграрному вопросу и ряда книг по рабочему вопросу, они «относились уже критически к народникам, тем более, что по многим взглядам, например о свободе, воле и необходимости, о роли личности в истории, находились под влиянием известных рассуждений из романа «Что делать?», а они, несомненно, гораздо более близки к марксизму, чем к «субъективист-

¹¹ Очерки истории Пензенского края, Пенза, 1973, с. 302.

¹² ГАПО. ф. 5, д. 7339, л. 144.

ской школе в социологии», а по вопросу об общине взгляды большинства семинаристов определялись философскими статьями Н. Г. Чернышевского¹³.

Существовали также подпольные кружки и среди учащихся гимназий, реального, фельдшерского, землемерного и художественного училищ. И там произведения Н. Г. Чернышевского играли революционизирующую роль. Вот что об этом вспоминает один из соратников В. И. Ленина В. А. Карпинский, тогда гимназист 2-й пензенской гимназии: «В ранцах приносили литературу, которую в библиотеках достать было нельзя, например, Чернышевского «Что делать?»¹⁴.

Осенью 1899 г. по инициативе семинариста Н. И. Студенцова и землемера Л. Н. Николаева кружки учащихся были слиты в «Союз объединившихся кружков», который воспитал многих пензенских революционеров, в том числе и видных деятелей нашей партии и государства В. И. Карпинского и В. Д. Алферова¹⁵. Вырастали кружковцы, уезжали на учебу и работу в Москву, Петербург, Харьков и др. города, но революционная работа среди пензенских учащихся не прекращалась. В декабре 1907 г. был принят устав Пензенской центральной группы учащихся, которая считала, что ее цель — «планомерная борьба за социально-политическое освобождение Родины». В уставе было отмечено, что «лишь России свойственные формы литературных произведений, имевших исключительно служение народу... нашли себе таких глубоко чутких и глубоко проницательных исследователей, как Чернышевский, Добролюбов, Михайловский». Группа «вменяет в обязанность всем своим членам... самое основательное знакомство с произведениями лучших представителей публицистической критики...»¹⁶.

Пензенские революционеры, воспитанные на идеях Н. Г. Чернышевского, были активными участниками революции 1905—1907 и 1917 годов.

Один из наиболее выдающихся и разносторонних пензенских революционеров и горячих последователей и исследователей творчества Н. Г. Чернышевского Александр Иванович Студенцов (1881—1942) родился в пензенском селе Литомгине в семье священника. Первое произведение о Н. Г. Чернышевском («Воспоминания о детских годах Н. Г. Чернышевского» Ф. В. Духовникова, напечатанное в «Русской старине»), прочитанное им в детстве, произвело на него сильное впечатление, особенно в части взглядов Чернышевского на

¹³ Студенцов А. И. Тайный союз пензенской учащейся молодежи. — ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 3, е. х. 39, л. 75—77.

¹⁴ Очерк истории Пензенского края, Пенза, 1973, с. 307.

¹⁵ Чернова О. В. История одного Союза. — «Молодой ленинец», Пенза, 1966, 14 декабря.

¹⁶ ЦГАОР, ф. 102, ОО-ДП, 1908, д. 9, ч. 53—1, лл. 101—105.

самообразование. Это привело его к неудачному побегу из пензенского училища домой в деревню с целью учиться по «методу Чернышевского» — заниматься самообразованием. В 1896 г., находясь в первом классе семинарии, Александр получил от старшего брата Николая роман Чернышевского «Что делать?» всего на час. «Толчок от прочитанных страниц был огромным и интерес к новому образу жизни, к новым людям, к их борьбе и их воззрениям окончательно захватили меня... с этого времени я твердо и без оглядки пошел по революционному пути. Мне было в тот момент всего только 15 с половиной лет»¹⁷. И А. Студенцов в 1897 г. вошел в нелегальный кружок учащихся.

В 1901—1902 гг. он служил вольноопределяющимся в 213 Оровайском пехотном полку, где познакомился с будущим советским писателем А. С. Грином, вовлек его в революционную деятельность и помог бежать. С 1902 г. работал пропагандистом среди учащихся, рабочих и крестьян, за что был арестован в 1904 г. на 10 месяцев. В 1905 г. вновь арестован за участие в редакции независимой газеты «Пензенский листок» и выслан из Пензы, после чего перешел на нелегальное положение, и под кличкой «Семен Семенович» принял участие в подготовке и проведении в качестве разъездного агитатора знаменитого «Саратовского крестьянского восстания» в октябре 1905 г.¹⁸ В Аткарском и Петровском уездах Студенцов и его товарищи на практике осуществляли идею Н. Г. Чернышевского о крестьянской революции, раздавая имущество и землю помещиков крестьянам и сжигая «дворянские гнезда» — чтобы помещикам некуда было возвращаться. Студенцов был делегатом от Петровского уезда на II съезде Всероссийского крестьянского союза, происходившем 6—10 ноября 1905 г. в Москве, где выступил на утреннем заседании 7 ноября. По возвращении, 22 ноября 1905 г. был арестован во время агитации крестьян в селе Шадым-Рыскино Инсарского уезда и заключен в Инсарскую тюрьму. Страшно избитый казаками нагайками, он долго тяжело болел, а когда стал поправляться, политические заключенные объявили голодовку в знак протеста. Александр присоединился к товарищам. Это окончательно подорвало его силы. Появились сильные головные боли, затем галлюцинации. Через 10 месяцев заключения он был выслан к отцу в с. Блохино близ Пензы. Деревенская природа, тишина, воздух, натуральная пища благотворно действовали на молодой организм. Окрепнув, Александр вновь вступил в борьбу. Арестованный в апреле 1908 года, он был осужден Саратовской судебной палатой 19 декабря

¹⁷ Студенцов А. И. Тайный союз пензенской учащейся молодежи. — ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 3, е. х. 39, лл. 9—11, 45—48.

¹⁸ Студенцов А. И. Саратовское крестьянское восстание 1905 г., Пенза, 1926.

1909 г. и сослан в Балаганский уезд Иркутской губернии. Здесь он основательно изучал произведения Н. Г. Чернышевского, и уже с 1912 г. (журнал «Вестник воспитания») стали появляться его статьи о наследии Чернышевского.

Февральская революция 1917 г. освободила А. И. Студенцова. Вернувшись в пензенский уездный город Инсар, Студенцов в доме отца своего товарища Прохорова стал издавать журнал «Хлебозор» — орган Инсарского Совета Крестьянских депутатов. Первый номер, вышедший 17 октября 1917 г., был посвящен «светлой памяти основателя первого в России тайного общества «Земля и Воля» великого писателя и вождя русского общества Николая Гавриловича Чернышевского». В номере помещено воззвание о постановке памятника Н. Г. Чернышевскому в г. Якутске. С этой целью в Якутске в апреле 1917 г. создан комитет под председательством П. Куликовского, в составе секретаря Ив. Краснова и членов комитета народных учителей А. Широкова, А. Афанасьева, И. Ожигова, И. Рукавишникова, И. Рогожина, Н. Никитина. Здесь же приводятся слова К. Маркса, назвавшего Н. Г. Чернышевского «великим русским ученым». Помещены также статьи А. Студенцова о Чернышевском: «На заре освобождения», «Община и воспитание» и «О влиянии Н. Г. Чернышевского на возрождение Сербии».

В последующих номерах «Хлебозора» печаталась статья Студенцова «Трудовое мировоззрение» — о Чернышевском, а в четвертом номере серия статей, посвященных памяти Н. А. Добролюбова. В Инсаре же были подготовлены к печати и изданы первые книжки Студенцова о Чернышевском¹⁹.

В тяжелые годы гражданской войны и послевоенной разрухи дали знать последствия тюрьмы и каторги: начались рецидивы приобретенной в тюрьме болезни. Как член Всесоюзного общества бывших политкаторжан, А. И. Студенцов стал пенсионером. Он по-прежнему разрабатывал теоретическое наследие Н. Г. Чернышевского, писал воспоминания, подготавливал к печати книжку своих стихов²⁰.

¹⁹ Студенцов А. И. Чему учат нас детские годы Н. Г. Чернышевского. Инсар. 1917. Студенцов А. И. На заре освобождения. (О значении Н. Г. Чернышевского в русской литературе и жизни). Инсар, 1917.

²⁰ Студенцов А. И. За решеткою железной. Тюремные стихотворения эпохи 1905 года. Пенза, 1930 (рукопись). В сборнике есть стихотворение «На могилу Н. Г. Чернышевского».

Екатерина Ивановна Студенцова сохранила небольшое рукописное наследие своего брата А. И. Студенцова — плоды его разработки творчества Н. Г. Чернышевского. Часть тетрадей написана в сибирской ссылке, часть — после революции.

Н. М. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ

**К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ДОМА-МУЗЕЯ
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО**

*(Сотрудничество В. А. Пыпиной в 1920—1930-е годы) **

В истории литературного краеведения нашей страны известен ряд деятелей, посвятивших свою жизнь собиранию, хранению и изучению ценнейших материалов, посвященных жизни и творчеству своих выдающихся предков.

Одно из почетных мест среди них по праву занимает представительница семьи Пыпиных — старшая дочь академика Александра Николаевича Пыпина — Вера Александровна. Хранительница богатейшего архива своего отца, завещавшего ее заботам свои рукописи, библиографическую картотеку и переписку, Вера Александровна всю жизнь занималась приведением в порядок ценного литературного наследия выдающегося русского ученого, который, по словам проф. Н. К. Пиксанова, был плодовитейшим в мире деятелем науки и стоял в этом смысле на втором месте только после германского ученого Моммзена. «У Моммзена, — говорил Пиксанов, — было 2000 научных работ, а у Пыпина — 1200»¹.

Отмечая эту сторону деятельности Веры Александровны, автор очерка, как давний музейный работник, хотел бы особо выделить роль этой замечательной русской женщины в истории создания, становления и развития Государственного Дома-музея Н. Г. Чернышевского. С детских лет связанная с будущим основателем музея, младшим сыном Чернышевского, Михаилом Николаевичем, воспитывавшимся во время ссылки Николая Гавриловича в доме ее отца, Вера Александровна сумела стать его настоящим другом и помощницей в трудном деле основания музея в годы гражданской войны, голода и общей разрухи, и в деле изучения огромного эпи-

* Статья была подготовлена к печати при жизни автора как продолжение серии публикаций в сборнике «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», вып. 3—7. (Примечание В. С. Чернышевской).

¹ Это сообщалось в лекции в один из памятных дней А. Н. Пыпина в 1920 г. в аудитории СГУ в присутствии автора этих строк.

столярного наследия, оставшегося в архивах Чернышевско-Пыпинской семьи (13 тысяч писем более чем за сто лет). Кроме того, она была автором интереснейших мемуарных очерков и исследований.

Архивная и литературная работа Веры Александровны, которая велась в домусейный период вместе с М. Н. Чернышевским, естественно перешла в сотрудничество с ним по созданию Дома-музея как очага социалистической культуры после Октябрьской революции в условиях, требовавших большого напряжения сил и исключительно самоотверженного труда.

Этот труд продолжался до конца жизни Веры Александровны и всегда сохранял воспитательное воздействие на работников музея после смерти его основателя.

Вера Александровна — одна из замечательных женщин нашей страны — с честью проявила себя и как потомок большого областного культурного гнезда, поддержав прекрасные традиции семьи Чернышевских и Пыпиных в деле служения Родине и народу.

* * *

Переписка В. А. Пыпиной с М. Н. Чернышевским (40 писем с 5 мая 1919 по 23 апреля 1924 г.) включает в себе подробный рассказ о многогранной совместной деятельности по созданию музея и первоначальной подготовке нового издания сочинений Н. Г. Чернышевского².

Одновременно Вера Александровна дополняла и переписывала с карточек библиографический указатель Михаила Николаевича о Чернышевском для 3-го издания (которое так и не состоялось)³. Этот библиографический указатель М. Н. Чернышевского был отправлен мною после его смерти в 1924 г. проф. Н. К. Пиксанову, который обещал содействовать его напечатанию. Пиксанов передал рукопись одному из заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров⁴. Затем рукопись на много лет пропала из виду. Ее тщетно разыскивали М. В. Нечкина и Н. К. Пиксанов для подготовки к печати дополнительного библиографического тома избран-

² Первоначально В. А. Пыпина работала в качестве сотрудницы у П. Е. Щеголева, которому было поручено руководство изданием.

После смерти М. Н. Чернышевского при содействии Наркомпроса через Н. А. Алексеева огромная переписка Н. Г. Чернышевского была принята к печати (Н. Г. Чернышевский. — «Лит. наследие», тт. I—III. М., 1928—1930), а полное собрание было осуществлено Гослитиздатом под руководством академика П. И. Лебедева-Полянского.

³ См.: О Чернышевском. Библиография. 1939—1953. Составил М. Н. Чернышевский. СПб, 1909; издание 2-е, СПб., 1911.

⁴ Мое письмо к Н. А. Алексееву от 23 сентября 1926 г. (Личный архив).

ных сочинений Н. Г. Чернышевского, куда должна была войти и «Летопись жизни». Только недавно удалось узнать, что в настоящее время эта рукопись М. Н. Чернышевского с моими рукописными дополнениями находится в ЦГАЛИ. В настоящее время она, конечно, устарела и нуждается в больших дополнениях. Но охваченный ею отрезок времени проработан тщательным образом М. Н. Чернышевским и В. А. Пыпиной.

16 марта 1923 г. Вера Александровна благодарит Михаила Николаевича за то, что он помог ей «определиться к Щеголеву» и извещает о начале работы над архивом Чернышевского периода пребывания его в крепости. Три раза в неделю она занимается в архиве. Вера Александровна, по ее словам, сделала подробнейшую опись всех рукописей Чернышевского — порядковую, хронологическую и сравнительную (письмо от 12 октября 1923 г.).

Сводками, составленными Верой Александровной, вскоре широко воспользовался П. Е. Щеголев для своей книги, где даются подсчеты дней, проведенных Чернышевским в крепости, печатных листов, написанных им за это время, и приведен полный перечень всех работ⁵. Все это были предварительные кропотливые изыскания Веры Александровны.

В 1922 г. Вера Александровна увлекает мысль составить схему родословной Чернышевских и Пыпиных. Она обращается к Михаилу Николаевичу с просьбой прислать хронологическую таблицу (таких таблиц у него было много). Получив нужные сведения, Вера Александровна просит прибавить некоторые даты (письма от 8 февраля, 18 марта и 19 апреля).

Таким образом, общими усилиями Михаила Николаевича и Веры Александровны родословная, по ее словам, «вышла прелесть какая», и Вера Александровна предлагала сделать для будущей экспозиции музея ее графическое изображение. К сожалению, это не осуществилось, но родословная все же появилась в книжке Веры Александровны 1923 г., а затем была перепечатана в одном из томов «Литературного наследия»⁶. В настоящее время она трудами главного хранителя музея, В. С. Чернышевской, разрослась в подробнейшую многослойную картотеку. Но опыт Веры Александровны был первым, ею было положено начало, а хронологические записи М. Н. Чернышевского, не использованные Верой Александровной, явились существенным дополнением к картотеке позднейшего времени.

* * *

Вера Александровна смогла побывать в Саратове только раз в своей жизни. Это было в 1885 году, когда она ездила

⁵ См.: Щеголев П. Е. Алексеевский рavelин. М., 1929 г.

⁶ См.: Пыпина В. А. Любовь в жизни Чернышевского, II г., 1923; Н. Г. Чернышевский. — «Лит. наследие», т. II, М., 1928, с. 591.

на Кавказ познакомиться со своей будущей свекровью. Там в Боржоми у Беренштамов была своя дача.

Обратный путь домой в Петербург лежал через Саратов. Здесь Вера Александровна попала в родственные объятия Пыпиных, доживавших свой век в старом дедовском доме. Этот дом был запечатлен Верой Александровной на рисунке, который одно время экспонировался в Доме-музее Н. Г. Чернышевского и был оттуда похищен.

Вторым рисунком Веры Александровны является акварельное изображение дома Чернышевских в том виде, какой он имел в последние месяцы жизни Николая Гавриловича. Эта акварель была увезена Верой Александровной в Петербург и через несколько лет (в 1889 г.) вполне закончена. Вера Александровна подарила ее Михаилу Николаевичу, и рисунок долгие годы (до отъезда в Саратов) висел у него в кабинете. В настоящее время он находится в экспозиции музея.

Передача дома Чернышевских Михаилом Николаевичем в народное достояние для устройства музея тесно сблизила между собой Веру Александровну и основателя музея. По состоянию здоровья (у Веры Александровны было большое сердце) она не могла приехать в Саратов, особенно во время железнодорожной разрухи.

* * *

Отъезд нашей семьи в Саратов в 1918 г. Вера Александровна переживала по-своему. В ее жизнь мемуаристики вошло тоже что-то совсем новое и неожиданное. Вместо семейных писем, рукописей и личных своих воспоминаний, по которым создавались в ее дневниках образы многочисленной чернышевско-пыпинской родни, эти образы должны были опять выйти на свет и ожить в рассказах единственной оставшейся в живых из старшего поколения — Пыпиной Екатерины Николаевны, обитавшей в маленьком домике над Волгой.

— Расспрашивай у нее обо всех и все, все записывай для меня, — просила меня Вера Александровна перед разлукой.

И я исполнила ее желание. Бабушка Катя оказалась великолепной рассказчицей, беседовала очень охотно, а я писала, писала...

Подобно тому, как Вера Александровна писала для меня свои дневники, так я писала для нее «Рассказы бабушки Кати». В 1925 г. ей были посланы первые листы этой рукописи, ее переписывала чуть ли не вся наша семья. А потом опять шли рассказы и опять записи. И так до самой кончины бабушки Кати — до февраля 1933 года.

Два человека особенно заинтересовались этой рукописью: профессор Н. К. Пиксанов и В. Д. Бонч-Бруевич. Оба мечтали о ее опубликовании. Уже была подготовлена к печати зна-

чительная часть под названием «Саратовские годы Чернышевского» для сборника «Звенья», но эти сборники прекратили свое существование, и рукопись была мне выслана обратно⁷.

В 1922 г. Вера Александровна переписывалась с Михаилом Николаевичем о музее. Она благодарит его за то, что он пишет о музейных делах; видит, что музей все-таки понемногу крепнет; радуется, что Михаилу Николаевичу удалось многое сделать для его прочного основания (письмо от 18 июля).

Вместе с Михаилом Николаевичем Вера Александровна обсуждает и вопрос будущего устройства территории музея. Она не советует помещать во дворе бюста А. Н. Пыпина, так как все бюсты, кроме бронзовых, приходят быстро в состояние порчи. Единственно, чего бы она хотела — это на стене дома Пыпиных укрепить доску с надписью: «Здесь родился и жил А. Н. Пыпин». Бюст и барельеф для Николая Гавриловича Вера Александровна предлагает делать внутри здания, в зале музея.

Ограду для музейной территории Михаил Николаевич мечтал сделать по рисунку Федора Густавовича Беренштама, работавшего художником во дворцах-музеях. Но Вера Александровна заявила, что она и без помощи Федора Густавовича сделает чертеж, только просит прислать размер. Ограда рисовалась ей в стиле еmрiге (письмо от 9 мая 1923 г.). Этого рисунка Вера Александровна не успела выполнить. По-видимому, Михаилу Николаевичу помешала обострившаяся болезнь и то, что он планировал распределить на несколько лет капитальный ремонт, оборудование и благоустройство усадьбы, приурочивая окончание этих работ к 100-летию отца в 1928 году. Уход его из жизни расстроил эти планы.

Смерть Михаила Николаевича тяжело переживалась Верой Александровной, и она посвятила ему некролог, в котором дала исчерпывающую характеристику его деятельности, посвященной увековечению памяти Н. Г. Чернышевского. «...одна мысль, мысль об отце навсегда залегла в его душу и роднила с близкими в общей сосредоточенной думе о великом изгнаннике, — писала Вера Александровна. — Это почитание отца легло в основу той громадной работы, которую за последние двадцать лет Михаил Николаевич единолично положил на собрание материалов к биографии и трудам отца.

⁷ Записи воспоминаний Ек. Ник. Пыпиной находятся не только в общей папке, отмеченной в «Описи» ЦГАЛИ (М. 1955), но и в моем личном архиве, и в моей работе «Старший сын Чернышевского». И в памяти еще удерживаются сцены общения Ек. Ник. Пыпиной с разными людьми и моими родными. Саратовская часть записей о доме и семье Чернышевских вошла в первый том сборника «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников» (Саратов, 1958).

Те, кто близко видели эту работу, должны были дивиться изумительному любовному трудолюбию, планомерности и неустанности Михаила Николаевича. Он начал с изучения тщательно сбереженного А. Н. Пыпиным архива Николая Гавриловича. Михаил Николаевич описывал и регистрировал многочисленные семейные письма, расшифровывал дневники, написанные Николаем Гавриловичем индивидуальной стенограммой, разбирал рукописи и старые корректуры и все это приводил в исключительно систематизированный порядок».

Далее Вера Александровна пишет о Михаиле Николаевиче как об издателе сочинений отца, как о его библиографе и историке, перечисляя его статьи, напечатанные в «Былом» и подготовленные к печати после революции. Рассказывает Вера Александровна и о создании музея, «бедного с внешней стороны, но богатого по содержанию». В заключение выражается сожаление о том, что тяжелый недуг (воспаление печени и почек) свалил крепкую натуру, не дав довести до конца заветное дело⁸.

Это заветное дело стала продолжать Вера Александровна рука об руку с новым руководителем музея, взяв на себя и отправку рукописей Чернышевского из Академии Наук в Саратов, и многое другое.

«По смерти М. Н. Чернышевского, — пишет Вера Александровна, — по поручению Дома-музея Чернышевского (я) продолжала работать над семейным архивом Чернышевских — Пыпиных, имея на то официальное полномочие от Саратовского губернского отдела Народного образования»⁹.

После передачи в мои руки заведывания музеем, я хлопотала в Наркомпросе для Веры Александровны официальное удостоверение в том, что она является внештатным сотрудником нашего музея. Это облегчало ее хлопоты по разысканию материалов для наших фондов. Вопрос впервые был поднят в 1924 г., то есть в первый год после смерти основателя музея. Судя по записным книжкам, хлопоты об официальном посредничестве в делах музея и о сотрудничестве Веры Александровны в нем велись с 9 июля 1924 по 4 сентября 1925 г. и окончились положительно. Точного текста этого документа я не нашла в бумагах Веры Александровны. Но нашла черновик другого документа, подтверждающего роль Веры Александровны как помощника в создании музея Чернышевского. Текст черновика был внесен мной в записную книжку 1926 г. после разговора с директором Саратовского областного краеведческого музея, филиалом которого в то время был наш музей.

⁸ «Былое» 1924 № 25, с. 278—279. Памяти М. Н. Чернышевского. Подписано: ред. Но автором была В. А. Пыпина.

⁹ Запись для Народного Комиссариата социального обеспечения 1925 г.

Вот этот текст:

«Я, нижеподписавшаяся, на основании удостоверения, выданного тем-то за №... передоверяю официальному посреднику по делам музея Чернышевского в Ленинграде В. А. Пыпиной произвести возложенную на меня работу по подбору в Государственном Книжном фонде книг и журналов для пополнения библиотеки музея имени Чернышевского в Саратове.

Зав. музеем *Н. Чернышевская-Быстрова*».

В этом Книжном фонде мы вместе с Верой Александровной сначала побывали у его заведующего Мих. Мих. Саранчина. Он обещал содействие, и оттуда через некоторое время были высланы книги и журналы. От этого времени сохранился «Список книг для музея Чернышевского», переданный Вере Александровне. Он написан мною и содержит в себе перечень ста тридцати трех книг и свыше четырехсот пятидесяти томов разных журналов и энциклопедий. Составлен этот список был по библиографическому указателю М. Н. Чернышевского издания 1911 года. Разыскивали мы с Верой Александровной и «Современник» Чернышевского за 1850—1860-е годы. В 1927 г. вели переговоры об этом с академиком Платоновым, который очень любезно говорил с Верой Александровной. В 1928 г. я просила помочь в этом деле директора библиотеки Ленина В. И. Невского, который вышел ко мне, когда я осматривала там юбилейную книжную выставку о Николае Гавриловиче. В. И. Невский выразил искреннюю готовность помочь музею. Но и в том, и в другом случае ничего не вышло. Весь «Современник» Чернышевского мы совершенно неожиданно приобрели в Саратове у одной старушки-учительницы вскоре после войны.

В феврале 1925 г. я обратилась в Совет Народных Комиссаров с просьбой об ассигновании средств на капитальный ремонт и реставрацию здания музея. В связи с этим обращением последовал вызов в Москву на заседание Совнаркома в Кремле, на котором после двухминутного доклада было принято решение выделить на ремонт музея 10 тысяч рублей золотом.

Летом были проведены ремонтные и реставрационные работы. Семье писателя, проживавшей до этого времени в доме Чернышевских, было предоставлено помещение во флигеле сестер Пыпиных на соседнем с музеем усадебном участке, который еще при жизни Михаила Николаевича был объединен с участком Чернышевских.

Таким образом, были продолжены и проведены в жизнь практические планы, согласованные Михаилом Николаевичем Чернышевским с руководящими организациями Саратова и

Москвы и прерванные уходом из жизни основателя музея.

Теперь можно было подумать о пополнении музейного архива, то есть об объединении всего литературного архива Н. Г. Чернышевского путем присоединения к саратовскому собранию и тех рукописей, которые по плану Михаила Николаевича должны были поступить в музей из рукописного отделения библиотеки Академии Наук.

Рукописный архив Николая Гавриловича хранился в Академии Наук с 1909 года. В 1917 г. Академия Наук эвакуировала в Саратов свои ценности, в том числе и уголок Чернышевского. Ящики с архивом писателя пролежали в саратовском университете вплоть до 1921 года, когда за ними приехал из Петрограда Всеволод Измайлович Срезневский. Впоследствии я прочитала, какое огромное значение придавал В. И. Ленин этой поездке В. И. Срезневского, как заботился, чтобы ему были предоставлены все возможные по тому времени удобства для перевозки академических ценностей¹⁰.

Из Саратова Всеволод Измайлович увез не весь архив Чернышевского: часть его по просьбе М. Н. Чернышевского была оставлена для музея (ученические рукописи, дневники, собрание газетных вырезок, университетские лекции). Так, над расшифровкой студенческих дневников шла интенсивная работа Михаила Николаевича именно в те годы, и он опасался, что не успеет закончить эту работу, если будет ждать лучших времен. Что же касается основного архива отца, ему не представлялось в Саратове достаточных гарантий для его сохранности. Поэтому архив периода «Современника», насчитывающий 240 рукописей, 121 корректуру и массу документального материала, Михаил Николаевич счел целесообразным оставить пока в Академии Наук. Об этом они договаривались со Срезневским.

Позже возник вопрос о поступлении всего архива Чернышевского в его Дом-музей.

В этом деле большая помощь была оказана Верой Александровной. Она указала нужные пути и ходы. Прежде всего мы написали заявление и пошли к профессору С. Ф. Платонову, возглавлявшему тогда конференцию Академии Наук. Сергей Федорович принял нас очень любезно, так как давно знал и уважал Веру Александровну как дочь А. Н. Пыпина и хранительницу семейного архива. Заявление мое он внимательно прочитал. В нем говорилось:

«В 1920 г., устраивая Музей имени Н. Г. Чернышевского в Саратове, М. Н. Чернышевский обращался в Рукописное Отделение Академии Наук с просьбой о предоставлении ему части бумаг Чернышевского, переданных им Академии в

¹⁰ См. в сборнике «Ленин и книга» (М., 1964).

1909 г. (см. Отчет о деятельности Академии Наук за 1909 г., стр. 36). Академия любезно предоставила в распоряжение М. Н. Чернышевского письма, книги, реликвии, часть рукописей и шкаф из уголка Чернышевского в Рукописном отд. Часть рукописей Чернышевского осталась в рукописном отделении библиотеки Академии Наук. Это 5 кардонок, заключающие в себе автографы статей Николая Гавриловича, напечатанных в «Современнике» 1853—1861 гг.

В течение 6-ти лет Музей Чернышевского употреблял огромные усилия по проведению капитального ремонта дома, и в настоящее время достиг того, что и внешний фасад его реставрирован в духе эпохи, и сейчас заканчивается внутренний ремонт. Теперь, когда Музей приступает к своему полному внутреннему оборудованию, имея в виду близкий юбилей (100-летие со дня рождения Н. Г. Чернышевского в 1928 году), и когда под рукописи Чернышевского зав. Сар. ГубОНО тов. Ганжинским ему уже был предложен несгораемый шкаф, соединение двух вышеупомянутых разрозненных архивов Чернышевского в Доме-музее его памяти является положительно необходимым.

На основании всего вышеизложенного, убедительно прошу Академию Наук СССР о предоставлении Музею остальной части архива Чернышевского, хранящейся в рукописном отделении Библиотеки А. Н.

Зав. Домом-музеем имени Чернышевского
*Н. Чернышевская-Быстрова*¹¹.

9.VIII.1926.

С. Ф. Платонов согласился передать архив Чернышевского 1860-х гг. музею, причем оговорил эту передачу следующим образом: «Наведите справку у Ф. И. Покровского, внесены ли эти рукописи в инвентарь. Если нет, можете получить их для музея».

От Ф. И. Покровского мы с Верой Александровной узнали, что в инвентаре библиотеки рукописного отделения Академии Наук рукописи Николая Гавриловича, переданные туда по настоянию свыше в царское время М. Н. Чернышевским, с 1909 по 1927 г. не были заинвентаризированы императорской Академией Наук. Следовательно, можно было их перевезти на родину писателя-революционера — в музей, основанный по слову В. И. Ленина.

¹¹ Копия этого заявления сохраняется на бланке со штампом издательства «Огни» в Петербурге. Это был случайный лист белой бумаги, извлеченный В. А. Пыпиной из архива издательства, долго хранившегося в ее квартире на Надеждинской улице. У музея тогда никаких бланков не было.

В конце июля — начале августа 1926 г. я ездила в библиотеку Академии Наук разбирать архивные материалы, отданные на хранение Михаилом Николаевичем и Верой Александровной.

Заведовавший рукописным отделением Всеволод Измайлович Срезневский любезно принял нас с Верой Александровной, показал 5 карденок с рукописями и ящик с корректурами, достал еще пакеты семейных писем и большую стопку рукописей старшего сына Чернышевского — Александра Николаевича.

2 августа мы с Верой Александровной зашили в холст четыре посылки с документами и материалами для музея. Всеволод Измайлович, присутствовавший при этом, подарил мне 2 портрета своего отца, профессора Измаила Ивановича, учеником которого в петербургском университете был Чернышевский.

Архив Чернышевского был отправлен в Саратов из Академии Наук в течение 2-х лет: 1926 и 1927. Первая почта содержала в себе кардонки с рукописями, вторая — ящик с корректурами¹².

Дом-музей Чернышевского просуществовал как хранилище архива в течение двадцати одного года: с 1920 по 1941 г., когда в условиях военного времени был передан в Центральный Государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ) в Москве.

Вопросам изучения архива и его опубликованию будет посвящена специальная глава очерка по истории музея, охватывающая 1930—1950-е гг. его деятельности¹³.

Во время получения архива в Саратове работала комиссия по организации музейной экспозиции в составе профессоров университета. На заседаниях комиссии и подкомиссий я выступила с девятью докладами, после которых составлялись списки материалов, необходимых для экспозиции и библиотеки музея.

Поискам экспонатов были посвящены последовавшие за этим командировки. В этом оказала существенную помощь В. А. Пыпина, бывшая деятельным посредником музея в деле получения многих портретов и книг из Пушкинского Дома в первую очередь, а также лично от себя — из архива А. Н. Пыпина.

Мы с Верой Александровной передали в Пушкинский Дом и библиотеку Академии Наук списки книг и журналов для

¹² См.: Записные книжки Н. М. Чернышевской 1926 г. — Записи от 30 июля — 2 августа (с. 94—96) и 1927 г. — записи от 19, 20, 29 июня и 7—13 сентября (с. 108, 111, 135—137).

См. также мою недописанную статью «Новые документы и рукописи Н. Г. Чернышевского» («Саратовские известия», 1927, № 22, 2 октября).

¹³ В личном архиве Н. М. Чернышевской остались отдельные очерки к этой главе. — Прим. В. С. Чернышевской.

музея, ходили по букинистическим магазинам на Литейном. Была я и в ленинградском университете, в его библиотеке, где беседовала о портретах и копиях документов. Портреты из альбома профессоров студенческих лет Чернышевского были присланы в Саратов в виде фотокопий¹⁴.

После Книжного фонда мы с Верой Александровной посетили музей Революции, помещавшийся в Зимнем Дворце. Директор любезно согласился предоставить музею Чернышевского нужные экспонаты. Мы осмотрели экспозицию, и я составила нужный список. Говорила с заведующей отделом революционного движения, с заведующей отделом Каторги и Ссылки¹⁵. На другой же день к Вере Александровне на квартиру привезли несколько портретов.

Из музея Революции было прислано музею 12 снимков и в следующем году. Вообще связь с ленинградскими и московскими музеями Революции установилась у музея прочная¹⁶.

Вера Александровна брала меня с собой в рукописное отделение библиотеки Академии Наук, где находился также обширный архив ее отца Александра Николаевича Пыпина. Архив его был расположен на длинном столе и поражал своими объемами. Стол был загружен ящиками с библиографической картотекой, стопами рукописей и книг. Все это Вера Александровна разбирала и приводила в порядок в течение всей своей жизни.

— За этот архив, — говорила она, — борются три книгохранилища: библиотека Академии Наук, Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина и Пушкинский Дом.

В библиотеке Академии Наук у Веры Александровны часто происходили встречи с ее директором — академиком Алексеем Александровичем Шахматовым, который обещал всяческую поддержку музею Чернышевского. Шахматов был большим другом А. Н. Пыпина, был его душеприказчиком, в присутствии которого Вера Александровна вскрывала запечатанный архив отца через год после его смерти и в его присутствии передавала М. Н. Чернышевскому рукописи Н. Г. Чернышевского¹⁷.

¹⁴ См.: Записные книжки Н. М. Чернышевской — записи от 29 и 30 июля 1927 г. (с. 111—112).

¹⁵ Запись от 29 июля в записной книжке Н. М. Чернышевской 1926 года.

¹⁶ Записная книжка 1927 г. 16 января, с. 57.

¹⁷ Крупный русский ученый академик А. А. Шахматов стал директором 1-го Русского отделения Академии Наук с 1899 года. В период его работы было создано рукописное отделение и значительно возрос книжный фонд. Шахматов был не только ученым, но и честным гражданином России. Подвергая себя риску, он хранил в библиотеке Академии Наук не только архив Н. Г. Чернышевского, но и рукописи В. И. Ленина. Принимая участие в судьбе В. Д. Бонч-Бруевича, Шахматов неоднократно спасал его от полицейских преследований. («Русская литература» 1971, № 1, с. 222—223).

Разбирая при мне отцовские бумаги в Академии Наук и у себя дома, Вера Александровна передавала и нашему музею книги, портреты, гравюры. К ним она присоединяла и старинные прадедовские вещи. Так, я получила от нее кольцо нашего общего предка Г. И. Голубева (печатку) и его большой медный крест. (Перечень литературы остался в моих записных книжках).

А. Н. Пыпин завещал музею имени Радищева в Саратове письменный стол Н. Г. Чернышевского, который после ареста последнего взял к себе. В 1919 г. музей Н. Г. Чернышевского получил этот стол.

В течение 6 лет я всегда останавливалась у В. А. Пыпиной во время моих командировок в Ленинград по делам музея. Наши встречи сопровождались длительными беседами. Они касались свеженаписанных дневников и мемориальных очерков Веры Александровны, которые дожидались меня в виде машинописных листов.

Мысли наши вместе с тем постоянно возвращались к музею, который в ту пору нуждался буквально во всем. Вера Александровна оглядывала свои «антикварные» комнаты, сплошь заставленные мебелью красного дерева первой половины XIX века и рассказывала, что именно эти вещи составили бы мемориальный комплекс нашего музея. Ей очень хотелось «пристроить заранее», по ее выражению, каждую вещь так, чтобы она отошла в музей. При жизни, конечно, она не могла этого сделать. Но беседы с Верой Александровной крепко запали в память Полины Федоровны Калнынь, прожившей вместе с ней больше 10 лет и запомнившей волю Веры Александровны, которая была священной для этой самоотверженной женщины, не только ухаживающей за Верой Александровной, не только взявшей на себя все хозяйственные заботы, но и, после внезапной смерти Веры Александровны (не оставившей наследников), сумевшей в условиях ленинградской блокады военного времени — сохранить и перед смертью передать музею Чернышевского часть старинной мебели и ее архив, согласно воле покойной Веры Александровны.

Мы с Верой Александровной всегда посещали Пушкинский Дом во время моих приездов в Ленинград.

Самые разнообразные участки деятельности Пушкинского Дома были открыты для меня, начиная с того времени, когда я была курсисткой Бестужевских курсов, когда в моем присутствии М. Н. Чернышевский передал директору Пушкинского Дома Нестору Ал. Котляревскому подлинные портреты Н. Г. и О. С. Чернышевских. Это было в 1916 г., когда еще не могло быть и речи о создании музея Чернышевского.

После основания нашего музея Пушкинский Дом был самой близкой и самой полезной базой для моей научной работы. В частности были использованы редкие издания для моих библиографических работ, оттуда были получены портреты

деятели литературы для музея, и в стенах Пушкинского Дома изучала я архив А. Н. Пыпина.

Но посещала я этот благословенный храм науки только с легкой руки Веры Александровны Пыпиной, личный архив которой заключал в себе еще более ценное наследие академика Пыпина. Это — подлинный портрет Н. Г. Чернышевского, в настоящее время хранящийся в фондах музея Чернышевского и записные книжки Александра Николаевича с отметками о получении сибирских писем Чернышевского. До получения этих материалов приходилось иметь дело с копиями, снятыми рукою М. Н. Чернышевского.

С большой любовью относилась Вера Александровна к своим обязанностям внештатного научного сотрудника музея Чернышевского. Она вела со мной беседы как настоящий музейный работник, за плечами которого стоял опыт работы в таком солидном учреждении, как Пушкинский Дом. Невольно думается, что и давние девичьи занятия в школе Общества поощрения Художеств, и оформление домашних молодежных вечеров, живых картин и поздравительных альбомов под руководством талантливого художника-мужа, и собственный вкус к изящному и красивому, — все это слилось воедино, когда жизнь выдвинула перед Верой Александровной такую ответственную задачу, как оформление музеев... В Пушкинском Доме и в квартире Пушкина нашла применение художественная рука Веры Александровны.

И от нее услышала я, что надо делать для музея Чернышевского. Это были целые уроки: как делать надписи; как кантовать, как переплетать книги. Последнее кажется упрощением. Но нет, нужно было запомнить, как переплетал книги Александр Николаевич Пыпин: он заботился о том, чтобы вся книга вошла в переплет и чтобы вся она в нем сохранилась. Однажды проф. Н. К. Пиксанов с гордостью показал мне книгу из библиотеки Пыпина, и я увидела своими глазами, как следует переплетать книгу настоящему библиофилу. Вера Александровна была для меня воплощением живых традиций.

Временами, беседуя со мной о своей работе над архивом отца, Вера Александровна делилась воспоминаниями об отношении А. Н. Пыпина к некоторым ученым и писателям. Так, он считал П. А. Ровинского способным на самые героические поступки. Я ввела это суждение в работу о П. А. Ровинском¹⁸. О Д. Л. Мордовцеве А. Н. Пыпин высказывался как о таком авторе исторических романов, который недостаточно знал историю. Вера Александровна подарила мне крошечные лапки, привезенные А. Н. Пыпину славянскими «братушками». Эти лапки сохранились до сих пор.

¹⁸ См.: Одна из попыток освобождения Н. Г. Чернышевского. — «Каторга и ссылка», 1931, № 5 (78), с. 124—127.

В 1927 г. я обратилась к исследователю Старого Петербурга П. Н. Столпянскому, с которым хотелось поговорить о возможности розыска тех домов, где жил Чернышевский. Столпянский откликнулся довольно скоро и приехал к нам на квартиру (к Вере Александровне). Мы побеседовали, он выразил готовность помочь, указал источники и посоветовал обратиться к фотографу Булле (бывшему придворному — квалифицированному фотографу), чтобы были исполнены снимки памятных домов¹⁹. К сожалению, переговоры с фотографом ни к чему не привели.

Только через 20 лет за это дело взялся проф. С. А. Рейсер и довел его до блестящего конца в своей книге²⁰. Еще через 10 лет мне удалось вместе с С. А. Рейсером и директором Пушкинского Дома Василием Григорьевичем Базановым объехать все дома, где жил Николай Гаврилович в 1850—1860-е годы.

Когда я приехала в Ленинград после саратовских юбилейных дней 1928-го г. Вера Александровна сейчас же рассказала мне, что Пушкинский Дом пригласил К. А. Федина выступить у них о Чернышевском. Федин выступил оригинально и интересно.

— Надо написать ему, — говорила мне Вера Александровна, — надо, чтобы не забылось такое блестящее выражение чувств настоящего писателя. Ты должна написать ему и попросить его прислать свое слово о Чернышевском, пока оно еще свежо в памяти или записано им.

И я написала Константину Александровичу. От него пришел ответ на Надеждинскую. Он опубликован мною в университетском сборнике²¹. Этим письмом литературная общественность обязана мудрости дочери А. Н. Пыпина, без которой я бы не решилась обратиться к К. А. Федину, с которым тогда не была знакома лично. А письмо его было из сборника перепечатано еще в «Литературной газете» и стало достоянием миллионов людей²².

Тогда же, в 1928 г. мы с Верой Александровной по обыкновению посетили Пушкинский Дом. На этот раз там была организована выставка, посвященная Чернышевскому. Она состояла почти сплошь из экспонатов, переданных дочерью М. А. Антоновича Ольгой Максимовной Мижуховой. В числе этих вещей обращала на себя внимание белая костяная ручка, к которой относилась надпись о том, что ею был написан роман «Что делать?» После я часто возвращалась мыслями

¹⁹ См. запись от 22 июня 1927 г. Записные книжки Н. М. Чернышевской.

²⁰ См.: Рейсер С. А. Революционные демократы в Петербурге. Л., 1957.

²¹ См. в кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 5, Саратов, 1968.

²² См.: «Литературная газета», 1968, 21/VIII, № 34.

к этой ручке, пока мы с С. А. Рейсером не сошлись на том, что это — ошибка: в Петропавловской крепости были запрещены стальные перья. Они были заменены гусиными.

С О. М. Мижуевой я познакомилась в Пушкинском Доме тогда же.

Из литературных встреч в доме В. А. Пыпиной мне особенно запомнилась встреча с проф. Михаилом Александровичем Полиевктовым (он читал русскую историю на Бестужевских курсах в то время, когда я была их слушательницей). Это было в 1929 г. Я узнала от Михаила Александровича, что он — муж Русудан Николаевны Николадзе, и что Русудан Николаевна — дочь того самого Николая Яковлевича, который и студентом бывал в доме Н. Г. и О. С. Чернышевских, и позднее принимал участие в переговорах об освобождении Чернышевского из ссылки. Я, к слову, вспомнила о мемуарах Н. Я. Николадзе о шестидесятых годах. И тут мой собеседник пришел в хорошее настроение и не без юмора дополнил эти мемуары неизданными рассказами, услышанными в семье своей жены и ее отца.

Из людей, связанных многолетними узами дружбы с Чернышевскими и Пыпиными, я в доме В. А. Пыпиной встречалась несколько раз с потомками Павла Аполлоновича Ровинского. В 1928—1929 гг. его дочь Екатерина Павловна обратилась к Вере Александровне с просьбой помочь ей в деле получения пенсии после смерти Павла Аполлоновича. Вера Александровна хлопотала через Академию Наук. Сама она получала персональную пенсию тоже через Академию Наук, для чего обращалась в Москву с просьбой, подписанной пятью академиками.

Из саратовских ученых навестил Веру Александровну профессор Александр Павлович Скафтымов. С 1924 г. он начал заниматься в Доме-музее Н. Г. Чернышевского и писал свою первую статью о романе «Что делать?» для сборника, изданного потом Обществом Краеведения²³.

Разбирая письменный стол Михаила Николаевича, я нашла листок с его расшифровкой отрывка из «Что делать?». Вспомнилось, что Михаил Николаевич перед кончиной работал вместе с Верой Александровной и П. Е. Щеголевым над подготовкой неизданных текстов Чернышевского. Только Вера Александровна могла сообщить в то время, напечатан ли этот отрывок. Поэтому я посоветовала Александру Павловичу лично выяснить этот вопрос с Верой Александровной и дала ему рекомендательную записку к ней. А. П. Скафтымов получил командировку в Ленинград. Он был приятно поражен

²³ См.: Скафтымов А. П. Роман «Что делать?» (Его идеологический состав и общественное воздействие). — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Саратов, 1926.

приемом, который был ему оказан Верой Александровной. Они сейчас же нашли общий язык и выяснили интересовавший Александра Павловича вопрос.

Когда А. П. Скафтымов стал заниматься подготовкой юбилейного сборника о Н. Г. Чернышевском 1928 г., он счел необходимым, чтобы Вера Александровна приняла в нем участие, и она прислала неизданный архивный материал, который был там опубликован²⁴.

Что представлял собою музей к концу нашей совместной работы с Верой Александровной? Я имею в виду подготовку к большому памяtnому торжеству — к 100-летию со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского.

Уже в 1927 г. была развернута вторая экспозиция, которую скорее можно назвать первой (поскольку первая представляла случайную развеску в одной комнате, как было при жизни Михаила Николаевича, с добавлением одной единственной новой витрины, стоявшей на сундуке).

За год до юбилея экспозиция занимала уже все комнаты музея и могла быть показана приехавшему в Саратов А. В. Луначарскому, который оказывал самую действенную поддержку Михаилу Николаевичу, а теперь обещал ее народившемуся музею. Я принимала Наркома не без робости и говорила тихим голосом. У него было задумчивое выражение лица.

В 1928 г. Нарком Просвещения посвятил Чернышевскому блестящее выступление в Колонном зале Дома Союзов.

Уже в первое десятилетие существования музея наметилось сотрудничество с соратниками В. И. Ленина, воспринявшими идею культурной революции и претворившими ее в большие дела²⁵.

В последний раз я приехала к Вере Александровне в мае 1930 года и не в командировку, а просто в отпуск. Мы много беседовали все о том же, — как всегда, — о чернышевско-пыпинской старине. Это было наше последнее свидание. Я просталась с нею, охваченная чувством самой теплой благодарности за все то хорошее, что видела от нее в течение всех лет нашей совместной жизни и работы.

Если бы не активная помощь Веры Александровны как официального посредника и внештатного сотрудника Дома-музея Н. Г. Чернышевского и притом работавшего на общественных началах и всю душу вкладывавшего в свое дело, организация музея, его рост и развитие проходили бы в период культурного строительства первых пятилеток в условиях значительно большего напряжения сил и потери времени.

²⁴ См.: Пыпина В. А. Чернышевский и Пыпин в годы детства и юности.

²⁵ См.: в кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 7. Изд-во Саратов. ун-та, 1975, с. 194—207.

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования и статьи

Демченко А. А. «Великий русский ученый и критик» (К. Маркс и Ф. Энгельс о Н. Г. Чернышевском)	5
Акимова Т. М. Песня в жизни и творчестве Чернышевского	17
Бахтина В. А. Чернышевский о сказке (к изучению в советской фольклористике)	30
Татаринцев А. Г., Медведев А. П. Чернышевский о русской литературе XVIII века	39
Макаровская Г. В. Пушкин в оценке Чернышевского. (Проблемы историзма в литературно-критической концепции Чернышевского середины 50-х годов)	58
Гин М. М. Об идейно-литературных взаимоотношениях Н. Г. Чернышевского и Н. А. Некрасова. (К постановке вопроса)	112
Егоров Б. Ф. Чернышевский о Достоевском	120
Теплинский М. В. Автор-повествователь в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»	127
Самосюк Г. Ф. Утопические идеи романа «Что делать?» в оценках «Современника»	137
Антонова Г. Н. Н. Н. Страхов о романе «Что делать?»	148
Рыжков Н. П. Школа революционно-демократического журнала (Н. Г. Чернышевский и А. Н. Пыпин)	161
Винникова И. А. Публицистические мотивы в романе И. С. Тургенева «Дым» и «Современник» 60-х годов	174
Зельдович М. Г. Чернышевский и современные проблемы теории критики	289
Бугаенко П. А. А. В. Луначарский о «великом предшественнике»	206

Публикации и материалы

Краснов Г. В. Рассказы А. С. Карамышева о Чернышевском	217
Демченко А. А. Г. Е. Благоветлов — товарищ Н. Г. Чернышевского по Саратовской семинарии	224
Ямпольский И. Г. Заметки о Чернышевском (К полемике Н. Г. Чернышевского с А. В. Дружининым)	130
Рейсер С. А. Читатели о романе Чернышевского «Что делать?»	239
Травушкин Н. С. Чернышевский в США (Прижизненные издания и материалы печати)	244
Ермина Л. Г., Ермин Г. В. Последователи Н. Г. Чернышевского среди пензяков	255
Чернышевская Н. М. К истории создания Дома-музея Н. Г. Чернышевского (Сотрудничество В. А. Пыпиной в 1920—1930-е годы)	263

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Статьи, исследования и материалы

Межвузовский научный сборник

Выпуск 8

Под ред. профессора Е. И. Покусаева

Редактор М. П. Ларина
Технический редактор Л. В. Агальцова
Корректоры О. Н. Галанова, И. Ю. Кочубина

НГ16263. Сдано в набор 28/III 1978 г. Подписано к печати 29/XI 1978 г.
Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 17,5. Уч.-изд. л. 16,4.
Заказ 826. Тираж 850 экз. Цена 2 руб.

Издательство Саратовского университета, Университетская, 42.
Производственное объединение «Полиграфист» Управления издательств,
полиграфии и книжной торговли Саратовского облисполкома. Саратов,
пр. Кирова, 27.